

ВАЛЕРИЙ ОТЯКОВСКИЙ

Микроистория сообщества
формалистов: Кабинет современной
литературы при ГИИИ (1927–1930)



ВАЛЕРИЙ ОТЯКОВСКИЙ

Микроистория сообщества формалистов:
Кабинет современной литературы
при ГИИИ (1927–1930)



UNIVERSITY OF TARTU

Press

Отделение славистики института иностранных языков и культур
Тартуского университета

Диссертация допущена к защите на соискание ученой степени доктора философии по русской литературе 11 июля 2024 г. решением совета института иностранных языков и культур Тартуского университета.

Научный руководитель: Роман Лейбов, PhD, доцент

Оппоненты: Андрей Зорин, PhD, профессор Оксфордского университета

Игорь Пильщиков, PhD, профессор и заведующий кафедры славянских, восточноевропейских и евразийских языков и культур Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе; профессор-исследователь семиотики культуры и русской литературы Таллиннского университета

Защита состоится 13 сентября 2024 г. в 12.15 в институте иностранных языков и культур Тартуского университета (Lossi 3–328).

ISSN 1406-0809 (print)
ISBN 978-9916-27-598-6 (print)
ISSN 2806-2493 (pdf)
ISBN 978-9916-27-599-3 (pdf)

Copyright: Valerii Otiakovskii, 2024

University of Tartu Press
www.tyk.ut.ee

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	9
ГЛАВА I. Институтция.....	17
§1. Формалисты, ГИИИ, современная литература	17
§2. Кабинет современной литературы: очерк деятельности.....	35
ГЛАВА II. Биографии	76
§1. Константин Шимкевич. Заведующий Кабинетом	76
§2. Юрий Перцович. Сооснователь Кабинета.....	94
§3. Сотрудники Кабинета.....	112
ГЛАВА III. Теория	134
§1. Ранние работы Константина Шимкевича	134
§2. Акме	143
§3. «История русской поэзии»	173
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	187
ИСТОЧНИКИ.....	190
Использованные архивы.....	190
Литература.....	190
EESTIKEELNE KOKKUVÕTE	204
SUMMARY IN ENGLISH.....	208
CURRICULUM VITAE	212
ELULOOKIRJELDUS.....	213
ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ.....	214

Торопуло подошел и обнял Пуншевича.

– Вы молодец, — сказал он, — действительно назрела потребность в организации общества. Необходимо добиться его легализации. Нам следует пропагандировать идеи нашего общества.

– Я примусь за это дело, — ответил Пуншевич. — Теперь наметим несколько областей нашего собрания и изучения. Конфетные бумажки — у нас уже есть фонд, — кивнул он в сторону Торопуло. — Бумажки от мыла, у меня есть родственница, она уже собирает бумажки от мыла. Коробки из-под папирос, у нас уже есть одна, чрезвычайно важная. Значки организаций, учебных заведений, вносите предложения... Так, тексты вывесок, действительно, вывески бывают разные...

– Попутнические вывески «Самтруд».

– Новобуржуазные — «Сад Фантазия», «Аркадия», «Родник».

– Приспособленческие: «Красная синька», «Красный одеяльщик».

Конст. Вагинов. «Бамбочада»

ВВЕДЕНИЕ

В изучении истории важно учитывать не только произошедшее, но и потенциальное. Нереализованные планы, невстречи, замыслы, утопические проекты — все это обладает мощнейшим влиянием на прошлое в том виде, в котором оно предстает перед наблюдателем, хотя уловить отзвуки неслучившегося и оценить его влияние на реальность крайне сложно. Возведенные дома оставляют руины, задуманные — в лучшем случае чертежи, и возможности их исследований ограничены, поскольку реконструкция так или иначе тяготеет к беллетристике. Историческое исследование потенциального угрожает обернуться хонтологией, ретроутопией [Derrida 1994; Fisher 2012].

В области истории идей одной из важных несложившихся школ была школа формалистов. Это положение может показаться парадоксом — *Formal Method studies* уже много лет остаются локомотивом истории идей в поле славистики, становясь лишь популярнее — вплоть до анонсированного на 2024 год запуска в Италии «Временника русского формализма». Сам лейбл «формального метода» стал чем-то вроде *umbrella term*, включение в парадигму которого наделяет исследуемый материал дополнительным смыслом. Одним из поворотных событий в этом смысле стала антология «Формальный метод: Антология русского модернизма» под редакцией Сергея Ушакина (три тома вышли в 2016 году, четвертый том в двух книгах — в 2023-м). В ней собраны теоретические высказывания не только филологов-формалистов, но также и художников, архитекторов, деятелей театра и кино, то есть через «формальную» призму дан предельно широкий спектр раннесоветской авангардной мысли. И даже этот мощный реканонизирующий жест не обходится без указания на нереализованность формализма: концептуальное введение в антологию названо цитатой из Виктора Шкловского: «Не взлетевшие самолеты мечты» [Ушакин 2016].

Мое исследование придерживается более традиционного представления о формализме, я подразумеваю под этим понятием прежде всего течение филологической мысли, представители которого до революции собрались под знаменем ОПОЯЗа и МЛК, а затем в состоянии постоянной институциональной реконфигурации просуществовали до «великого перелома» и «культурной революции». Главным объектом исследования является не столько теория формалистов, сколько история их сообщества. Такой взгляд был предложен и обоснован в работе «Русские формалисты как научное сообщество» [Гланц, Пильщиков 2017], и эта призма позволяет избежать, с одной стороны, ограниченности институционального подхода, не учитывающего гибкой внеорганизационной «сетки», без которой немислима социализация формалистов, а с другой — обойтись без того «эпического расширения» [Орлова 2019], которое предлагает «Антология русского модернизма». Под «сообществом» здесь понимается в том числе и интерпретативное сообщество, то есть не только создатели метода, но и его

пользователи — ученики формалистов. Сообщество формируется на пересечении методологической, биографической и институциональной плоскости, именно в таком синтетическом виде оказываясь вписанным в широкий контекст:

Теории сообществ помогают ухватить ускользающую идентичность формализма, связывая литературоведческие тенденции с большими политическими и культурными проектами модернизма, в рамках которых получает особое значение сконструированное «мы» [Гланц, Пильщиков 2017: 93]

Такое помещение истории науки в рамку социальной истории кажется действительно продуктивным. Описанное в процитированной работе тяготение формалистов к воссозданию академических структур возвращает к вопросу об их сообществе как научной школе, и именно как школа формализм кончается неудачей. Начавшийся в виде эксперимента на грани между научной и художественной практиками, формализм в поздней фазе своего существования (с середины 1920-х) стремится обрести более традиционную конфигурацию научной работы, но в итоге терпит крах. Методологические искания уводят к иным парадигмам (социология, феноменология, зарождающийся структурализм), поколение учеников отказывается делить с «мэтрами» их академический габитус и идет на конфликт, и все это происходит в контексте идеологической гомогенизации и перекройки публичной сферы сталинской эпохи.

Подобный взгляд на формализм — это взгляд «с конца», но он оправдывается тем, что конец формалистов им самим казался новым стартом, началом настоящего воплощения подходов, разработанных и защищенных в «боевой» период. В конце 1920-х Виктор Шкловский, Юрий Тынянов и Борис Эйхенбаум планируют совместную работу над объемной историей литературы, Тынянов и Роман Jakobson анонсируют переучреждение ОПОЯЗа, а художественные опыты формалистов сплавляются с их научной работой — «Мой современник» Эйхенбаума, «монографические» романы Тынянова. Формализм кончился не затуханием, а в самый разгар. Несмотря на злую фразу, возможно, брошенную Тыняновым, «обед» не был «съеден» [Гинзбург 2002: 33] — он, пожалуй, был лишь накрыт.

Показать определенный вектор развития позднего формализма я бы хотел на материале работы Института Истории Искусств (ГИИИ, Зубовский институт¹). Это пространство, традиционно аттестуемое как «оплот» ленинградского формализма, было площадкой для реализации большого ауто-эксперимента формалистов, лабораторией по превращению авангардной теории в (квази)академическую школу — см. недавний очерк, помещающий

¹ Далее в тексте работы упоминания «Института» без уточнений отсылают к ГИИИ. Согласно сложившейся традиции, все слова в названии Института начинаются с прописных букв.

его в широкий институциональный контекст: [Ulicka 2022]²; искусствоведческий пафос Института кратко описан в [Троицкая 2015]. Нариман Скаков, обыгрывая известную формулу Владимира Паперного, предлагает говорить о «культуре полтора», вклинивая в дихотомию авангарда и сталинизма буферную зону, «важнейшую переходную фазу, имевшую огромное значение для обуздания центробежных авангардистских импульсов и подчинения их центростремительному потоку социалистического реализма» [Скаков 2020: 111]. Несколько трансформируя концепт Скакова, который пишет о построении сталинского национального проекта, и сдвигая назад хронологию, можно сказать, что для формалистов период их вхождения в институциональное пространство советской академии 1920-х и был той самой «переходной фазой», временем «нормализации» формализма как школы. Говорить об этом «формализме полтора» можно и в контексте центра-периферии национального строительства советских республик, что демонстрируют активно разрабатывающиеся исследования украинской рецепции формального метода [Бабак, Дмитриев 2021] — украинскими интеллектуалами 1920-х формализм воспринимался как вполне традиционно-научный феномен, поэтому работами «академического эклектика» Виктора Жирмунского по этой линии интересовались не меньше, чем трудами Виктора Шкловского.

Упомянутая характеристика Жирмунского, данная ему Эйхенбаумом [Эйхенбаум 1922: 21] и повторенная в «пражских тезисах» Тынянова-Яacobсона (см.: [Постоутенко 1996]), долго заставляла исследователей формализма относиться к нему снисходительно, и даже положительные его характеристики снабжать оговорками. Виктор Эрлих в своей классической монографии характеризует его так: «Виктор Жирмунский, самый выдающийся представитель “умеренных” псевдоформалистов» [Эрлих 1996: 94]. Подобное отношение сглаживает всю сложность того феномена, который другие современники характеризовали как «академический формализм» [Медведев 1928а: 97], «крайне правый формализм» [Арватов 2024: 379,

² При всех достоинствах этой публикации сложно не обратить внимание на ряд фактических ошибок — возможно, их следует отнести на счет переводчика. Перечислю те, которые бросаются в глаза: «In the last row, we recognize Lev Gumilev, a future collaborator of the III» (с. 139 — на описываемой фотографии запечатлен Николай, а не Лев Гумилев); «the poets from the *Serapionovy brat'ia* (*Serapion Brothers*) group» (с. 140 — «Серапионовы братья» были прежде всего группой прозаиков, из контекста не следует, что автор имеет в виду именно Елизавету Полонскую и Николая Тихонова); «the dismissal of Tynianov, who always led the Committee for Contemporary Literature, along with its secretary, Boris Kazanskii» (с. 148 — Тынянов был вторым председателем Комитета, сменив на этом посту Эйхенбаума, а Борис Казанский — секретарем всего Словесного отдела, а не Комитета современной литературы).

Тынянов 1977: 139]³ и т. п. И даже если упрощение в трактовке этой проблемы может быть допустимо в плоскости сугубо теоретической, то при попытке взглянуть на формализм через социально-историческую оптику, масштаб меняется, «“академизм” из внешнего врага и противника формализма неизбежно и очень быстро становится внутренним фактором его эволюции» [Дмитриев, Устинов 2002: 226]. Жирмунский возглавлял Литературный отдел Института Истории Искусств, по сути, руководя главной формалистской институцией Ленинграда — для него создание «правого» фланга в руководимом им подразделении было принципиальной задачей, недаром активными работниками Института были Борис Энгельгардт, Владимир Перетц и несомненно примыкающий к ним Константин Шимкевич, один из главных героев моей книги.

Но насколько продуктивен подход к формализму через призму институций, с которыми были связаны его авторы? Главные теоретические прорывы раннего периода связаны с ОПОЯЗом, но сам ОПОЯЗ был крайне неформализованной структурой, явно не укладывающейся в привычные схемы производства знания — это была та самая «журнальная» наука, которая противопоставлялась «академической» [Эйхенбаум 1987: 378–379]. В свою очередь, ключевые работы, создававшиеся во второй половине 1920-х, когда Тынянов и Эйхенбаум укоренились в ГИИИ, созданы как будто помимо институтской структуры. «Литературный факт», «Мой временник», «Архаисты и новаторы», «Проблемы изучения литературы и языка» — все эти работы объединяет тот факт, что они появились не в институтском издательстве «Academia», а как самостоятельный рефлекс «журнальной науки» (иначе дело обстояло у московской ветки формализма, гораздо более тесно связанной с МЛК, а позже ГАХН). Автор одной из самых тонких работ о формализме предупреждает, что идентичность участников этого движения лучше искать за пределами организационных структур [Steiner 1984: 19]. И тем не менее, для понимания реального масштаба метода в социальном пространстве раннесоветской культуры необходимо детальное представление о том круге возможностей и ограничений, которые были обусловлены аффилиацией формалистов и их положением в складывающейся среде производства знания. Для понимания генезиса идеи «литературного быта» требуется понимание быта самих создателей концепта. Взгляд через институции не объясняет формальный метод, но он помогает понять устройство формалистского сообщества.

³ Интересно, что в расширительной оптике Сергея Ушакина масштаб меняется и уже «ядерные» формалисты оказываются на правом фланге: «Если ОПОЯЗ был, условно говоря, “правым крылом” формального метода, то конструктивизм — “своего рода техническое выражение социализма”, по словам Корнелия Зелинского, — стал его “левым флангом”» [Ушакин 2016: 14]. Ср. с интерпретацией Жирмунского как «левого символиста» [Берд 2017: 280].

При этом хотелось бы избежать дурной омонимии — настоящая работа не посвящена литературной теории как социальному институту, не стремится институализировать сам формализм — исследование сосредоточено лишь на одной *институции* (которая, усугубляя каламбурность, называлась Институтом). Более того, под рассмотрение попадает даже не ГИИИ как единый феномен, а отдельно взятое микросообщество, сформировавшееся в нем в конце 1920-х и бывшее во многом параллельным к более известному — впрочем, все еще крайне малоизученному — сообществу младоформалистов [Устинов 2001]. Статус метода в истории идей определяется не только через его центр, но и через периферию — и именно такая периферия стала предметом моего внимания. Поэтому методологическим ориентиром диссертации являются не столько институциональные штудии (недавний образцовый пример которых в славистике: [Вдовин, Зубков 2023]), сколько методы микроисторических исследований.

Прежде всего, с микроисторией связана идея «насыщенного» («плотного») описания, почерпнутая у антропологов и переосмысленная в отношении исторического материала — «Цель <насыщенного описания> состоит в том, чтобы извлечь большие выводы из маленьких, но сплетенных в очень плотную ткань фактов, подкрепить общие рассуждения о роли культуры в процессе оформления коллективной жизни посредством их увязывания со сложной спецификой этих фактов» [Гирц 2004: 37]. Микроистория предлагает не анализировать большую историко-идеологическую дискурсивную картину, а сосредоточиться на конкретных практиках конкретных акторов. Естественно, постоянный учет макропроцессов необходим для точной реконструкции и контекстуализации изучаемого примера, однако и взгляд «снизу» помогает уточнить применимость больших концепций и тотальность тех или иных социальных норм в каждый исторический период.

В 2023 году «Новое литературное обозрение» запустило серию микроисторических исследований, демонстрируя новую актуальность этого подхода. В предисловии к первой книге серии Ольга Кошелева отметила, что микроистория раннесоветского периода сосредоточена не на «казусах» отдельных личностей, а на функционировании локальных сообществ [Кошелева 2023: 16]. Это представляется вполне естественным — широко развитые исследования идеологии и советской субъективности показали важность партийных нарративов о советском обществе, которые должны были воплощать жители будущего коммунизма. Внимательный анализ низовых коллективных практик демонстрирует напряжение между идеологическими предписаниями и их воплощением, таким образом микроисследования советского тяготеют к тому синтезу с макроуровнем, о котором мечтал один из подвижников этого метода на русском языке [Бессмертный 2023: 148].

Основополагающим кейсом настоящей работы стала деятельность Кабинета современной литературы при ГИИИ. С этим внутренним институтским учреждением связана небольшая, но довольно интересная глава истории сообщества формалистов, демонстрирующая социальное чутье их группы и набор практик самосохранения, к которым они обратились в свой

поздний период. О деятельности Кабинета сохранилось не так много источников, поэтому для всестороннего осмысления этого феномена требуется несколько разных подходов, набор которых обусловил структуру диссертации.

В первой главе реконструируется устройство Кабинета, условия его функционирования, основной круг обязанностей сотрудников. По возможности полно описан как процесс появления, так и момент закрытия Кабинета, его положение в структуре ГИИИ среди других внутренних отделов. Этому описанию предшествует очерк о сотрудничестве формалистов с институтскими современными им литературами, а также анализ внутренней реконфигурации ГИИИ, которую на протяжении 1920-х вели формалисты в поисках оптимального порядка взаимодействия с писателями и поэтами. Главным источником этой части стала институтская документация, отложившаяся в петербургских архивах (прежде всего ЦГАЛИ СПб), а также переписка Константина Шимкевича с литераторами, сохранившаяся в Пушкинском Доме и собрании журналистки А. К. Кураевой, благодаря которой сохранились документы филолога. На пересечении официальных предписаний и частных диалогов демонстрируется скользящая позиция формалистов, определяющая неформальный характер институций, к которым они имели отношение.

Во второй главе излагаются биографии основных сотрудников Кабинета — отдельные подробные очерки посвящены основателям учреждения Константину Шимкевичу и Юрию Перцовичу, а сотрудники-студенты описаны коллективно. Эта часть необходима не только для закрытия некоторых лагун в истории советской филологии, но и для понимания социальной прагматики существования ГИИИ в 1920-е. В главе дана попытка описать среду, поставившую слушателей формалистских курсов, а также прочертить траекторию их судеб в период после 1920-х. Благодаря этому удастся описать условия существования ленинградской интеллигенции не в лице выдающихся представителей, а в облике ее «второго ряда», в том виде, в каком этот облик определялся историей XX века. При всей случайности исходной точки отсчета (участие в институтском проекте) групповое описание демонстрирует набор взаимодополняющих практик выживания и социализации в тоталитарной среде.

Наконец, третья глава дрейфует в сторону теоретического этюда, а точнее, обзора большей частью неопубликованных филологических трудов Константина Шимкевича, определявшего порядок работы Кабинета. Эта часть вводит в научный оборот идеи совершенно забытого ученого из формалистской орбиты, предлагает к обсуждению его комментарии по поводу самых разнообразных проблем. Отдельно стоит подчеркнуть, что пафос этой главы совершенно не связан с желанием «революционизировать архив», как это было в случае таких переоткрытых авторов, как Михаил Бахтин или Борис Ярхо. Работы Шимкевича принадлежат сугубо своему времени, они не порождают сколько-нибудь новаторскую систему мысли, но зато они крайне интересны в качестве рефлекса формального метода. Своеобразный

извод морфологического подхода, предложенный Шимкевичем, и подвергается попытке сквозного описания.

Каждая из частей насыщена новыми материалами, архивными источниками. Местами (прежде всего в первой главе) работа претендует на то, чтобы быть не только рассказом о документах, но и по возможности их полной сводкой. Многие остались за рамками диссертации — из неопубликованных работ и писем героев диссертации можно было бы подготовить приложение, как минимум вдвое увеличивающее размер монографии, однако оно было опущено, чтобы сохранить формат «книги для чтения». Архивные источники, нередко и обильно цитируемые, приводятся в том объеме, который позволяет понять авторские намерения, а также погрузиться в язык эпохи. Диссертацию предварил ряд отдельных публикаций, в которых нашли место обширные фрагменты изучаемых текстов — эти автоссылки в некоторых случаях заменяют многостраничные цитаты. Все тем же желанием максимальной связности повествования обусловлен и отказ от решения сугубо текстологических проблем публикуемых документов.

Появление этой работы было бы невозможно без поддержки кафедры русской литературы Тартуского университета, в стенах которой я нашел не только учителей и коллег, но и настоящих друзей. Отдельно я признателен научному руководителю Роману Григорьевичу Лейбову за помощь на всех этапах докторантуры. Дотошные рецензии Андрея Леонидовича Зорина и Игоря Алексеевича Пильщикова, а также развернутый отклик Ксении Андреевны Кумпан значительно улучшили текст диссертации и укрепили мою уверенность в собственном исследовании. К избранной теме я пришел еще в магистратуре, где мне посчастливилось работать под началом Бориса Валентиновича Аверина, а после его безвременного ухода, под руководством Алексея Юрьевича Балакина. Я благодарен редакторам журналов, в которых выходили предварительные публикации и организаторам конференций, приглашавших меня читать доклады, а также сотрудникам архивов, с которыми мне пришлось работать и наследникам героев исследования, с интересом отнесшихся к моим студиям. Особенную роль в появлении книги сыграла Алия Каюмовна Кураева, не только сохранившая документы одного из главных героев диссертации, но и предоставившая их в мое свободное пользование. Наконец, не могу не поблагодарить многочисленных друзей и коллег, с которыми обсуждались мои наработки, и отдельно — наш неофициальный семинар в лице Олега Ларионова, Алексея Поповича, Владимира Турчаненко и Дмитрия Цыганова. Любовь моей жены Полины и забота родителей помогли сохранить рассудок в мрачные годы, на которые выпало создание монографии.

Эта диссертация выросла из магистерского сочинения, созданного отчасти в результате учебной практики по архивной работе. Однако брутальное возвращение «ревущих двадцатых» показывает, что прагматика собранных материалов заключается не просто в эмпирическом накоплении фактов:

описанные здесь сюжеты в том или ином виде приводят к размышлению о том, как интеллектуалы на пороге террора стараются выжить и не потерять себя. Этот вопрос, мучающий сегодня и меня, и моих российских коллег, вряд ли решаем на страницах академических сочинений — но рассказ о неудачах прошлого века, может, позволит избежать повторения очевидных ошибок.

ГЛАВА I.

Институция

§1. Формалисты, ГИИИ, современная литература

Исследователями была поставлена проблема изучения поведения формалистов, совершенно своеобразного и нетипичного для академического сообщества. Ян Левченко охарактеризовал эту особенность понятием «формалисты-литераторы» [Левченко 2012: 16–17]. Эта «литературность» проявляется, например, в занятом противоречии — ученые опоязовского периода разрабатывают приемы тонкого имманентного анализа, при этом добавляя в свои тексты яркие маркеры, требующие затекстового, контекстуального осмысления. Например, семиотически нагруженной является система посвящений в формалистских работах [Левченко 2012: 68]. Нередко эти маркеры являются минус-приемами, то есть зияющими отсутствиями, как в тех местах, где полагается ссылка или развернутое объяснение используемого понятийного аппарата. Настаивая на том, что литературные тексты стоит рассматривать исходя из «литературного ряда», формалисты отказываются позиционировать собственные тексты в том ряду, которому, по логике, они должны соответствовать. Они прячут свою генеалогию, раскавыченно используют концептуальные наработки предшественников и обращаются с понятийным аппаратом других ученых скорее артистически, нежели в категориях научной преемственности, полемики и эволюции. Эйхенбаум говорил Шкловскому: «Нам надо заметить теперь свои следы — как зверью, за которым гонятся» [Кертис 2004: 303]. В попытках метаописаний собственного метода и сообщества формалисты постоянно апеллируют к синхронному развитию литературы и искусства, отсылают к достижениям художественного авангарда, которые предшествовали или были синхронны разработке основных положений раннего формализма. Это вполне укладывается в попытки позднего формализма конвергировать соседние, «ближние» ряды, но при этом остается скорее метонимией, чем описанием реального генезиса. В этом смещении научного ряда в литературный состоит немалая часть революционности новой теории, и потому неудивительно, что «формалистские» прочтения формализма стали одним из распространенных приемов интеллектуальной истории.

Исследователи наметили несколько траекторий, по которым стоит проследить происхождение метода, восстанавливать скрытый след научных влияний. Пожалуй, главной работой такого рода стоит считать основанный «на принципе остранения» классический труд [Ханзен-Леве 2001], в котором с энциклопедической эрудицией исследуются отголоски разнообразных интеллектуальных конструктов в понятийном аппарате формального метода. Впрочем, сложно не согласиться с Илоной Светликовой, которая пишет о книге Ханзена-Леве: «...перед нами скорее набор разрозненных аналогий, более или менее похожих идей, чем попытка взглянуть

на остранение как на результат определенной интеллектуальной традиции» [Светликова 2005: 9].

В этой связи особую важность приобретает работа самой Светликовой, которая предельно ограничивает как область своего анализа (всего несколько основных формалистских понятий и работ), так и бэкграунд, из которого она исходит, а именно англо-немецкая традиция психологизма в философии и гуманитарных науках. Ее труд не сводится к простому указанию нескольких новых источников, она позволяет представить иную историко-научную парадигму, в которую встроен формализм. Исследовательница показывает, что психологическая традиция на протяжении XIX века претендует на роль метаязыка гуманитарных наук, но уже к концу века эти позиции сдает — что, впрочем, до России доходит с некоторым опозданием, причем активное развитие формализма происходит именно в это «опоздание» или «промежуток», когда устаревшая метаязыковая парадигма не успевает смениться новой, на роль которой претендует немецкая герменевтика [Eagleton 2008: 47–53] (важным развитием идей Светликовой стала работа [Merrill 2020]). Используя категории Томаса Куна, Питер Стайнер называет формализм «межпарадигмальной стадией» развития славистики [Steiner 1984: 269] — эта формулировка, пусть и на несколько иных основаниях, кажется мне довольно точной. Вполне закономерно, что критика формализма, развивавшаяся с середины 1920-х, уже базировалась на новой парадигмальной платформе — чаще всего марксистской или герменевтической, причем непосредственные ученики формалистов, которых принято называть младоформалистами, проявили активный интерес к этому повороту.

Формалисты, оказавшиеся детьми «промежутка», формируют свою позицию именно в отсутствие доминирующего метаязыка, поэтому их самопрезентация мнимо свободна от рамок того, что они именовали «академизмом». Ради свободы от этих рамок формалисты как будто отказываются и от претензии на создание строгой терминологической системы — того, чем позже займется структурализм, являющийся более традиционной научной школой. Сама возможность такой канонизации понятийного аппарата вполне была формалистам «по силам», о чем свидетельствуют эпизодические набегі в соседние дисциплинарные области, прежде всего теорию кино, где несколько их работ создали основательный фундамент.

Своеобразное положение формалистов точно описал Илья Клигер:

Опязовцам удастся сочетать в себе беньяминовскую роль вольного мыслителя, эссеиста и публициста с альтюссеровским академическим эзотеризмом. Их ампула — двойное, противоречивое; они писатели, критики, активисты, но и университетские профессора, ученые, занимающиеся строгой, методологически «чистой» наукой. Они протестуют против вмешательства истории и общества в их дело и одновременно иронизируют по поводу безжизненного академизма коллег, пишущих учебники, настаивают на собственной актуальности, на методологической функции связи с исторической «злостью дня». Так рядом с фигурой творчески вовлеченного интеллектуала-авангардиста возникает профес-

сионал-спецификатор, действующий максимально строго в дискурсивных пределах своей науки⁴ [Клигер 2016: 53].

Это указывает на то, что принципиальный для моего исследования вопрос о соотношении формализма и литературы 1920-х не может решаться исходя сугубо из текстов представителей движения; не менее важен и внетекстовый аспект сосуществования формального метода и актуальной словесности — сосуществования не только биографического, но и институционального, ведь указанная парадоксальность свойственна формалистам как сообществу. Попробуем кратко суммировать сведения об их сотрудничестве с институциями современной литературы.

Уже в момент образования группа молодых ученых выступает в связке с литературными организациями, даже если эти организации столь же эфемерны, сколь сомнителен академический статус самого ОПОЯЗа. Формальный метод заявляет о себе на литературной площадке — на вечерах в кафе («подвале») «Бродячая собака». Затем «декларативный характер первого сборника был подчеркнут коллективным выступлением группы “Сборники по теории поэтического языка”, состоявшимся 18 ноября 1916 года в “Привале комедиантов” (Марсово поле, 7). Доклады читали Л. Якубинский, Е. Поливанов и В. Шкловский» [Крусанов 2003: 289]. Во время революции неформальная группа начинает набирать влияние — именно как делегаты общества, одноименного сборникам, Шкловский и Брик участвовали в работе Союза деятелей искусств. В 1918 году Брик совместно со Шкловским и Маяковским заведует издательством ИМО («Искусство молодых»), в котором участвовали как поэты-футуристы, так и молодые формалисты [Крусанов 2003: 273–277, 291].

19 декабря 1919 года ОПОЯЗ был зарегистрирован Управлением делами Комиссариата внутренних дел и началась официальная фаза его существования. Первое же заседание Общества посвящено современной литературе — на нем обсуждается доклад Александры Векслер о «Котике Летаеве» Андрея Белого [ЖИ: 1919, № 273, 2]. Одной из основных площадок для заседаний ОПОЯЗа становится Дом литераторов — довольно консервативная институция, дух которой не соответствовал темпераменту революционных теоретиков (неслучайно Чуковский предупредил Шкловского накануне заседания, «чтобы все было тихо, чтобы не было скандала» [Якобсон 2012: 92]). Однако формалисты публикуются в «Летописи Дома литераторов», а

⁴ Ср. письмо Лидии Гинзбург к Борису Бухштабу: «Кажется, пришло время и нам выбирать себе бытовое обличие, и я не удивлюсь, если оно окажется академическим. Разумеется, даром ничто не проходит, и мы сохраним от родного старого Опояза, если не легкость в мыслях необыкновенную, то некоторые поправки к академизму: ты — фокстрот, я — теннис; все вместе — пиво, стихи на случай, каламбуры и наплевательство» [Гинзбург 2001: 355]. Показательно, что в качестве «академического» образца для Гинзбург служат москвичи, испытавшие влияние шпетовской феноменологии.

под руководством Шкловского и Эйхенбаума там начинает работу литературная студия [ЖИ: 1920, № 382, 3].

Лекционная деятельность формалистов, начавшаяся в таких студиях, заслуживает отдельного упоминания. Еще до официальной регистрации общества Шкловский и Эйхенбаум читают лекции в студии при издательстве «Всемирная литература» [Тихонов 2020: 179], а затем и в Доме искусств (ДИСКе) — о связи между этими институциями см. [Schertg 1977: 260], сам Шкловский описывал их разницу в [Шкловский 1994: 288–289].

Более динамичный и точнее отвечающий веяниям эпохи ДИСК лучше подходил в качестве основной платформы для формалистов, поэтому с декабря 1919 года туда переносятся заседания ОПОЯЗа (некоторые время доклады продолжают устраиваться и в Доме литераторов). Эйхенбаум и Шкловский руководят литературной студией ДИСКА, позже их сменяет Чуковский. В этой студии читают лекции Жирмунский и Тынянов, а молодые студийцы вскоре организуются в группу «Серапионовы братья», сотрудничество которой с формалистами — важный сюжет литературной истории пореволюционного периода [Галушкин, Калинин 2019: 985–986]. В 1920 году в ДИСКе проводят серию публичных диспутов, первый же из которых посвящен обсуждению тезиса Шкловского «Содержание литературного произведения исчерпывается его стилистическими приемами» [ЖИ: 1920, № 416, 2], а в 1921-м проходит специальный «Вечер Опояза в Доме искусств» (см. афишу в [Чуковский 1979: 285]). Сотрудничество формалистов с ДИСКом было столь тесным, что, когда в Петроградском отделении Всероссийского союза писателей решают организовать бюро для составления списков кандидатов на получение «академических пайков», Шкловский входит в это бюро именно от Дома искусств [Галушкин 2006: 182–183].

Участие формалистского «ядра» в административных делах — еще один вопрос, заслуживающий рассмотрения. «Боевая тройца» состояла в одной из первых крупных советских литературных институций, а именно в Петроградском отделении всероссийского союза писателей. Само вхождение ученых в сообщество литераторов подразумевалось первым пунктом инструкции союза:

Членом Всер<оссийского> проф<ессионального> союза писателей может быть признан всякий, у кого имеются литературные по форме и значению труды, как в области художественного творчества в широком смысле слова, так и в разных областях знания или философского и публицистического мышления. К этой категории относятся, следовательно, и люди науки, поскольку произведения их, с одной стороны, содействуют обогащению литературы идеями и образами, а с другой стороны, вносят в нее образцы особо точного языка и выразительно строгого стиля [Кукушкина 2006: 129].

Шкловский накануне своей эмиграции входил в состав правления Союза и участвовал в комиссии, разрабатывавшей правила «нормального договора между издателем и писателем» [Галушкин 2006: 268], а в 1924–1926 гг.

Тынянов в составе специальной группы от правления обследовал условия жизни ленинградских писателей. Эйхенбаум, в свою очередь, принял участие в сборнике памяти одного из руководителей Ленинградского отделения союза Акима Волинского (эта книга стала единственной, выпущенной под издательской маркой Союза) [Медведев 1928b]. Впрочем, стоит отметить, что ученые не составляли какой-то ячейки в составе союза, входя в него на правах отдельных членов.

Сотрудничество с формалистами как школой, однако, планировалось, в стенах другого объединения, Ленинградского союза поэтов. В нем, среди прочих, была группа поэтов-заумников, об институализации которых пишет Татьяна Кукушкина: «Первым и единственным опытом “левого извода” Союза стала “Мастерская по изучению поэтики”, утвержденная правлением 18 апреля 1924 г. как секция» [Кукушкина 2007: 104]. Этой мастерской, как и всем «левым флангом» союза, руководил Александр Туфанов, проявлявший интерес к формальной теории. В составленном им плане работы мастерской было заявлено сотрудничество с представителями передовой теории: Шкловским, Эйхенбаумом, Тыняновым и Жирмунским. Кроме того, стоит обратить внимание на специальный совместный вечер Ленинградского отделения Союза писателей с Пушкинским Домом, приуроченный к 125-летию Пушкина. Среди докладчиков, которых можно отнести к сообществу формалистов, в нем мы встречаем только Жирмунского, однако площадкой для такого мероприятия был выбран именно Институт, незадолго до того ставший организационной платформой сообщества ученых. Инициатором вечера был Союз писателей: [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 147. Л. 65 об.].

Наконец, прямым способом участия формалистов в институциях современной литературы была редакторская и издательская область. Уже собравшиеся в Институте ученые печатались в издательстве «Academia», которое в 1923 году стало институтским предприятием, выпуская целый ряд научных серий и «Временников» разных разрядов. Еще с дореволюционных лет формалисты активно публиковались как литературные критики, этот вопрос в общих чертах был рассмотрен в диссертации Василия Львова. Исследователь описал сотрудничество Шкловского, Эйхенбаума и Тынянова в газете «Жизнь искусства», позднее преобразованной в журнал, а также в изданиях «Петербург», «Книжный угол», «Книга и революция», «Печать и революция», «Русский современник», «ЛЕФ» [Львов 2014].

В связи с участием ученых в литературных изданиях встает важный вопрос о взаимоотношении литературной критики и науки о литературе — тот вопрос, на который особое внимание обращали оппоненты формального метода, не желавшие подходить к нему с марксистских позиций [Энгельгардт 1927: 114, 116]. Суммируя взгляды самих формалистов на задачи критики, можно сказать, что в то время как Эйхенбаум пытается связать критику с наукой и дать образцы «научной критики», Тынянов и Шкловский смотрят на нее скорее как на литературный жанр, подчиняющийся моделям эволюции, предложенным поздним формализмом [Львов 2014: 146–163].

(о полемике между Эйхенбаумом и Тыняновым по этому вопросу см.: [Умнова 2013: 97–106]). Обе эти концепции показывают, что критика опоязовцами в целом не осознавалась как самостоятельная область словесности, она обязательно зависела от других дискурсов, будь то научный или литературный. Это положение важно для понимания тех литературных стратегий, которые будут реализованы в Комитете современной литературы.

Участие в разнообразных литературных институтах, а также параллельное — в академических, не освещавшееся выше (ИЛЯЗВ, Вольфила и др.), создали из неформального круга молодых филологов умелую организационную группу, нуждавшуюся лишь в постоянной платформе — поэтому нет ничего удивительного в том, что когда Жирмунский стал председателем Общества изучения художественной словесности Института (скоро оно будет реорганизовано в Разряд, затем Отдел изучения словесных искусств⁵), он пригласил формалистов включиться в активную работу Общества, несмотря на возникавшие личные и теоретические расхождения.

Стоит отметить, что до открытия Разряда современная литература уже находила место в жизни Института — к примеру, в 1919 году Гумилев читал здесь лекции о Блоке, на одной из которых присутствовал сам поэт [Чуковский 2012–2013: XI, 253], а в 1921 году прошло заседание памяти Блока [Галушкин 2006: 180]. Однако настоящее укоренение актуальной словесности началось в 1923 году, когда в структуре Разряда появился Кабинет Изучения Художественной Речи, задачей которого были попытки «путем эмпирического изучения декламации открыть законы стихотворного текста, в частности выявить заложенные в нем мелодические структуры» [Золотухин 2015: 55]. Основой для работы КИХРа были записи чтений поэтами своих стихотворений, поэтому существование этой научной единицы было немыслимо без активного сотрудничества с литераторами⁶. Стоит заметить, что стремление создать в Институте ячейку изучения декламации неслучайно — корни КИХРа уходят к самому зарождению ОПОЯЗа, когда будущий руководитель Кабинета Сергей Бернштейн (еще с 1920 года пре-

⁵ Само возникновение Отдела могло быть ответом на запрос объединения новой литературы с новой наукой — так, газета левых художников еще в 1918 году заявляла: «...есть и замечательные произведения (“Война и мир” Маяковского, поэмы Хлебникова, стихи Каменского) и мастера слова и пропагандисты нового (группа молодых ученых объединенная “Сборниками по теории поэтического языка”) и нет одного — организации знающей как собрать отдельные колеса в стройный механизм» [Организуйте... 1918: 2].

⁶ В 1926 году Бернштейн приводит список поэтов, чьи голоса он записал в ИЖС и ИИИ: Адалис, А. Ахматова, А. Белый, Л. Берман, А. Блок, В. Брюсов, К. Вагинов, Ю. Верховский, М. Волошин, Н. Гумилев, С. Есенин, Г. Иванов, В. Каменский, Н. Клюев, М. Кузмин, Б. Лившиц, К. Липскеров, М. Лозинский, О. Мандельштам, А. Мариенгоф, В. Маяковский, С. Нельдихен, Н. Оцуп, Н. Павлович, Е. Полонская, В. Пяст, А. Радлова, В. Рождественский, И. Рукавишников, С. Соловьев, Ф. Сологуб, А. Тамамшев, Н. Тихонов, В. Ходасевич, В. Шершеневич, М. Шкапская [Бернштейн 1926: 49]. См. также [Богатырева 2019: 116].

подававший в Институте) публиковал статьи, написанные под влиянием немецкой «слуховой филологии». Установка на декламацию определяет фон целого ряда формалистских работ, среди которых «Мелодика русского стиха» Эйхенбаума и «Ода как ораторский жанр» Тынянова. КИХР имел также и прямого предшественника — в 1920–1923 годах Бернштейн руководил фонетической лабораторией Института живого слова (ИЖС), где был сформирован первоначальный корпус записей поэтической речи. КИХР мыслился как прямое продолжение лаборатории.

Спустя несколько месяцев после открытия Кабинета в Институте появляется и Комитет (Комиссия) по изучению художественной речи под руководством Эйхенбаума: «С ее появлением в ИИИ фактически была воспроизведена сложившаяся в ИЖС двухчастная структура исследования: эмпирическая работа в лаборатории, роль которой выполнял КИХР, и теоретическая — в заседаниях комиссии» [Золотухин, Шмидт 2018: 379]. Однако в это же время мы видим, как в кругу бывших опоязовцев (Эйхенбаум, Тынянов, Томашевский, Жирмунский, Якубинский) заметно снижается интерес к проблемам декламации и изучению звучащей речи. В институтском отчете за третий квартал 1924 года это эксплицируется со всей очевидностью, материал Кабинета, по словам автора отчета, «можно считать исчерпанным для современной науки» [Золотухин 2015: 56]. Это ослабевание интереса встраивается в более общий процесс середины 1920-х, когда формалисты переходят от имманентного изучения литературы к проблемам построения исторического нарратива, к разработке модели литературной эволюции, изучению «соседних», «внеположных» рядов и т. д. [Ханзен-Леве 2001: 357–359]. Бернштейн и его занятия дрейфуют в сторону других секций Института (театральной, музыкальной), он начинает заниматься проблемами театральной декламации, а перед Тыняновым, Эйхенбаумом и Жирмунским встают другие вопросы — в том числе, связанные с современной литературой. В этом контексте содержать сразу два подразделения, связанных с декламацией, становится бессмысленно, и в конце 1923 года в Институте происходит очередная реорганизация. Понять ее детали помогает «Протокол заседания Разряда Истории Словесных Искусств РИИИ от 12 декабря 1923 года»:

Слушали:

1) Доклад Председателя <В. М. Жирмунского> о реорганизации научной работы Разряда. Проект предполагает перенести в Разряд деятельность Общества Изучения Художественной Словесности и Комитета Изучения Художественной Речи в качестве двух секций Разряда. В связи с этим Общество и Комитет не упраздняются, а изменяют характер своей деятельности. Комитет переименовывается в Комитет по изучению современной литературы, с привлечением в него представителей современной литературы и критики. Деятельность Комитета могла бы состоять в обсуждении художественных произведений, сообщениях авторов о собственном творчестве, критических докладах о современных явлениях литературы и т. д. [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 106].

6 января заявленная реорганизация начинает принимать реальные формы, см. по этому поводу запись в дневнике Эйхенбаума:

Вчера было интересное заседание в Институте ист<ории> искусств — организация «Комитета по изучению современной литературы». От нашего разряда — Жирмунский, Томашевский, Тынянов, Казанский, Жуков; литературы — Замятин, Федин, Каверин, Н. Тихонов, Рождественский, Груздев, Пиотровский. Было очень живо. Разговор о науке (формалисты) и критике. Спорили с Замятиным, который говорил о «бесстрастии» в науке. Мы с Тыняновым доказывали ему, что пропасти между наукой и критикой теперь нет и не может быть. Дело не в бесстрастии, а в различном характере оценки. Федин хорошо говорил о «долженствующей форме». Дело, по-видимому, пойдет [Эйхенбаум 1998: 208].

Понять, о чем формалист спорил с писателем, помогает статья Эйхенбаума «Нужна критика»:

Критик должен обладать не просто «вкусом», а острым чутьем долженствующей формы. Мы должны почувствовать в нем особый дар — чувство современности, чтобы прислушаться к его словам. <...> Критик должен быть своего рода историком, но только смотрящим на современность не из прошлого и вообще не из *времени*, а из актуальности, как таковой. <...> Критик отличается от истории литературы только тем, что его эмоция направлена на распознавание того, что образуется на его глазах, что еще никак не сложилось. Усмотреть в этом становлении признаки того, что в будущем окажется «историей литературы» — основное дело критика. Как видите — это уже не так далеко от науки [Эйхенбаум 1924а: 12].

Сложно в этом манифесте не увидеть прямой программы нового формалистского проекта, воплощенного в Институте⁷. Когда Мария Умнова пишет, что «...опоязовцем, наиболее активно разрабатывавшим теоретические аспекты проблемы критики в первой половине 20-х годов, был Б. М. Эйхенбаум», она не упоминает, что это было обусловлено также и самим его положением в Институте [Умнова 2013: 95].

9 января 1924 года Комитет был официально создан [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 108 об.], председателем его назначен, точнее оставлен Эйхенбаум [Эйхенбаум 1998: 208]⁸, секретарем — Илья Груздев [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 111 об.]. Очевидно, что новая институциональная конфигурация больше отвечала новым установкам формалистов, поэтому за устройство Комитета взялись с воодушевлением, вовлекая в работу нового учреждения близких им литераторов — уже 14 января Каверин пишет Льву Лунцу: «Юрий <Тынянов> пишет тебе о “Комитете по изучению живой литературы” — это симпатичная история» [Каверин

⁷ О некоторых результатах «напряжения цепи критика-писатель» см. [Добренко 1997: 86].

⁸ На заседании правления Института, где обсуждалась реорганизация, Жирмунский формулирует именно так: «с оставлением Председателем этого Комитета Действительного Члена Б. М. Эйхенбаума» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 147. Л. 4 об.].

1988: 16], а 23 января были разосланы программные приглашения на первое заседание:

При Разряде Истории Словесных Искусств Российского Института Истории Искусств возникла мысль о создании особого Комитета по изучению современной литературы, в состав которого входила бы как теоретика, так и практика словесного искусства, беллетристы и поэты. Разряд полагает, что такого рода общение представителей литературы может дать плодотворные результаты и для организации новой критики, и для развития самого словесного искусства. Организационная группа Комитета (в составе С. Балухатого, И. Груздева, В. Жирмунского, П. Жукова, Е. Замятина, В. Каверина, Б. Казанского, А. Пиотровского, В. Рождественского, Н. Тихонова, Б. Томашевского, Ю. Тынянова, К. Федина и Б. Эйхенбаума) просит Вас пожаловать на первое заседание Комитета, которое состоится в воскресенье 3 февраля в 6 час вечера в здании Института (Исаакиевская пл. 5) и предметом которого будет обсуждение проблем современной прозы. Инициативные доклады на эти темы прочтут И. А. Груздев и В. А. Каверин [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 109].

Заседание действительно состоялось в срок (этому мог помешать траур по умершему 21 января Ленину), но разочаровало председателя, который записал в дневнике: «В воскресенье 3-го было первое заседание Комитета современной литературы в Институте ист<ории> иск<усств>. Прошло неудачно — вяло и официально. Хорошо было только, когда говорил Шкловский и Веня <Каверин>. Ужасную, совершенно старческую речь произнес Жирмунский — о том, что с Бальмонта литература стала портиться, технизация» [Эйхенбаум 1998: 210]⁹. Тем не менее, новое учреждение начало активную деятельность. За первые полтора года в нем выступили с творческими вечерами Евгений Замятин, Алексей Толстой, Илья Эренбург, Виктор Шкловский, Николай Тихонов, Максимилиан Волошин, Илья Груздев, Вениамин Каверин, Юрий Тынянов, Борис Эйхенбаум, Константин Федин, Ольга Форш и Василий Каменский [Отчет 1926: 159], а в близком к формалистам журнале «Русский современник» во второй половине 1924 года были опубликованы «Дискуссии о современной литературе», то есть стенограммы обсуждений, состоявшихся в стенах Комитета. В предисловии к публикации говорится: «Новая организация поставила своей задачей объединить теоретиков и критиков с представителями современной художественной литературы и на заседаниях, после чтения литературных произведений и докладов, ставить на обсуждение наиболее интересующие и назревшие вопросы» [Г<изетти?> 1924: 273]¹⁰. Обстановка заседаний запечатлена в мемуарах Каверина:

⁹ Примечательно, что в комментариях Мариэтты Чудаковой приведено только первое предложение [Тынянов 1977: 463].

¹⁰ Одна из реплик в стенограммах принадлежит Константину Шимкевичу, будущему руководителю Кабинета современной литературы. В РГАЛИ хранится «Отчет о работе Комитета по изучению Современной Литературы Российского Института Истории Искусств за 1924 год (январь-май)», включающий описание большого

«Встречи» обычно происходили в Красной гостиной. За длинным овальным столом сидели гости, докладчики, профессора, а все прочие — где придется. На каждом из кресел помещались по меньшей мере три студента, а на длинном диване, покрытом красным штофом, с красными же, немного бледнее, цветами, — едва ли не весь мой семинар.

Я любил сидеть на окне: длинную, до самого пола, портьеру можно было чуть отодвинуть — и в меловых сумерках открывался Исаакий [Каверин 1982, VI: 458]¹¹.

С момента открытия Комитета актуальная словесность стала основным объектом внимания профессуры Института наравне с первой третью XIX века — на протяжении нескольких лет отчеты Отдела начинались с практически неизменного абзаца, указывающего на схожесть двух главных проектов ЛИТО:

Основной задачей Отдела в отчетном году продолжало быть систематическое обследование русской литературной продукции, преимущественно 1-й половины 19 века, составляющее уже в течение ряда лет главную работу Секции Художественной Словесности и объединяющее всех научных сотрудников 1-го и 2-го разряда и большинство Действительных Членов Отдела. В отчетном году проведению этой задачи способствовала и Секция Художественной Речи, в которой выдвинуто было на первый план соответствующее обследование языка русской литературы той же эпохи. С некоторой стороны, но направляясь уже от современности, к выполнению той же задачи примыкала и работа Комитета Современной Литературы, долженствовавшая не только выполнить соответствующее обследование современной русской литературы, но и давать идейное и методологическое руководство историческому изучению [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 21. Л. 64].

Этот абзац взят из отчета за 1925/26 ак. год, но и в другие года вступление к отчетам оставалось практически идентичным (в иных, например, могла не упоминаться Секция художественной речи, но упоминалась Комиссия Социологического изучения языка и литературы — например, в производственном плане на тот же год [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 8. Л. 37 об.]). Именно этот отчет показателен последним предложением, которое напоминает, что создание и развитие Комитета диктовалось не только интересами формалистов, но и политическим контекстом. Ксения Кумпан отметила, что включение современной культуры в область интересов Института было

количества обсуждений, чем опубликованный вариант. В нем указано, что Шимкевич входит в состав Комитета, и что он выступал еще несколько раз в тех дискуссиях, которые не попали на страницы «Русского современника» [РГАЛИ. Ф. 1527. Оп. 1. Д. 36]. Благодарю за это указание Ксению Кумпан.

¹¹ Примечательно, что к старости писатель забыл о самом существовании Комитета — приведенному описанию предшествует эпизод, где Каверин пытается убедить американского слависта в том, что подобных подразделений в Институте не существовало. Соответственно, не различал он Комитет и Кабинет современной литературы — см. письмо к Ксении Стравинской в [Каверин 1988: 221–222].

в некоторой степени навязано извне. В 1923 году отчет комиссии от Петроградского управления научными учреждениями ставил в вину Институту игнорирование современного искусства, в ответ на что директор Института Валентин Зубов решил создать посвященные ему отделения в каждом Разряде [Кумпан 2014: 15]. Как пишет исследовательница, «Разряд И<зучения> С<ловесных> И<скусств> первым в Институте приступил к изучению современного искусства, тем самым откликнувшись на призыв ревизионных комиссий “приблизить научную работу к вопросам современности” и оказался пионером в разработке “ленинианы”» [Кумпан 2009: 351]¹², именно благодаря этому работа Комитета была отмечена как главное научное достижение Института. Эйхенбаум записывает 1 февраля: «<Шкловский> Уговаривал меня написать статью о стиле Ленина — надо, говорит, принимать заказ, но сделать так, чтобы это входило в свою работу¹³. Так горячо говорил, что я, кажется, попробую» [Эйхенбаум 1998: 210]¹⁴. Следующая запись посвящена первому заседанию Комитета — и это соседство неслучайно¹⁵.

В случае организации Комитета политическая повестка сплавляется с исканиями формалистов¹⁶, причем это соединение продолжает и дальше

¹² Судя по всему, это было частью большой кампании – идентичное требование в то же время было предъявлено Институту Красной Профессуры [David-Fox 1997: 166].

¹³ Тридцать лет спустя — 17 марта 1954 года — Шкловский в том же стиле объяснял Эйхенбауму: «Боря, во вступительной статье дать новую методологию или решить общую схему хода русской литературы того времени нельзя. Надо написать вступительную статью и в ней сделать полстранички умных, не служебных, додуманных для себя» [Панченко 1984: 212].

¹⁴ Стоит отметить, что в мае 1924 года именно Эйхенбаума Институт делегирует в Комитет по изучению литературного стиля В. И. Ленина при Петроградском Государственном Университете [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 147. Л. 57 об.]. См. в протоколе заседания Разряда за 19 марта 1923 года: «Слушали: <...> Заявление Б. М. Эйхенбаума о том, что группа членов Разряда приступила к работе по изучению языка и стиля Ленина, и что т. к. персонально члены этой группы принадлежат также и к составу других научных учреждений Петрограда, заинтересованных в этой работе, то желательно не ограничивать ее Разрядом, а придать ей более широкий характер, объединяющий эти учреждения. <...> Постановили: <...> Предпринять особые меры к образованию межуниверситетской комиссии по изучению языка и стиля Ленина, которая объединила бы в этой работе Научно-Исслед. Институт при Университете, Словесный Разряд Института Истории Искусств и Институт Живого Слова» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 111].

¹⁵ Мариэтта Чудакова тонко формулирует мотивировку ученого: «Эйхенбаум же хотел, чтобы “читатель видел, что работа на самом деле движется, что остановки — нет”. Хотелось непрекращающегося участия в “современности” — т. е. в потоке “истории”; зримых, прекрасным эйхенбаумовским языком изложенных результатов» [Чудакова 1986: 128].

¹⁶ То же можно сказать и о «ленинском» блоке ЛЕФа [Калинин 2019; Tihanov 2020: 34–35].

диктовать логику существования учреждения — в плане на 1925/26 ак. год перечисляются следующие его работы:

- 6) продолжение разработки вопросов научной критики путем совместного с писателями анализа современных литературных произведений;
- 7) разработка проблем литературного творчества и производства путем систематических анкет и общего обсуждения;
- 8) прослеживание образа Ленина в русской художественной литературе (руковод. К. А. Шимкевич) [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 8. Л. 38 об.]¹⁷.

Здесь наглядно показано, как соединяются основная задача Комитета (синтез критики и науки), сбор материалов, создающих фундамент для дальнейших разработок и — идеологическая «надстройка».

Когда Эйхенбаум начинает разрабатывать проблемы литературного быта [Зенкин 2012], новый концепт появляется в институтской документации. Например, в производственном плане Института на 1926/27 ак. год, когда перечисляются темы подведомственной Эйхенбауму Секции художественной словесности, упоминаются «проблемы литературной среды и быта» с пометой: «последняя тема, организуемая Б. М. Эйхенбаумом, является новой» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 21. Л. 20]. Этим употребление термина не ограничивается, аналогичный пункт появляется и в плане работы Комитета современной литературы: «разработка проблем литературного творчества и техники, в связи с изучением литературного быта и условиями литературного труда и современности», и этому пункту нужна уже идеологическая мотивировка:

Последняя тема, организуемая Ю. Н. Тыняновым и Б. В. Казанским, является новой не только хронологически, но и по существу. Связанная с изучением литературной жизни за время войны и Революции, эта работа будет попыткой внести свою долю участия по огромному заданию, которое ставит современному русскому искусствоведению наша эпоха [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 21. Л. 20 об.]¹⁸.

Имя Тынянова здесь появляется вполне закономерно. Владимир Новиков отметил, что «во временной интервал 1921–1924 годов полностью укладывается работа Тынянова как критика современной литературы. После написания “Кюхли” Тынянов уже к критическому виду литературной деятель-

¹⁷ Предыдущие и следующие пункты относятся к другим секциям Отдела. Там же указано, что сбором анкет руководит Тынянов.

¹⁸ Институтское начальство оценило мотивировку: «Следует приветствовать те новые задания производственного плана на 1926/7 г., которые большей частью клонятся также к расширению социологических исследований (изучение литературной среды, быта, влияния и т. п.)» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 23. Л. 108]. О разнице тыняновского и эйхенбаумовского подходов к проблеме быта см. [Тынянов 1977: 508; Зенкин 2012].

ности не возвращался» [Каверин, Новиков 1990: 105]. Это не совсем точно¹⁹, но наследие Тынянова-рецензента действительно составляет совсем небольшой корпус, который, однако, венчают две работы именно 1924 года: «Промежуток» и «Литературное сегодня». В методологическом отношении их можно считать исполнением того плана по синтезу научной работы и критики, о котором формалисты говорили с Замятиным в процессе создания Комитета. Михаил Гаспаров отметил, что эти статьи представляют две стадии синтеза: «“Литературное сегодня” о прозе — это собственно критика, индукция, наблюдения, а “Промежуток” о поэзии — уже попытка приложения теории к современному материалу (“движение” в противоположность “сгусткам”): за это “Промежуток” и попал в “Архаистов и новаторов”» [Гаспаров 1990: 20]. Вполне закономерно, что обе статьи были прочитаны в виде докладов в Комитете [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 146; ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 119. Л. 81, 105 об.], а уже в 1925 году Тынянов стал следующим его председателем²⁰. Хотя он и перестал писать рецензии, но остался в области актуальной словесности не только как литератор, но и как культуртрегер²¹. 23 ноября 1925 года Тынянов прочитал доклад «Задачи Комитета Современной Литературы» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 21. Л. 67 об.].

Судя по всему, ученый мыслил корпус критических статей, написанных им в послереволюционный период, как законченное целое — об этом говорит издательский план «Academia» на 1925/26 ак. год: в нем значится книга Тынянова «Очерки литер<атуры> после Октября» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 8. Л. 45 об.] с указанием объема в шесть печатных листов — очевидно, она должна была включать работы в диапазоне между статьей о Блоке (1921) и «Промежутком» вместе с «Литературным сегодня» (1924) — возможно, с прибавлением впервые печатаемых работ, но, учитывая не-

¹⁹ В 1925 году по-немецки была опубликована статья «Русская литература современности», зависящая от «Промежутка» и «Литературного сегодня», но не целиком к ним сводящаяся [Тынянов 1996].

²⁰ Точная дата ухода Эйхенбаума неизвестна, но, возможно, с отказом от поста председателя Комитета связана фраза Эйхенбаума в письме к Шкловскому от 25 июня 1925 года: «Никому сейчас не нужна не только история литературы и не только история, но и самая “современная литература”» [Панченко 1984: 189]. Ср. с записками его ученика: «Как бежит Бум <Эйхенбаум> от истории, как ищет “все нового” и вдруг комичнейшим анахронизмом оказываются самые поиски нового во что бы то ни стало — не потому что старое непригодно, а потому что оно “надоело”» [Бухштаб 2000: 465].

²¹ Интересно мнение Андрея Немзера, рассуждавшего об уходе Тынянова от формата рецензий: «Думаю, что Тынянов не хотел быть критиком, а потому им и не стал. (И правильно сделал). Нельзя назвать критиком автора нескольких остроумных фельетонов, маскирующих теоретические искания, в свою очередь маскирующие поиски художника. Его оценки “текущей прозы” вполне предсказуемы: для того, чтобы их произнести, не нужна была тыняновская сильная мысль» [Немзер 1996: 34].

большой заявленный объем, вряд ли существенным. Впрочем, возможно, этот объем был указан Тыняновым наобум, ср.:

Странное для меня обстоятельство в моей работе: я всегда был уверен, что напишу очень мало, потом оказывается, что написал много. Первая моя книга по договору должна была равняться шести печатным листам, а написал 20. Начиная роман о Грибоедове, я опять подумал, что напишу листов 6, и даже заключил такое условие с журналом, а вышло больше двадцати [Тынянов 2016: 700].

В следующих издательских планах эта позиция не упоминается, но в протоколе заседания правления Института от 30 января 1925 года указано: «Передать рукопись книги Шкловского и Тынянова “Современная русская литература” на отзыв члену Правления Российского Института Истории Искусств Я. А. Назаренко» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 8. Л. 77] — резонно предположить, что Тынянов для более панорамного взгляда на состояние актуальной словесности пригласил в соавторы регулярно пишущего о заявленном предмете друга для того, чтобы он дополнил сборник очерков. Шкловский на тот момент не так давно вернулся из эмиграции и пытался восстановить репутацию лидера формалистов, так что его заинтересованность была очевидной. Кроме того, на протяжении 1920-х он не раз порывался издать свои очерки о советской литературе в виде книги — Александр Галушкин описал судьбу этого замысла, среди прочего приведя фрагмент из письма Шкловского к Ф. Витязеву (издательство «Колос»): «Если вы не возражаете, то я предлагаю обратить ее <книгу о современной прозе> в сборник, поместив статьи Б. Эйхенбаума и Юрия Тынянова. Одному почти немисливо справиться» [Шкловский 1990: 508; 536]. Видимо, книга не была принята издательством, поэтому Шкловский с Тыняновым (уже без Эйхенбаума) предложили ее институтскому издательству. Скорее всего, причина невыхода сборника кроется в решении назначенного рецензента — Назаренко был ярким противником формалистов, одним из активных деятелей Социологического комитета [Кумпан 2009], а в конце 1920-х именно ему предстояло сыграть ключевую роль в разгроме формалистского крыла Института [Кумпан 2014]²². Не исключено, что его рецензия и решила

²² Пользуясь случаем, закрою небольшую исследовательскую лауну. Реконструируя основные вехи биографии Назаренко, Ксения Кумпан пишет, что после 1936 года, когда он был исключен из партии, «Назаренко чутьем уловил приближение большого террора и на двадцать лет исчез из обеих столиц — возможно, отсиделся в Могилеве или в какой-то глухой глубинке» [Кумпан 2014: 128]. Подступы к ответу на вопрос, где прятался бывший зиол формализма, дает письмо бывшего слушателя институтских курсов Николая Мордовченко к Юлиану Оксману от 24 февраля 1949 года: «Псков — сильно разрушенный — быстро отстраивается. Пушкин здесь — первая проблема. Однако, литературных дел в городе никаких, если не считать бессмертного Як. Ант. Назаренко, который заведует кафедрой русск. литер. в Псковском Пед. Институте. Как и всегда, слава Я. А. в Пскове растет и ширится. Я давно уже хожу в его учениках, что приводит меня в искреннее веселье» [РГАЛИ. Ф. 2567.

судьбу этой рукописи, хотя к определенным выводам прийти невозможно из-за отсутствия дополнительных источников²³. Тем не менее, идея сборника рецензий Тынянова продолжала жить — в сентябре 1926 года Жирмунский писал Борису Казанскому, настаивая на реализации средств, полученных для институтских изданий: «Не подготовит ли Тынянов какой-нибудь сборник критических статей — своих или коллективный<?>» [Казанский 2001: 17], комментатор вряд ли точно увязывает эту фразу с «Архивистами и новаторами». По-видимому, невоплощенность уже практически готового проекта казалась несправедливой не только автору(-ам) рукописи, однако книга так и не появилась.

Заседания Комитета не исчерпывали всей работы с современной литературой, которая велась в Институте. В учебных программах есть специальные курсы по современной литературе, существовало литературное студенческое объединение (именно в нем прошел скандально известный вечер обэриутов) и Кружок по новейшей русской поэзии [Тынянов 1977: 472]²⁴. Тем не менее, именно Комитет был центром современной литературы, под его сенью развивались другие институтские проекты — показательное, что еще в 1923 году доклады о современной литературе могут читаться в разных секциях Разряда²⁵, но со следующего года они переходят исключительно в ведение новосозданного Комитета. Постепенная централизация разных участков работы с современной литературой была подчеркнута как особое достижение в отчете на 1925/26 ак. год — после приведенного выше фрагмента следует:

В целях объединения сопровождающих эти исследования вспомогательных работ — библиографических, словарных, каталогических, анкетных — велась работа Историко-литературного Архива с состоящими при нем Словарной, Библиографической и анкетной комиссиями. Таким образом, в отчетном году

Оп. 1. Д. 700. Л. 47]. Из этого следует, что как минимум после войны функционера «простили» и он оказался на важной позиции совсем не в «глухой глубинке». Возможно, исследуя это направление, можно найти и другие сведения о его биографии в сталинский период.

²³ Уже после разгрома Института, в конце 1935 года, Шкловский писал Тынянову: «Будет когда-нибудь день, когда мы запрем двери, откочем от пустяков и я напишу книгу о современной литературе, о себе, о тебе, Маяковском, Зощенке, Пастернаке. Ты напишешь книгу о Пушкине» [Панченко 1984: 207].

²⁴ Когда обэриуты попали не в студенческий кружок, а выступали перед «мэтрами», их скандальная перформативность уступила место институтскому регламенту: «Принцип театрализации оставался неизменным для всех выступлений <обэриутов> (единственным исключением оказалась вполне академическая встреча за общим столом с литературоведами Института истории искусств)» [Бахтерев 1984: 89].

²⁵ Например, 4 ноября 1923-го Виктор Виноградов читал доклад «Семантические наброски. Язык А. Ахматовой» в Секции художественной речи, а 9 декабря Павел Медведев рассказывал «О литературном наследии А. Блока» в Секции художественной словесности [Отчет 1926: 156, 157].

впервые была осуществлена давно намечавшаяся централизация плановой работы Отдела [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 21. Л. 64].

В 1926 году вышел первый выпуск «Поэтики», в котором был опубликован уже цитировавшийся «Отчет о научной деятельности». Помимо прочего, в нем помещена целая программа развития Комитета. Для литературных вечеров, бывших до этого главной формой работы, создается (точнее, переустрояется) специальное Общество художественной словесности, в то время как работа самого Комитета скорее сдвигается в сторону научных рассуждений о тенденциях современной литературы — авторы отчета перечисляют восемь основных тем для докладов и дискуссий [Отчет 1926: 159].

Также планируется выпуск периодического издания — «Записок». Этот план не был реализован, однако его заменой можно считать серию издательства «Academia» «Мастера современной литературы», пять выпусков которой («И. Э. Бабель», «Ефим Зозуля», «М. М. Зощенко», «Михаил Кольцов» и «Бор. Пильняк») вышли в 1928 году. Каждый из этих сборников содержал статьи молодых ученых и «мэтров» формализма, а также библиографические материалы, подготовкой которых занимался соответствующий Кабинет. Хотя эту серию не предваряло никакое редакционное вступление, на связь с Комитетом недвусмысленно указывает, например, статья Зощенко в первом выпуске — писатель начинает ее так: «Эта моя статья написана не для книги. Происхождение статьи совершенно случайное. В Институте Истории Искусств читали доклад о моей литературной работе. Меня попросили выступить после доклада. Я говорю плохо, несколько запутано и, по этой причине, перед докладом за полчаса набросал эти строчки» [Зощенко 1928: 7] (об этом вступлении, как и о подготовке издания, см. [Чуковский 2012–2013: XII, 319]). Выбор автора для открытия серии неслучаен — «В 1928 году Зощенко был на пике славы, в этом году у него вышло больше публикаций, чем когда бы то ни было» [Кларк 2018: 359].

Любопытные сведения об этой серии содержит письмо Бориса Казанского к Илье Эренбургу, полученное писателем в середине марта 1927 года. Текст письма не опубликован, но его содержание изложено в летописи жизни писателя:

И. Эренбург получает письмо из Ленинграда от литературоведа Б. В. Казанского с просьбой написать статью о себе для сборника «Илья Эренбург», который готовит издательство «Academia» в серии «Мастера современной литературы» под редакцией В. А. Каверина.

В этой серии планировалось издать не менее 12 книг: о М. Зощенко, И. Бабеле, Б. Пильняке, В. Шкловском, М. Кольцове, В. Маяковском²⁶, Вс. Иванове, Б. Пастернаке, И. Эренбурге, Н. Асееве, М. Горьком, Л. Леонове. В этом порядке книги должны были выходить [Попов, Фрезинский 2000, II: 199].

²⁶ Для этой книги должен был написать статью Эйхенбаум [Тоддес 1996: 354].

Дополнительное подтверждение этой информации можно найти в документах Библиографического кабинета, сотрудники которого внесли существенный вклад в научный аппарат этих книг. В отчете за 1926/27 год они сообщали: «Подготовлена к печати библиография Горького²⁷, также краткие библиографии (по заказу О<бщест>ва Изучения Художественной Словесности) Пильняка, Бабеля, Зощенко, Шкловского, Эренбурга» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 27. Л. 15–16], что свидетельствует о том, что работа над последними двумя сборниками шла весьма активно. Некоторым дополнением к этому списку может служить и «Общий очерк деятельности Отдела словесных искусств 1924–27 г.», в котором Библиографический кабинет указывал сделанные работы — за 1925/26 ак. год: «Спец. библиографии Ахматовой, Гумилева, Кузьмина <sic>, Замятина, Вс. Иванова, Пильняка, Зощенки, Горького», а за 1926/27 ак. год: «Закончены краткие библиографии Бабеля, Шкловского, Эренбурга» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 27. Л. 62]. Второе перечисление целиком относится к «Мастерам современной литературы», но и половина авторов, указанных в первой записи, стали героями отчасти нереализованной серии. Работа Библиографического кабинета была предельно конкретной, проектной²⁸, поэтому список заставляет задуматься о возможности появления выпусков «Мастеров...», посвященных и остальным перечисленным авторам. В случае расстрелянного Гумилева эта вероятность приближалась к нулю [Тименчик 2018], но сам факт институтской работы с его наследием достоин внимания. Другие участники списка также были «неблагонадежны»: Замятин арестовывался в 1922 и тогда же подвергался травле в печати [Галушкин 1992], Ахматова к моменту составления отчета уже пять лет не выпускала новых книг (а подготовленные «зависали» в издательствах), а популярность и даже влияние Кузьмина, высокая в 1921–1922 годах, уже прошла [Пахомова 2021: 233–247]. Все эти авторы, важные для круга формалистов, шли по разряду идеологически сомнительных попутчиков, поэтому не исключено, что начавшаяся в недрах Института работа над соответствующими сборниками должна была улучшить их позиции в литературном поле, однако их имена не попали даже в список, отправленный Казанским Эренбургу (нельзя исключать, что попытка согласовать их включение в издательский план была пресечена «сверху»).

Скорее всего, именно к «Мастерам современной литературы» относится постановление правления Института от 6 ноября 1929 года: «Включить в издательский план по Отделу ЛИТО следующие издания: <...> Современная литература, 15 выпусков о соврем<енных> писателях. 50 п<ечатных>

²⁷ Большой проект руководителя Кабинета вышел только в следующем десятилетии [Балухатый 1936]. В его подготовке активное участие принимал Юрий Перцович (о нем см. след. главу).

²⁸ Среди связанных с современной литературой замыслов Библиографического кабинета стоит упомянуть также замысел «справочника по современной литературной жизни в синхронистическом порядке» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 21. Л. 21 об.].

л<истов>» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 22. Л. 23]. Впрочем, еще мартом 1929 года датировано известное письмо Тынянова к Шкловскому, в котором он дает нелицеприятную оценку ученикам: «Это поколение художочное, мы оказались плохим питательным матерьялом, а они плохими едоками». Реже цитируется следующее предложение: «Я уже давно отказался, напр<имер>, от редактирования сборников молодежи по современной литературе, п<отому> <что> с ними не согласен» [Шкловский 1983: 27–28] — вероятно, речь идет именно об упомянутых сборниках, выход которых прекратился после первой «обоймы», изданной в течение года. Интересно, что том о Шкловском, намеченный в программе «Мастеров современной литературы», Тынянов продвигает в «Издательство писателей в Ленинграде» [Левченко 2012: 143]. Сборник должен был включать статьи Эйхенбаума и самого Тынянова, наверняка и научный аппарат, подготовленный Библиографическим Кабинетом. Возможно, что именно конфликт с младоформалистами заставил «мэтров» увести сборник из серии институтского издательства, а затем и вовсе отказаться от идеи издания (Эйхенбаум напечатал свою статью о Шкловском в «Моем современнике»). Размышляя над судьбой этого проекта, Левченко дает не совсем точный контекст, упуская из виду издательскую работу Комитета современной литературы, и от этого нагружает замысел вряд ли присутствовавшей в нем полемичностью.

Параллельное Комитету Общество изучения художественной словесности готовилось к еще одному научно-издательскому проекту — серии «Вопросы современной литературы». Во вступлении к ее первому выпуску — сборнику «Фельетон» — сообщается:

Новые задачи и обусловленная ими постановка проблемы выводили Общество из прежнего, традиционного положения замкнутого, академического кружка со специальными интересами и непременно требовали тесной связи с писателями и общения с читательскими кругами. Сближению литераторов и литературоведов должны были служить как чтение и обсуждение новых произведений, так и доклады о проблемах современной литературы. Главным же делом Общества была поставлена подготовка издательской деятельности, в убеждении, что только посредством печати возможна деловая и планомерная разработка основных вопросов современной литературы соединенными силами литераторов и литературоведов [Тынянов, Казанский 1927: 5–6].

Продолжения серии не появилось.

По институтской документации можно проследить судьбу еще одной вышедшей книги. В плане на 1925/26 год, наряду с книгой очерков Тынянова, указано: «“Современная литература” серия монографий». Лито ГИИИ» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 8. Л. 45 об.]. Скорее всего, здесь имеется в виду одна из уже упомянутых серий, но в плане на следующий академический год стоит и отдельный сборник «Современная русская литература» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 21. Л. 21 об.] (в другой версии плана — «Современная литература» с указанием объема в 10–15 листов [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 23. Л. 70]). Согласно отчету, подводящему

итоги 1925/26 ак. года, сборник был подготовлен к печати, известен и его состав: «Сб<орник> Современная литература: ст<атьи> Зильбера (об Эренбурге), Степанова (о Бабеле), Бухштаба (о Пастернаке), Гофмана (о Белом и Мандельштаме) и др.» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 21. Л. 67]. На заседании правления Института 10 июня 1927 года был одобрен план изданий к первому юбилею революции, среди планируемых книг есть и «Сборник “Современной литературы” (о современном литературном быте)» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 29. Л. 79] — добавление эйхенбаумовского понятия в описание книги весьма характерно. В последний раз идея книги появляется в отчете Комитета за 1926/27 ак. год, где отдельным пунктом указано: «Кроме очередных заданий, посвященных чтению и обсуждению современных литературных произведений, производилось планомерное изучение вопросов современной литературы, в результате которого готовится к печати специальный сборник, охватывающий эволюцию от символизма, через акмеизм и футуризм, до наших дней» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 27. Л. 15 об.]. Сборник так и не вышел, но подготовленные статьи были распределены между соответствующими выпусками «Мастеров современной литературы» — статья Николая Степанова «Новелла Бабеля» напечатана в соответствующем томе, работы Бухштаба и Зильбера (Каверина) предназначались для невышедших выпусков. Реакция самого Эренбурга на статью о нем Каверина была негативной — 20 марта 1927 года он писал Елизавете Полонской: «Некто Казанский хочет, чтобы я написал статью для книги обо мне же Каверина. Каверина статью мне прислали. Это гимназическая работа, без блеска Шкловского или Тынянова. С непонятным видом доказываются различные дважды два. Скучно! А мне что писать?» [Попов, Фрезинский 2000: 199–200]. Примерно так же оценил книгу о себе Пастернак, в итоге это исследование вышло уже после смерти автора [Бухштаб 1996]. Безусловно, опыт участия в институтских сборниках позже окажется релевантным для младоформалистов, когда они будут работать над несостоявшейся книгой «Ванна Архимеда» [Блюмбаум, Морев 1991].

§2. Кабинет современной литературы: очерк деятельности

Помимо идеи издания «Записок», в институтском отчете анонсируется «...организация, при участии младших сотрудников и слушателей старших курсов, собирания и разработки материалов биобиблиографического и архивного характера, которые должны составить Архив Комитета (черновики и корректуры литературных произведений, анкеты о литературном производстве, высказывания авторов о своих произведениях, о литературных течениях и группировках и т. п.)» [Отчет 1926: 159]. 25 февраля 1926 года Чуковский записал в дневнике: «Пришел очень высокий студент Института истории искусств, за рукописями каких-нибудь писателей, я дал ему рукописи Куприна, Ал. Ремизова, Мандельштама и Мережковского»

[Чуковский 2012–2013: XII, 271]. Это перечисление намекает на негласную программу развития Комитета: трое из четырех перечисленных авторов находились в эмиграции, а Мандельштам хоть и был относительно приемлемым «попутчиком», но его статус сложно назвать стабильным, а архивы — находящимися в безопасности.

В «Литературном быте» Эйхенбаум пишет: «литературная современность выдвинула ряд фактов, требующих осмысления, включения в систему» [Эйхенбаум 1987b: 428–429]. Эту мысль можно и продолжить — требующих институализации. Очевидно, что разговор о русском модернизме в стенах Института быстро выявил лакуарность представлений о современной литературе, за десятилетие с момента революции многие писатели покинули страну или оказались иным способом вычеркнуты из литературного процесса, а их архивы чаще всего находились в частных, ненадежных личных коллекциях. Центральные архивные учреждения, и прежде всего Пушкинский Дом, были заинтересованы скорее в сохранении исторических документов, которые находились не в меньшей опасности, а архивы современных писателей таким образом оказались под угрозой²⁹. С начала 1930-х бурную деятельность на этой ниве начнет Государственный литературный музей под руководством Владимира Бонч-Бруевича, но еще в середине предыдущего десятилетия подобных институций не существовало. Это и обусловило открытие Кабинета современной литературы. Первое его упоминание под названием «Архив современной литературы» можно встретить в производственном плане Института на 1926/27 ак. год, когда описывается структура Литературного Отдела:

Отдел состоит из следующих учреждений:

- 1) Секция Художественной Словесности.
 - 2) Секция Художественной Речи
 - 3) Секция Художественного Фольклора
 - 4) Комитет Современной Литературы
 - 5) Кабинет Изучения Звучащей Речи
 - 6) Архив Фонографических Записей
 - 7) Историко-литературный Кабинет
 - 8) Архив современной литературы
 - 9) Комиссия изучения сценической речи
 - 10) Комиссия изучения художественного перевода
- [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 21. Л. 42].

Как можно увидеть, из четырех крупных единиц Отдела Комитет подчеркнуто выделяется наименованием. В списке пропущен Библиографический кабинет, хотя он продолжал работу (в печатной версии отчета ему уделяется больше всего внимания из вспомогательных учреждений Отдела

²⁹ Очерк послереволюционной истории архивов в формалистском контексте см. в [Чудакова, Сажин 1986]; к собраниям книг советская власть относилась внимательнее [Добренко 1997: 158–165].

[Отчет 1928: 151]). Вместе с Архивом современной литературы организуется Историко-литературный кабинет, который впоследствии будет называть Литературным архивом³⁰. В общем очерке деятельности Отдела за 1924–1927 г. нововведения объяснялись так:

С весны 1927 г. учрежден был Историко-Литературный Архив (долженствовавший разгрузить Библиографический Кабинет от всех обязанностей, кроме специально библиографических, которые к этому времени сильно разрослись и потребовали специализации, и взять на себя сосредоточение всех вспомогательных работ — словарных, каталогических, анкетных а также хранение всех их результатов и всяких вообще черновых материалов³¹).

Благодаря деятельности Комитета Современной Литературы, составилось значительное собрание рукописей и пр. материалов по современной литературе, а вместе с тем, Комитет наметил проведение ряда анкет по вопросам современной литературы и критики, что по характеру своему было бы делом, чуждым для Ист. Лит. Архива. Поэтому к осени 1927 г. учрежден был Кабинет Современной Литературы для осуществления этих задач [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 27. Л. 56].

Печатно о создании учреждения было объявлено в 1928 году в очередной «Поэтике»: «Кабинет современной литературы. Заведующий: н^аучный сотр^{уд}ник I разряда К. А. Шимкевич, сотр^{уд}ник Ю. С. Перцович. В кабинете хранится около 50 №№ рукописей современных писателей и организовано собиране анкетного материала» [Отчет 1928: 151]. Институтская документация перечисляет первые приобретения Кабинета более подробно, в производственном плане на 1927/28 ак. год указано:

Архивом Современной Литературы собраны а) рукописи с черновиками и вариантами произведений Мережковского, Замятина, Федина, Каверина, Слонимского, Никитина, Тынянова, Шкловского, Тихонова и др. б) анкеты по отдельным произведениям современной литературы, по литературной технике отдельных писателей, по современному литературному быту [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 21. Л. 42 об.]³².

³⁰ Две новых единицы Отдела упоминаются рядом в отчете за 1926/27 ак. год: «В составе Института за отчетный год учреждены: <...> по ЛИТО — Историко Литературный Архив и Кабинет Современной Литературы» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 27. Л. 5].

³¹ Чтобы понять специфику этого учреждения, приведем фрагмент о его деятельности из институтского отчета: «В связи с систематическим обследованием метрических форм русского стиха 18/19 века, вычислены и графически проработаны диаграммы ритмико-метрических форм Пушкинского ямба и Пушкинской прозы» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 27. Л. 15 об.], то есть Архив собирал не исторические документы, а громоздкие материалы для научного аппарата, будучи в этом смысле скорее картотекой.

³² В отчете за 1926/27 ак. год покупка 50 автографов указана в графе «приобретены и получены след. предметы крупного оборудования» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 27. Л. 6].

Помимо Мережковского, пожертвованного Чуковским, все авторы принадлежат к кругу Комитета или «Серапионовых братьев». Отчет за прошедший 1927/28 год описывает первые шаги нового Кабинета даже с некоторым пафосом:

Кабинет Современной Литературы:

- а) организовано и описано собрание рукописей современных русских писателей, свыше 50 №№, включая ценнейшие экземпляры и серии вариантов значительнейших русских писателей.
- б) Организованы и отчасти проведены анкеты: 1) по истории создания отдельных произведений современной литературы; 2) по современному литературному быту [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 27. Оп. 15 об.].

Несколько курьезный отклик на открытие нового учреждения находим в дневнике Павла Лукницкого за 22 ноября 1927 года: «В столовой с А<нной> А<хматовой> просидел часа два (с 11 1/2 до 1 1/2). Рассказывал ей о К. Федине, о кабинете современной литературы, открывшемся при Институте Истории Искусств (хотят у всех писателей забрать их архивы!)» [Лукницкий 1991, II: 318], о контактах Ахматовой с Кабинетом см. [Орнатская 1996].

Сохранившиеся документы позволяют реконструировать устройство и порядок работы нового учреждения³³. Прежде всего, стоит указать, что изначальный состав, указанный в «Поэтике», быстро изменился. Сотрудник Кабинета Юрий Перцович ушел из Института (его биографию см. в главе 2), а на его место пришло сразу полтора десятка слушателей старших курсов. В архиве Шимкевича находится недатированный список сотрудников Кабинета:

Архангельская, Зинаида Ивановна
Веселовская, Екатерина Сергеевна
Денемарк³⁴, Валентина Николаевна
Корсун, Андрей Иванович
Миронов, Сергей Николаевич
Подольский, Лев Ильич
Реховский, Анатолий Михайлович
Федоров, Алексей Дмитриевич
Перов, Анатолий Павлович
Никитин-Бихтер, Алексей Михайлович
Крюгер, Мария Федоровна [КШ]³⁵.

³³ Характерный пример исследовательской путаницы между Комитетом и Кабинетом см. в [Лемминг 2004: 243].

³⁴ В документе — «Данемарк».

³⁵ Здесь и далее (во всех главах) используется сокращение: [КШ] — фонд Константина Шимкевича в Пушкинском Доме (РО ИРЛИ. Ф. 828, в обработке).

Наверняка этот список менялся в процессе работы Кабинета, к нему можно добавить несколько имен, но в целом именно эта группа была ядром, обеспечивающим работу учреждения (биографии работников Кабинета см. в следующей главе). Скорее всего, основной формой взаимодействия с литераторами были письма Шимкевича. Так, например, его послание можно найти в Электронном архиве Вяч. Иванова:

Глубокоуважаемый Вячеслав Иванович, Вам, вероятно, неизвестно, что Институт Истории Искусств с нынешнего года, всеми своими профессорскими и студенческими силами, пытается создать Литературный архив (Кабинет Современной Литературы). Мы изучаем новейшие литературные школы и направления в связи с общим движением искусства и в двух планах: публичном, т. е. по изданным материалам, и интимном, т. е. по рукописям. В частности, Ваше творчество и творчество Лидии Дмитриевны³⁶ будет изучаться под моим руководством. Вот почему Кабинет Современной Литературы обращается к Вам с особенной просьбой пожертвовать весь Ваш архивный материал нам для изучения, и в первую очередь то, что хранится у Виктора Андронниковича³⁷. Мы уже обладаем большими сокровищами, и главное все это воспитывает в традициях высокой культуры наше студенчество, которому мы хотели бы передать заблаговременно ощущение и знание эпох. Вообще, глубокоуважаемый Вячеслав Иванович, если Вас интересует наша современная литература и теоретическая мысль, я буду очень рад оказать Вам в этом смысле всяческую услугу. Заранее выражаю Вам нашу особенную благодарность. Искренне и глубоко уважающий Вас К. Шимкевич. 24/IX 28. Ленинград³⁸.

Других обращений Шимкевича к писателям за пределами СССР не выявлено, да и здесь письмо от лица официального учреждения было допустимым ходом, поскольку в 1928 году Иванов официально еще не стал эмигрантом. Он ежегодно продлевал свою «командировку» и получал академическое содержание из Цекубу [Берд 1999: 320]. Написать бывшему вождю младших символистов было политически возможно, и, несомненно, это отвечало интересу Шимкевича к высокому модернизму, значительную роль играла и чисто географическая доступность архива. Видимо, Иванов не ответил на письмо, а архивные материалы остались в собрании Мануйлова.

В приведенном письме Шимкевич указывает не только на культуртрегерскую, но и на педагогическую роль работы Кабинета — по замыслу институция должна была приобщать слушателей курсов к участию в архивации уходящего модернизма, демонстрировать им остатки этой культуры. При этом студенты были скорее промежуточными агентами, чем самостоятельными акторами. Так, например, отчитывается Валентина Денемарк:

³⁶ Зиновьевой-Аннибал, покойной жены Иванова — *В. О.*

³⁷ Мануйлова, который в Баку был вхож в круг Иванова — *В. О.*

³⁸ Электронный архив Вяч. Иванова. Оп. 5, картон 11. Папка 12. Л. 1–2.

Многоуважаемый Константин Антонович! Сообщаю Вам результаты моего разговора с М. Л. Лозинским, у которого я была во вторник 25-го. Приготовленный им материал заключается в полном комплекте черновиков «Горного ключа»³⁹ (большинство стихотворений в нескольких редакциях), который он отдал на временное хранение, но еще не решился окончательно передать в Кабинет до личной беседы с Вами. Возможно, что он ограничится пожертвованием лишь некоторой части этих рукописей. Остальные, имеющиеся у него материалы, по его словам, требуют разборки и подготовки. В дар Кабинету я смогла получить от него только автографированный печатный экземпляр первого издания «Горного ключа». Автографировать фотографию от Наппельбаум он решительно отказался, обещанный же Вам для Кабинета снимок этого года еще не получен им от В. А. Голованя⁴⁰. Зайти в Кабинет переговорить с Вами Михаил Леонидович обещал в ближайшую из сред. Искренне уважающая Вас Денемарк 27/ХП — 28. [КШ]

Типична в этом смысле также недатированная записка Владимира Смиренского (подробнее о нем см. ниже):

Дорогой Константин Антонович, пошлите кого-нибудь из студентов к Илье Ивановичу Базлову⁴¹ (Литейный 30, книж. магазин) в четверг, 10, с деньгами. У него продаются автографы и подписи на книгах. Лучше всего, если бы вы зашли к нему сами. С Борисоглебским⁴² Вы, кажется, дело сладили. У меня лежит его книга для Вас, с подписью. Получили ли Вы материалы от моего брата и мое письмо?⁴³ Все думал я повидать Вас лично, но, видимо, это удастся мне очень нескоро, — смертельно занят. «Сологуб» для Вас уже приготовлен⁴⁴. Может пришлете ко мне студента за справками о Кольце поэтов, — заодно он захватил бы и материалы⁴⁵? Я буду дома вечером 11го (в пятницу) от 5 до 8. [КШ]

Упоминание денег заставляет обратиться к заслуживающему отдельного внимания вопросу о финансировании Кабинета, как и вообще научной работы в Институте. Готовясь к 1925/26 ак. году, директор Института Федор

³⁹ «Горный ключ» (Пг., 1916; 2-е изд. 1922) — сборник стихов Лозинского, написанных в студенческие годы — *В. О.*

⁴⁰ Искусствовед Владимир Головань много лет работал в Институте, был заведующим фотолаборатории — *В. О.*

⁴¹ Илья Базлов — один из крупнейших петербургских букинистов.

⁴² Писатель Михаил Борисоглебский был активным членом Ленинградского союза писателей, в правление которого входил Смиренский.

⁴³ В архиве Шимкевича сохранилась записка от Бориса Смиренского из Тифлиса, в которой он пишет: «Я получил благодарность Института, которой на совесть говоря не стою, и которая меня очень тронула. Посылаю Вам еще что у меня нашлось — если это Вам пригодится. Считаю своим долгом и дальше передавать Вам материалы, которые интересуют Институт» [КШ]. Записка датирована 30 декабря 1928 года и, скорее всего, это позволяет датировать письмо Владимира Смиренского, поскольку «четверг, 10» подходит под январь 1929-го, вскоре после получения материалов от старшего брата.

⁴⁴ Об отношении Смиренского и Сологуба см. ниже.

⁴⁵ Смиренский был организатором «Кольца поэтов им. К. М. Фофанова».

Шмит, недавно сменивший на этой должности Зубова, так описывал оплату труда сотрудников в специальной записке, приложенной к штатным ведомостям:

Как видно из прилагаемого расписания должностей, числящихся по ныне действующим штатам, в Российском Институте Истории искусств фактически оплачивается — и, следовательно, систематически работает, — только руководящая головка (Президиум Института и Президиумы Разрядов), несколько научно-вспомогательных учреждений, управление делами и Хозяйственная часть. Ясно, что в исследовательском Учреждении должна работать не только одна головка, а вся масса сотрудников всех квалификаций и категорий; ясно, что исследовательское учреждение такого размаха и с такими задачами, как Российский институт истории искусств, не может довольствоваться двумя-тремя научно-вспомогательными кабинетами. На добровольцах, работающих бесплатно, держаться РИИИ не в состоянии [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 8. Л. 63].

Объяснительная записка, приложенная к смете на тот же год, еще более конкретна:

Вследствие чрезвычайно низкого расчета единицы 1-го разряда (при расчете месячного содержания, единица принимается в 6 руб) служащие Института жить на получаемое содержание не могут, а потому в большинстве вынуждены совместительствовать в других учреждениях.

Штаты ни в какой мере не соответствуют ни заданиям Института, ни фактически производимой в Институте работе. Ни один даже из активных Действительных Членов и ни один из научных сотрудников 1-ой категории не состоит в штате, а между тем именно на них лежит вся тяжесть работы как чисто научной по учреждениям Разрядов, так и педагогической по руководству коллективной исследовательской работой научных сотрудников 2-ой категории: целые богато-оборудованные научно-вспомогательные учреждения обслуживаются добровольцами, не получающими за свой труд никакого вознаграждения. Если бы в Институте работали только штатные служащие, Институт нужно было бы закрыть за полную неработоспособностью. Благодаря бескорыстной работе не штатных и не оплачиваемых научных работников всех квалификаций, Институт до некоторой степени выполняет свои задания, но неминуемо должен превратиться в ученое общество, ибо от не оплачиваемых сотрудников требовать постоянной и усиленной работы не приходится [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 8. Л. 64].

В принципе, обрисованная картина типична — для советских профессоров 1920-х было свойственно работать в двух-трех местах [Fitzpatrick 1979: 79]. Тем не менее, зарплаты сотрудников Института были вопиюще низки даже на уровне общей скудости содержания университетских работников — в среднем в 1923/1924 году советский профессор получал сорок рублей, однако уже к концу 1925-го — 120–150, и даже больше [Там же]. Практика неоплачиваемой работы в Институте, по-видимому, восходила еще к божественной атмосфере времен основания учреждения, о которой создатель

учреждения вспоминал: «Мне удалось собрать лучшие силы, которыми располагал Петербург. Несколько друзей приняли участие безвозмездно, остальные лекторы оплачивались мною» [Зубов 2004: 96]. Несмотря на общую нормализацию среды, на протяжении 1920-х ситуация в Институте не меняется — до создания Кабинета Шимкевич, как и другие научные сотрудники, получал нерегулярное лекционное вознаграждение за чтение нескольких дисциплин на курсах при Институте, но сама научная работа оставалась без денежного содержания. В то же время руководство вспомогательным учреждением подразумевало некоторый оклад, и именно таким образом получали основные средства коллеги Шимкевича — за руководство внутриинститутскими единицами в 1928/29 ак. году Тынянов, Балухатый, Оксман, Томашевский, Гуковский получали по 40 рублей. Жирмунский, занимавший ключевую административную должность, получал 135. Для сравнения укажу: уборщицы Института получали по 30 рублей, машинистки — по 45 [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 28. Л. 105]. Впрочем, даже открытие Кабинета изначально не смогло обеспечить Шимкевичу оплату труда — в момент его появления в бюджете Института не было свободных окладов, поэтому первые месяцы его работы велись на волонтерской основе, чем возмутился Казанский, отправивший специальную записку, рассмотренную на одном из заседаний правления Института:

На заседании Правления ГИИИ 19 IV 27, по вопросу о размещении дополнительного полуоклада, Правление постановило передать его в распоряжение СоцКомитета, не посчитавшись с соображениями, высказанными мною от имени Отдела Словесных Искусств.

Отдел Словесных Искусств имеет многочисленный состав, более значительный, чем имеется на ТЕО⁴⁶ и Отим⁴⁷, располагает же всего 5 ½ окладами, тогда как Отим имеет 6, а Тео даже 6 ½ окладов. Даже старейшие, первого состава члены Отдела, до сих пор не имеют штатного места и несут работу безвозмездно. В частности, работа по Кабинету Современной Литературы, наиболее актуальная и требующая особенной активности, не может быть поставлена сколько-нибудь соответственно своему ответственному значению только потому, что на заведывание этим Кабинетом Отдел не располагает штатным окладом, даже полу-окладом. СоцКомитет же не имеет по уставу собственного состава, следовательно и в отношении окладов должен быть поставлен в обязательство согласоваться с штатами Отделов. Представитель СоцКомитета даже не имел еще в виду определенного лица.

Вследствие этих соображений я считаю своим долгом, в качестве представителя Отдела Словесных Искусств, заявить протест против несправедливого решения Правления по этому вопросу.

Зам. Председателя Отдела Слов. Искусств. ДЧИ Б. Казанский
20 IV 27 [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 29. Л. 36].

⁴⁶ Театральный отдел.

⁴⁷ Отдел теории и истории музыки.

В тот момент протест не возымел своего действия, однако при следующем распределении окладов, состоявшемся через полгода, интересы ЛИТО были учтены — с 1 декабря в штатные ведомости была внесена должность Заведующего Кабинетом современной литературы [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 30. Л. 72], его полуоклад составил 40 рублей [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 27. Л. 36]. В том же документе сформулированы и его служебные задачи: «Выполняемая работа: Добывание у писателей, их родственников и знакомых рукописей / печатного и иконографического материала для сего Кабинета, регистрация, научное описание и руководство работами над этими материалами студентов высших курсов искусствоведения при ГИИИ» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 27. Л. 48].

Особенность Кабинета в структуре других вспомогательных учреждений была в том, что он располагал довольно значительным по меркам Института бюджетом. Рукописи приобретались небезвозмездно, и инвентарная книга поступлений аккуратно фиксирует выплаты авторам и коллекционерам. В среднем Кабинет давал около рубля за автограф, а учитывая, что счет приобретений идет на многие сотни, можно с уверенностью заявить, что заметная часть бюджета Отдела оседала в Кабинете. Шимкевич скупал объемные архивы некоторых журналов («Звезда», «Русский современник»), оплачиваемые из расчета около 30–50 копеек за рукопись, а некоторые коллекционеры и писатели, сдававшие огромное количество материалов, явно искали скорее возможность обезопасить бумаги, чем способ заработка. Впрочем, не стоит недооценивать скорость маргинализации старых писателей, терявшихся в подвижном пространстве советских институций, и поэтому буквально спасающихся от голода за счет старых автографов — в этом смысле интересно письмо Владимира Уманова-Каплуновского от 28 декабря 1928 года. Он пишет Шимкевичу:

Очень интересуюсь знать, как Вы решили относительно моего альбома (дополнительная часть бя). Я передавал через Вашего слушателя Корсуна, что желал бы за него получить около ста рублей, но, при этом, прибавил, что, если Г. И. И. И. не имеет достаточно средств, то я согласен и на ту сумму, которую он мог бы уплатить.

Через неделю т. Корсун возвратил мне альбом, который я давал на Ваше рассмотрение, и сказал, что Вы мне напишете.

Письма Вашего я не получил до сих пор и жду Вашего ответа. Попав с начала декабря в разряд временно безработных, я вынужден, понятно, интересоваться материальной стороной.

Что же касается имеющейся у меня 5й ч<асти> альбома «вечеров Случевского», то она так же будет передана в Институт, как и те материалы, которые я уже предоставил Вам раньше⁴⁸. (собрание А. К. Кураевой)

Исходя из вышесказанного, может показаться, что Уманов-Каплуновский радикально переоценивает возможные выгоды от сотрудничества с

⁴⁸ Об Уманове-Каплуновском и его альбомах см. [Кривич 2011: 226–227].

Кабинетом, но это не совсем точно — на фоне сотен «дешевых» позиций выделяются некоторые рукописи, значительно утяжелявшие бюджет учреждения. По 25 рублей приобретались рукопись Ремизова «Лиса-летунья» и «Марья и Марьян» Леонтия Раковского, 50 рублей было выдано Льву Лисенко за рукопись пьесы «Слава Юдифи», а затем еще 25 — за ее вторую редакцию⁴⁹. Неоднократно по 15–50 рублей платят Федину за документы не только творческого, но и биографического характера. Выделяется на общем фоне и Клюев, получавший по 25–30 рублей за автографы отдельных стихотворений. 20 июня 1928 года в инвентарной книге было зафиксировано больше всего трат — в этот день Михаилу Кузмину за две тетради стихотворений было выдано суммарно 400 рублей (то есть десятимесячная зарплата руководителя Кабинета), а Алексею Толстому также за две рукописные книги заплатили 200 рублей. Исходя из этих цифр, можно составить общее представление о практической стороне сотрудничества писателей с Кабинетом — молодые ленинградские литераторы, еще не добившиеся известности, всегда могли рассчитывать на несколько рублей (см. ниже об обэриутах), хранители богатых собраний (Григорий Сорокин, Владимир Смирнский, Сергей Бернштейн) получали от Кабинета довольно значительные суммы, но давались они за многие десятки, в некоторых случаях — сотни автографов. И лишь очень известные писатели, важные для ленинградской интеллигенции, вознаграждались соответственно их статусу.

В письме Уманова-Каплуновского задача сотрудников Кабинета выглядит чисто технической, но на деле некоторые студенты вели себя более самостоятельно. Показательно в этом смысле длинное письмо Льва Подольского от 14 ноября 1928 года. В нем идет речь о попытках получить для Кабинета архив Льва Лунца, хранившийся у Андрея Кази, брата Зинаиды Никитиной. Подольский договаривается об этом с посредником между ним и Кази — Николаем Чуковским, причем их разговор ведется в стенах Союза Поэтов. По всей видимости, Подольский более самостоятелен из-за того, что он является членом Союза Поэтов и представляет в нем интересы Кабинета, собирая рукописи у членов другой институции⁵⁰. В конце письма Подольский сообщает:

⁴⁹ Видимо, на это влияла репутация пьесы в Ленинграде — в 1924 году как «одну из самых замечательных драм последних лет» выделял эту постановку коллега Шимкевича по Институту [Пиотровский 1924].

⁵⁰ Так, например, персонально Подольскому была отправлена посылка Николая Асеева, сопровождаемая письмом от 26 апреля 1928 года (письмо также отложилось в собрании Кабинета): «Тов. Подольский, здесь: “Памяти Есенина” — черновик; “Тебе надоело, друг-читатель” — получерновик; “Б. Пастернак” — написанная почти целиком набело статья — экземпляр, с которого набирали; “С. Проссаков” — единств. экземпляр этой заметки, сразу написанной “набело”, как я пишу большую часть статьей. Привет! Ник. Асеев» [РО ИРЛИ. Ф. 172. Д. 359]. Судя по инвентарной книге Кабинета, Подольский был самым активным собирателем среди студентов-сотрудников.

Материал, полученный мною дополнительно от Вл. Викт. Смиренского, вручил для передачи Вам — А. И. Корсуну (рукопись романа в стихах и разная переписка, а также вырезки). Получил часть рукописей от члена Союза Влад. Соловьева. На днях буду иметь еще материал. Хармс и А. Введенский свои рукописи приготовили, но не захватили вчера с собой. Хармс, возможно, зайдет к Вам в Кабинет. [КШ]

Последняя фраза привлекает особое внимание, тем более что она находит соответствие в дневниках Хармса: «Надо снести рукописи в “Кабинет изучения литературы”» [Хармс 2002: I, 199]. Правда, эта запись появляется задолго до встречи в Союзе Писателей, она датируется февралем 1928 года, когда Кабинет только начинал активную работу и, видимо, был темой для разговоров в Институте. В тот раз поэт не появился в Кабинете — возможно, объяснение этому можно найти в том, что уже вскоре, в марте, состоялся литературный вечер обэриутов в ГИИИ, закончившийся скандалом и вынесением Хармсу единственного в истории Ленинградского Союза Поэтов выговора [Кукушкина 2010: 556-557] — этот инцидент мог на некоторое время отбить у поэта желание поддерживать связь с Институтом.

Однако уже осенью в записных книжках обэриута появляется имя руководителя Кабинета. В октябре 1928-го Хармс продумывает программу очередного литературного вечера, состоящего из разнообразных перформансов, чтений стихов и мелодекламации, но и с теоретической составляющей — на отдельном листе записано:

Бессмысленный доклад.
Доклад Шимкевича
Доклад об астрономии или о червях.
Кропачев — жонглер [Хармс 2002: I, 251].

На следующем листе — еще один вариант программы вечера с примерным регламентом выступлений, первым пунктом значится «Доклад литературный 10 м.», что, скорее всего, стоит ассоциировать с Шимкевичем, поскольку в следующей записи, набрасывая план действий для подготовки вечера, Хармс записывает: «Договориться с Шимкевичем». Еще через лист конкретизируется и дата, «Поговорить с Шимкевичем» запланировано на 29 октября. В последний раз имя филолога появляется позже, в записях, которые относятся к середине ноября:

Шимкевич.
21–28 — Дина Васильевна.⁵¹
Шляпа. Рахтанов.
Денди Лондонский.
черезчур литературно.

⁵¹ Имя девушки, которой увлечен Хармс, скорее всего, внесено независимо от других записей.

Аукцион чем кончился.
Денди Лондонский.
Колокольчик.
Витиевинов.
Колокольчик медленно вскипел как самоварчик.
Schmuz Papier.
У вас еще осталось от биографий.
Достать шляпу.
Эпиграф — все это творчество.
Очень уж литературно.
Скоро кончит [Хармс 2002: I, 263].

Судя по повторяющимся записям о шляпе и чрезмерной литературности, весь лист представляет единую серию заметок, сделанных во время некоего выступления Шимкевича — это могла быть как его лекция (помимо заседаний Кабинета, в 1928/29 ак. году он читает курс «Теория малых форм» и ведет семинар по курсу «Новая русская поэзия»), так и какой-то сторонний доклад. Видимо, там же присутствует приятель Хармса, слушатель курсов при ГИИИ и начинающий писатель Исая Рахтанов. Можно предположить, что Хармс решил посетить выступление филолога, чтобы оценить его пригодность для обэриутских вечеров, но был разочарован чрезмерной литературностью его лекторской манеры.

Доклад Шимкевича мог быть построен вокруг первой главы «Евгения Онегина» — на это указывает и цитата в четвертой строке хармсовской записи, и «шляпа», под которой едва ли не скрывается «широкий боливар». Впрочем, пока не найден прочитанный текст Шимкевича, вряд ли можно понять логику хармсовских записей и ответить на рождающиеся вопросы: в каком контексте упоминается «витиевато» переименованный Хармсом Вневитинов? Связано ли желание обзавестись шляпой с планируемым вечером? Единственной ниточкой, которая может ответить на какие-то вопросы, служит фраза «Эпиграф — все это творчество». Шимкевич изучал роль эпиграфов в поэтическом тексте, собрал целую папку выписанных эпиграфов и даже возглавлял коллективный проект по собиранию эпиграфов, в рамках которого предлагал «Составление свода русской литературной эпиграфики» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 106 об.], подразумевая под этим термином именно собирание эпиграфов. Курьезный объект интереса легко мог привлечь обэриута, отчего он и рассматривал возможность пригласить Шимкевича на литературный вечер, но, видимо, филолог оказался слишком серьезен и скучен для поэта. Возможно, впрочем, и обратное — ценящий свой академизм Шимкевич наверняка боялся стать объектом насмешки.

Вскоре после законспектированного доклада Подольский извещает руководителя о скором приходе Хармса в Кабинет. Если мы обратимся к инвентарной книге Кабинета, то найдем подтверждение визита, правда, не в ноябре, а спустя три месяца. 13 февраля в собрание Кабинета поступают четыре стихотворения Хармса: «Как бы нам до него добежать» (2 руб.),

«Фокусы» (1 руб.), «Искушение» (2 руб.) и «Пожар» (2 руб.), а также поэма Введенского «Минин и Пожарский» (3 руб.). Эти записи помечены «от автора», что означает, что обэриуты приходили к Шимкевичу вдвоем. Стоит также заметить, что в собрании к тому моменту уже был хармсовский «Стих Петра-Яшкина», переданный туда Григорием Сорокиным, а также три автографа Николая Заболоцкого — «Красная Бавария», которую также передал Сорокин, и две редакции стихотворения «На рынке», полученные от самого автора 31 октября 1928 года (эти две редакции проанализированы в [Устинов, Лощилов 2020: 543]).

Впрочем, и эта встреча не наладила между филологом и поэтом постоянных контактов. Шимкевич ни разу не упоминается в планируемом сборнике формалистов и обэриутов «Ванна Архимеда», а среди филологов Института Хармс ценит другого: «Я думаю, что Эйхенбаум наиболее близок мне» [Хармс 2002: I, 283].

Другим литератором, который проявлял, пусть и не слишком активный, но длительный интерес к деятельности Кабинета, стал сын Иннокентия Анненского Валентин Кривич, короткая переписка с которым примечательна в небольшом корпусе документов об учреждении, поскольку сохранилась с обеих сторон. Первое письмо отправил Шимкевич:

Многоуважаемый Валентин Иннокентьевич, до Вас, вероятно, уже дошли слухи о том, что Институт создает Кабинет Современной Литературы. Наши задачи очень велики и трудны: мы пытаемся не только собрать, но, по возможности, тотчас же и приступить к научному изучению собранного.

Вот почему мы обращаемся к Вам с особенной просьбой — пожертвовать нам некоторые Ваши черновики, типа «творческих историй» отдельных стихотворений.

Затем, мы также пока не имеем ничего из рукописей Иннокентия Федоровича, а Вы могли бы заполнить этот тяжелый пробел.

Кроме того, если представится возможность пришлите, пожалуйста, Вашу и Иннокентия Федоровича фотографии.

Кроме того, если Вас вообще заинтересует вопрос о серьезном изучении Кабинетом творчества Иннокентия Федоровича, то приезжайте, пожалуйста, ко мне в Кабинет; он открыт по средам от 6 1/2 до 10 часов [РГАЛИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 107. Л. 5–6].

Это письмо не датировано, однако его несомненно стоит отнести к 1928 году. Примечательно, что здесь повторяется мысль из письма Иванову — Кабинет создан не только как архивное приложение к Комитету, но как отдельный исследовательский проект, за которым стоит определенная концепция, недаром отсутствие рукописей Анненского ощущается Шимкевичем именно как «пробел». Ответ Кривича также не датирован:

Глубокоуважаемый профессор

Конечно, работа и материалы Вашего Кабинета меня интересуют, и очень.

В самое ближайшее время я рассчитываю воспользоваться Вашим любезным приглашением.

Вопросами творчества Иннокентия Анненского — моего отца — я занимаюсь уже давно — и самостоятельно, и в связи с работами в этом направлении некоторых групп «анненцианцев» <sic> — и, разумеется, исследовательские начинания руководимого Вами учреждения всецело в планах моих ближайших интересов.

Итак — до скорой встречи в Вашем Кабинете (собр. Кураевой)

Интересно упоминание «анненцианцев» — прежде всего, здесь подразумевается кружок «Кифара», который действительно планировал в советских условиях заниматься изучением и популяризацией творчества поэта. Одним из важных участников этого кружка был Евгений Архиппов, автор первой библиографии Анненского, у которого в свое время в Новороссийске учился Юрий Перцович, стоящий у истоков Кабинета. Перцович ценил своего учителя и перенял у него любовь к модернизму — не исключено, что именно ему принадлежала инициатива обращения к сыну культового автора. Следующее письмо Шимкевича не сохранилось, но из ответа Кривича (отправленного, судя по упоминанию каникул, в начале лета) следует, что сын поэта так и не посетил учреждение, а филолог, в свою очередь, отправил для переговоров студентку, которая не получила от Кривича рукописи, а лишь наметила следующий раунд переговоров:

Глубокоуважаемый профессор.

Мне крайне совестно, что до сих пор я не смог реально отозваться на предложение руководимого Вами Кабинета современной литературы.

Ваша сотрудница г. Архангельская передала Вам, конечно, мою глубокую благодарность за приглашение, а также и о том, что я с удовольствием доставлю в материалы Кабинета некоторые рукописи.

Надо ли говорить, что работа его интересует меня самым живейшим образом.

Бесконечный ряд обстоятельств самого скучно-технического свойства лишил меня возможности побывать у Вас в Кабинете, — а вместе с тем в личной беседе выяснить некоторые особо интересующие меня вопросы, — в 3 минувшие среды.

Дело в том, что именно по средам мои вечера были заняты художественным Советом Шк<олы> Эксперимент<ального> Театра, в работах которого в качестве завед. литерат. частью, завед. репертуаром и председат. литер. секции — я принимаю участие. Все надеялся освободить себе 1–1½ ч. — и не удалось. Это — одна из причин.

Теперь до осени ШЭТ замолк, и я рассчитываю, что в ближайшую же среду, мне удастся побывать у Вас в Кабинете⁵².

Примите уверения в совершенном уважении и преданности
Анненский-Кривич.

P. S. Очень прошу Вас извинить меня за текст надписи на конверте: не знаю Вашего имени и отчества⁵³ (собр. Кураевой).

⁵² О Школе см. [Кривич 2011: 67].

⁵³ На рукодельном конверте указано «Профессору Шимкевичу».

Однако в ближайшее время встреча не состоялась, а летом Кабинет, видимо, не работал, поэтому Шимкевич отвечает только 25 сентября последней известной нам репликой в переписке:

Глубокоуважаемый Валентин Иннокентьевич, простите меня великодушно за мое долгое молчание, но то, что Кабинет бездействовал, крайне мешало мне познакомиться с Вами лично. Если Вы не отдумали и если Вам дорога беспристрастно-научная оценка творчества Вашего отца, то, я уверен, Вы пожелаете помочь нам в деле изучения «первых русских символистов». Вы только придите к нам в Кабинет и Вы увидите, что это одно из очень редких в наше время, по своей одушевленной работе, место <sic>.

Я буду очень рад Вас видеть у нас в Кабинете и особенно для того, чтобы показать Вам наши уже богатства.

Мысль, кажется, Разумника Васильевича о нашей недолговечности вовсе не страшна, во-первых, потому, что у нас все недолговечно, во-вторых, — в случае нашей ликвидации весь наш литературный архив пойдет или в Публичную Библиотеку или в Румянцевский Музей; но ведь это вопрос, равный вопросу о падении вывески и о волке в лесу.

Я уверен, что Вы оцените наши труды и пожертвуете нам рукописи и Ваши и Вашего отца [РГАЛИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 107. Л. 1–2].

Сложно сказать, о какой именно мысли Иванова-Разумника идет речь, скорее всего она восходит к частным разговорам, однако ссылка на него важна как указание на общий круг знакомых филолога и царскосельского литератора (старшая сестра Шимкевича Маргарита состояла в руководимой Разумником Вольфиле⁵⁴). Стоит также отметить, что архив отца Кривич в итоге передал в Государственный литературный музей уже в 1933 году.

На круг корреспондентов и вкладчиков в собрание Кабинета повлиял еще один молодой и активный литератор — Владимир Викторович Смиренский. Родившийся в 1902 году, Смиренский был активным пропагандистом

⁵⁴ Маргарита Шимкевич родилась 20 декабря 1883 года в Кишиневе, как и ее младший брат. Училась в Псковской Женской гимназии, где в 1903 году окончила также и дополнительный педагогический класс, получив звание домашней учительницы. В 1908 году она, подобно отцу, устроилась на работу железнодорожной конторщицей и стала жить отдельно [Весь Петербург 1908: 845]. В 1914 году она стала счетоводом главной бухгалтерии, где служила как минимум до 1927 года, замужем не была [ЦГИА СПб. Ф. 1374. Оп. 2. Д. 19151]. Входила в состав Отдела философии культуры Петроградской Вольной Философской Ассоциации, участвовала в ряде обсуждений [Белоус 2005, по указателю]. В другом исследовании членом Отдела был назван К. А. Шимкевич, но это, очевидно, опечатка [Федоров 2002: 215]. В иронической поэме Константина Эрберга «Вольфила» ей посвящены строки: «Вот Шимкевич: керосином / Лечит даже тех, кто сплином / Безнадёжно заболел, / Даже тех, кто околел». В его же шуточном списке «Кто чем болеет в Вольфиле» указано, что Маргарита Антоновна «Не может ни заболеть, ни умереть: обессмертила себя керосином. (Других лечит им даже от мук совести)» [Белоус 2005, II: 751, 755]. Согласно не слишком достоверному списку «Родословная К. А. <Шимкевича>» (собр. Кураевой), в 1937 году Маргарита Антоновна покончила с собой, спасаясь от ареста.

наследия К. М. Фофанова. Он основал «Кольцо поэтов им. К. Фофанова» и на протяжении 1920-х писал большую монографию, посвященную поэту. Именно по этому поводу он обратился к Шимкевичу еще до основания Кабинета, 20 мая 1926 года:

Глубокоуважаемый Константин Антонович, мне очень хотелось бы поговорить с Вами по поводу одной из моих работ о русском декадентстве. Узнал, что вы очень интересуетесь этим вопросом и решил обратиться к Вам с просьбой уделить мне несколько минут для беседы. Свободен я после 8 вечера. Укажите, где я могу видеть Вас и когда, если, конечно, ничего не имеете против. Посоветовал мне обратиться к Вам Н. К. Дмитриев. [КШ]

Впрочем, скоро встреча поэта и филолога не состоялась — в конце лета Смиренский писал: «Побывать у Вас не смог, потому что уехал из города раньше назначенного Вами дня, а вернулся совсем недавно» [КШ]. В течение осени они также не встретились. Тем не менее, взаимный интерес сохранился — 20 января уже 1927 года Смиренский пишет Шимкевичу:

Глубокоуважаемый Константин Антонович, я собирался летом приехать к Вам, но сделать это мне так и не удалось, о чем я до сих пор сожалею. Мне удалось зато закончить первые два тома моей работы о Фофанове — и я очень хотел бы услышать Ваше мнение о них. Может быть, Вы будете любезны известить меня о Вашем согласии просмотреть конспекты (даже не конспекты, а содержание) обоих томов (это одна страница) — тогда я Вам выслал бы их почтой. Мне просто хотелось бы знать все ли я охватил, и не надо ли еще о чем-нибудь сказать. [КШ]

Неясно, удалось ли им встретиться в 1927 году и слышал ли Шимкевич раннюю версию исследования Смиренского. Но в следующем году, когда филолог расширял деятельность Кабинета и был вдвойне заинтересован в контакте с ленинградскими литераторами, договоренность о встрече была наконец достигнута, 11 февраля 1928-го Смиренский писал в небольшой открытке: «Белявский⁵⁵ передал мне что Вы хотели бы прослушать мою работу о Фофанове в эту среду в 8 час<ов> веч<ера>. Он заедет за мной, я согласен, день этот меня устраивает». Скорее всего, на этой встрече речь шла не только о Фофанове — Шимкевич наверняка рассказал Смиренскому о новом учреждении, его амбициях и возможностях и попросил участвовать в работе Кабинета, ведь Смиренский входил в состав правления Ленинградского союза писателей и был известен в городе многочисленными литературными проектами. Спустя неделю после встречи («эта среда» была 15 февраля), Смиренский пишет Шимкевичу с перечислением целого круга авторов, которые могут участвовать в проектах Кабинета:

⁵⁵ Н. Ф. Белявский — слушатель институтских курсов и член Союза Поэтов. См. о нем ниже.

Дорогой Константин Антонович, простите, что исполняю обещанное с таким опозданием. Не было буквально ни минуты свободной. Сейчас же немного поосвободился и тороплюсь исполнить долг по накопившейся переписке. На мой взгляд Вам могут быть полезны следующие лица:

1. Вишняков (Ставрогин) Николай Петрович (критик) Ул. Халтурина <д> 12 кв 15. (Письма.)
2. Грааль-Арельский (Петров) Стефан Стефанович. Широкая <д> 20 кв 20 (письмо, воспоминания, доклады)
3. Коринфский Аполлон Аполлонович, Лигово, балт. жел. дор. Матвеевская ул <д> 51–53 кв 1.
4. Розов, Борис Алдр, Зверинская <д> 7/9 кв 2 (письма, рукописи)
5. Уманов-Каплуновский Влдр Вас. Таврическая ул <д> 37 кв 13 (архив кружка Случевского)
6. Фофанов-Олимпов, Конст. Конст. Можайская <д> 14 кв 5 (рукописи, письма, доклад)
7. Ясинский Иер. Иер. Проспект 25 Октября. Дом Книги, кв 3 (письмо, рукописи)
8. Шульговский Ник. Ник., проф. Вас. Остров, 17 линия, д 25 кв 5 (рукописи, письма, доклад)
9. Измайлов Алексей Алексеевич — Вас. Остров, 17 линия, д 70 кв 5 (книги покойного брата критика А. А. Измайлова)⁵⁶

Вот все, что мне наспех пришло в голову. Обратитесь ко всем этим лицам — и, я думаю, получите многое.

От души желаю Вам успеха.

Всего Вам хорошего.

Вас искренне уважающий Владимир Смиренский

В №1 «Печати и Революции» (толстый журнал) за 1928 г. появилась благожелательная статья обо мне И. Поступальского⁵⁷ (собр. Кураевой).

Прежде всего очевидно, что этот список отражает взгляды и круг самого Смиренского: в основном это либеральные литераторы, получившие известность до революции, почти все они связаны с кругом К. М. Фофанова — скорее всего, Смиренский познакомился с ними, когда собирал материалы для сочинения о любимом поэте. Творчество этих авторов не было связано ни с революционным авангардом, ни с нарождающимся

⁵⁶ В собрании А. К. Кураевой хранится собрание сочинений Пушкина, выпущенное в 1903–1906 гг. под редакцией Петра Морозова с владельческими надписями Александра Измайлова и маргиналиями Шимкевича. Скорее всего, он приобрел это издание еще до создания Кабинета, поскольку многочисленные пометы «элегия» и «эпиграф» говорят о том, что ученый чаще всего обращался к этому изданию в 1923–1925 гг., когда работал над книгой об элгии и собирал материал для свода эпиграфов (впрочем, конечно, он мог продолжать эту работу и в конце 1920-х). О судьбе библиотеки Измайлова см. [Александров 2018: 165]. Владельческая надпись стоит на шести томах, надписям предпосланы даты. В первом томе — «11 мая 1903. СПб», во 2-м — «1903.30.VI», в 3-м — «1905.VIII.25», в 4-м — «1905.25.VIII», в 5-м — «1905.VIII.25», в 6-м — «1905».

⁵⁷ Печать и революция. 1928. № 1. С. 184–185.

соцреализмом, и поэтому оно на глазах уходило в историю литературы. Рукописи этих писателей, с одной стороны, нуждались в архивном убежище, а с другой — отлично подходили для целей Кабинета.

На этом письме сотрудничество Смиренского с Кабинетом не закончилось, он стал активным участником работы учреждения. Помимо уже приведенных выше писем (и письма его брата), 28 марта 1928 года он писал: «Дорогой Константин Антонович, посылаю Вам небольшую кипу материалов — моих и крестьянских поэтов. О неоклассиках напишу для Вас краткий обзор, о Кольце поэтов — тоже. Тогда пожертвую вам и “Летопись кольца поэтов”» [КШ]. Выразительное письмо он отправил пятого мая:

Дорогой Константин Антонович, я приготовил для Вас нечто более лучшее <sic>, чем прежние мои посылки. Перешлю с Л. Подольским. Очень благодарен Вам за внимание.

Пожалуйста, если Вас не затруднит, сообщите мне на каких условиях я мог бы передать Институту весь мой архив после моей смерти (не передать, а завещать). Тогда я (если условия подходящие) прерву переговоры по этому поводу с Пушк<инским> Домом. Адрес мой — ул. Халтурина, 1, кв 32. Приблизительно содержание архива таково: писем — 500, рисунков — 100, портретов — 100, рукописей — 200, автографов — 200. Мое не в счет [КШ].

Поэт размышляет о судьбе своего архива уже в 25 лет — как и Шимкевич в письме к Кривичу, Смиренский ощущает нестабильность окружающей среды и естественно желает обезопасить коллекцию, в этом мы находим очередное подтверждение необходимости такого учреждения, как Кабинет⁵⁸. Ретроспективно вопрос писателя может показаться даже комичным, ведь в итоге Смиренский пережил организацию почти на полвека (его не стало в 1977-м), но, с другой стороны, в том же 1930 году, когда Кабинет прекратил активную работу, поэт был арестован. Благодаря тому, что Смиренский всю жизнь был озабочен судьбой своей коллекции, сегодня его персональные фонды существуют в Пушкинском Доме, РГАЛИ, РО ИМЛИ, РО РНБ и созданном им литературном музее Волгодонска.

Смиренский стал для Кабинета практически внештатным сотрудником, он рассказывал об учреждении многочисленным знакомым и договаривался о приращениях собрания. Об этом свидетельствует письмо, отправленное 4 декабря 1928 года:

Дорогой Константин Антонович, пожалуйста, напишите как можно скорее Мих. Вас. Борисоглебскому просьбу доставить Вам имеющиеся у него материалы и назначьте ему день и час, так как он хотел бы с Вами побеседовать.

⁵⁸ В письме к Сергею Золотареву от 17 марта 1923 года Смиренский писал: «Относительно года моего рождения — я долго раздумывал, и решил, что, пожалуй, Вы правы. Биографов я смело могу обманывать, ибо им год не так интересен, а Вас не стоит. Вот слушайте: родился я в 1898 году, а умру, вероятно, в 1940. Жить-то еще целых 17 лет!» [РО РНБ. Ф. 423. Д. 1261. Л. 3].

Привезет он многое: 12 книг, портрет, схему построения своего романа, рисунки к книгам, рукописи, письма и т. д. Адрес его: Ленингр<адская> губ. г. Слуцк⁵⁹, Водопроводная ул. 5. Адрес Кабинета напишите ему поподробнее, чтобы потому что тюк у него пудовый и обидно будет и Вам и ему, ежели он Вас не разыщет. Но главное сделайте это поскорее.

«Сологуба» я отдал в переписку... при случае сообщите мне открыткой: 1) не довольно ли Вам о Сологубе 12 страниц (о литературе) и 2) не согласитесь ли Вы написать краткое предисловие к одной из моих истор<ико>-лит<ературных> работ, ежели я сумею ее устроить [КШ].

Вернемся к списку литераторов, который был получен Шимкевичем от Смиренского. Филолог им воспользовался — письмо Уманова-Каплуновского приведено выше, также пообещал прислать материалы Иероним Ясинский, об участии Константина Олимпова и Грааля-Арельского см. ниже. Примечательно, что после каждого имени Смиренский указал, чем именно могут быть полезны эти авторы — по всей очевидности, поэт здесь откликается на те проекты, которые предложил сам Шимкевич, что позволяет понять план развития Кабинета — помимо накопления автографов в него входит собирание мемуаров и организация специальных докладов.

Анкетирование литераторов, анонсированное еще в 1926 году, так и не стало важным направлением деятельности Кабинета — хотя в собрании Шимкевича и сохранился фрагмент машинописной анкеты, предназначенной для рассылки от имени учреждения, но серьезная работа по собиранию анкет не упоминается ни в письмах, ни в других материалах Шимкевича, ни в просмотренных мной описях собраний важных для Кабинета литераторов. Единственная известная анкета заполнена Тыняновым, но вклад коллеги по Институту никак не может сигнализировать о распространенности анкетирования [Шубин 1994: 76–79]. Стоит заметить, что в других отделах Института, изучающих современное искусство, анкетирование играло важную роль — так, например, музыкальный отдел разослал 450 анкет ленинградским музыкантам [Кумпан 2014: 29] (всего было изготовлено три тысячи анкет: [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 14. Л. 37 об.]). Разработкой анкет Отдел занимался и до создания Кабинета — еще в отчете за 1925/26 ак. год Историко-литературный архив (т. е. Библиографический кабинет) сообщал: «...по анкетированию совр. писателей разработаны типы анкет: био-библиографическая и по генезису и истории произведения <...> в техническом отношении стоит отметить: организацию анкетного опроса современных литераторов по вопросам литературного творчества и техники» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 21. Л. 66]. Судя по всему, после открытия Кабинета его команда решила не идти по стопам других аналогичных проектов, занимавшихся сбором анкет. К этому времени уже активно работал Кабинет революционной литературы, действовавший при Государственной Академии Художественных Наук (ГАХН). Секретарем этого учреждения служил поэт Дмитрий Усов, близкий друг Евгения Архиппова и знакомый Юрия

⁵⁹ Ныне Павловск — В. О.

Перцовича [Усов 2011: I, 471–499], и этот Кабинет активно занимался собиранием анкетного материала, на основе которого был составлен «Библиографический словарь русских писателей XX века». В предисловии к нему излагалась как краткая история Кабинета, так и методология составления словаря [Козьмин 1928]. В документации Института регулярно встречаются указания на то, что его проекты и структура повторяют проекты и структуру ГАХН, нередко прямо указывается на нежелательность этого двойничества⁶⁰. Впрочем, не исключено, что анкеты просто не сохранились — косвенное подтверждение этому можно найти в поздних мемуарах Юрия Перцовича, судя по которым, часть собрания Кабинета оказалась в его руках несмотря на то, что он ушел из Института довольно быстро после официального открытия вспомогательного учреждения (подробности см. в следующей главе):

Как горюю я, что эта бумага за печатью и с подписями Гладкова и Мейерхольда погибла в годы блокады Ленинграда, вместе с библиотекой и архивом, в котором, кроме нее, хранились рукописи автобиографий и стихотворений, авторских, Маяковского, А. Толстого, Мандельштама, Зощенко, и многих других, собранных мною по заданию факультета литературы Института истории искусств, где я в двадцатые годы учился. Они нужны были для семинара по текстологии [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 373. Л. 10–11].

Этим воспоминаниям свойственна некоторая нормализация раннесоветских образовательных экспериментов (см. «факультет литературы» вместо «Отдела» или «Комитета»), но семинар по текстологии — это не простое переименование названия Кабинета. Семинар действительно существовал: в производственном плане уже на 1928/29 ак. год основной работой учреждения «остается пополнение собрания рукописей современных писателей, особенно пролетарских, а также материалов по современному литературному быту», но наряду с этой задачей упоминается и вторая: «научно-исследовательский семинар Действительного Члена Института Б. В. Томашевского и научного сотрудника 1 разряда К. А. Шимкевича по текстологии современной литературы» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 28. Л. 91]. Других свидетельств сотрудничества Томашевского с Кабинетом не сохранилось, но указание на семинар доказывает, что разработка текстологических вопросов, всегда бывших важными для ученого, связывалась им и с современной словесностью⁶¹.

⁶⁰ См. среди многих примеров ответ Ф. Шмита на обвинения в адрес Отдела изобразительных искусств: «Что Институт истории искусств занимается именно историей искусств, едва ли должно быть поставлено ему в упрек, особенно раз рядом с ГИИИ существуют ГИНХУК и ГАХН, изучающие по преимуществу новое и новейшее искусство, ГИНХУК — в теоретическом направлении, ГАХН — в социологическом и практическом направлении; едва ли было бы целесообразно, если бы ГИИИ стал дублировать работу этих учреждений» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 23. Л. 110].

⁶¹ С современными издательскими практиками прочно связан манифест Томашевского «Писатель и книга: очерк текстологии».

Шимкевич, как уже было сказано, имел и издательские амбиции. Предметно о них позволяет судить письмо к филологу от поэта и переводчика Вильгельма Зоргенфрея от 17 октября 1928 года:

Глубокоуважаемый Константин Антонович, по Вашей просьбе я передал А. Д. Федорову, для руководимого Вами Кабинета, кое какой материал из своего архива, в чем и получил расписку. Буду рад, если материал этот окажется сколько-нибудь полезным для Ваших целей. Принять участие в проектируемых Вами сборниках мемуаров и пр. мне в настоящее время затруднительно. Надеюсь вскоре воспользоваться Вашим любезным приглашением и познакомиться с Кабинетом Литературы — и с Вами⁶² (собр. Курасовой).

Стоит заметить, что в последние «формалистские» годы в Институте существовал целый ряд издательских проектов, поскольку первое поколение бывших слушателей курсов как раз оказалось готовым к первым серьезным публикациям. В эти годы появляются «Словесность и коммерция» Теодора Грица, Михаила Никитина и Владимира Тренина, «Литературные кружки и салоны» Соломона Рейсера и Марка Аронсона, «Русская поэзия XVIII века» Григория Гуковского. В этом же ряду стоят и коллективные издания младоформалистов — «Русская проза», «Русская поэзия XIX века», нереализованная «Ванна Архимеда». В 1929 году Гуковский писал Григорию Винокуру: «Статьи в “Русской поэзии” в большинстве случаев нехороши, это правда. Но куда идти — ? Сейчас здесь собирается несколько сборников. Печататься будут еще более молодые, чем мы, уже ученики учеников» [Гинзбург 2001: 356] — здесь он имеет в виду слушателей курсов 1926–1927 годов поступления, некоторые из которых участвовали в Кабинете. Стоит отметить, что еще до появления Кабинета Шимкевич планировал некую альтернативу домашнему семинару Эйхенбаума, сохранилась записка, в которой он описывает планируемый курс «От символизма до наших дней»:

В семинарии предполагается проведение ряда докладов (приблизительно в две недели один доклад) в течение всего учебного года с тем чтобы создать сборник по истории литературных школ, как стилей той или иной эпохи. Предполагается разрабатывать следующие темы: символисты, акмеисты, футуристы, современные литературные группировки [КШ].

В архиве сохранился подробный конспект лекций Шимкевича по историографии, выполненный Николаем Мордовченко [ЦГАЛИ СПб. Ф. 798. Оп. 1. Д. 392]. Судя по всему, семинарская часть курса состояла из студенческих докладов, которые освещали рецепцию того или иного писателя в критике — об этом свидетельствует лист, озаглавленный «Сроки докладов»

⁶² «Рукописная тетрадь» автографов Зоргенфрея описана в статье Аллы Шелаевой, которая предположила, что передача документов в архив стала возможна благодаря племяннице Зоргенфрея Лидии Виндт [Зоргенфрей 2014: 29–30]. Приведенное письмо более точно описывает путь документов в собрание. Опубликовано и схожий отказ Алексея Скалдина [Скалдин 2004: 10].

[КШ] с распределением между слушателями тем такого рода, секретарем семинара назначена Ольга Хузе. Кроме того, сохранилось довольно много вырезок и выписок газетных и журнальных рецензий на литературные произведения дореволюционного двадцатилетия. Эти вырезки снабжены студенческими подписями – видимо, их стоит считать результатом работы семинара.

Идея оппонирования яркой группе младоформалистов витала в институтском воздухе: в шуточном рассказе о сотрудниках КИХРа Сергей Бернштейн иронизировал: «Присылайте статьи в наш сборник. Об ошибках не беспокойтесь: редакция исправит, лишь бы было дельно. Посоветуйте, как нам назвать сборник. Мне кажется, что хорошо было бы его назвать “Кривые и думы” или “Антибум”» [Золотухин, Шмидт 2018: 396]⁶³ («Бумом» называли Эйхенбаума, «Бумтрестом» — его семинар). Скорее всего, и публикация собранных Шимкевичем мемуаров планировалась в сопровождении какой-то научной рефлексии, манифестирующей сообщество Кабинета, параллельное младоформалистскому (об отношении Шимкевича и его работников к Эйхенбауму см. ниже). Образцами для руководителя Кабинета могли служить серии книг издательства «Academia» «Библиотека литературного быта» и «Мастера современной литературы».

В «Мнимом Пушкине» Тынянов писал: «Накопление материалов имеет определенную цель — литературное изучение, вне же этой цели оно превращается либо в кучу Плюшкина, либо, что еще хуже, в мертвые души Чичикова» [Тынянов 1977: 79]. Шимкевич мыслил схожим образом, поэтому он планировал некоторую концептуализацию собранных мемуаров — об этом говорят и вопросы Смиренского, пишущего воспоминания о Сологубе, и письмо Стефана Стефановича Петрова, который прославился как эгофутурист Грааль-Арельский. 15 марта 1928 года, меньше, чем через месяц после того, как Смиренский сообщил Шимкевичу его адрес, он отвечал филологу на несохранившееся письмо:

Многоуважаемый Константин Антонович, простите, что сразу не ответил на ваше письмо — меня не было в Питере. Я с удовольствием исполню вашу просьбу и пришло для Кабинета современной литературы какие-либо автографы и документы, но вы должны мне сообщить, в чем у вас чувствуется пробел. «Эгофутуризм» я несколько не интересуюсь. Еще в период его возникновения я порвал с ним навсегда.

К сожалению, я не в состоянии прочесть лекцию сейчас, потому что занят службой с 3 до 11 вечера. Такой распорядок времени у меня продолжится до конца апреля. Но после апреля я мог бы прочесть лекцию о сциентизме, над которым давно и серьезно работаю. Если вас это интересует, то буду рад заполнить программу кабинета этой лекцией [КШ].

⁶³ Согласно инвентарной книге Кабинета современной литературы, Бернштейн был одним из активнейших вкладчиком фондов учреждения. Между тем, еще в 1922 году Эйхенбаум записывает в дневник: «Тынянов говорит, что готовится сборник “Анти-ОПОЯЗ”: Энгельгардт, Бернштейн, Виноградов и пр.» [Левченко 2012: 39].

Снова возникающая тема «пробелов» указывает на некоторую схему, которую держал в голове Шимкевич, и, очевидно, эгофутуризм занимал в этой схеме важное место. Следующее письмо бывший авангардист прислал уже в конце года — видимо, руководитель Кабинета настаивал на том, что ему важен именно эгофутуристический эпизод литературной карьеры собеседника. 1 декабря Арельский пишет:

Дорогой Конст. Ант.,

В ответ на в/письмо сообщаю, что в данное время я мог бы вам приготовить:

- 1) Воспоминания о возникновении эго-футуризма и акмеизма, под общим заглавием «Сосьетер бой державы» (т. е. жизнь и самоубийство И. Игнатъева). Примерная программа такова: К. М. Фофанов, Мирра Лохвицкая, Игорь Северянин, К. Олимпов (К. К. Фофанов), Г. Иванов, Д. Крючков, Иван Игнатъев, К. Антонов, Н. Гумилев, Анна Ахматова, Сергей Городецкий, М. Зенкевич, М. Лозинский, Н. Клюев, А. Блок и др.

Воспоминания будут строго базироваться на письмах и иметь форму повести, интересной и для широкой публики. Размер 6–7 печ. лист.

- 2) Тезисы сциентизма (поэзия будущего). 11/2 печ. л.⁶⁴ Подробности вам передаст ваш сотружник (собр. Кураевой).

Объем мемуаров, предлагаемых Арельским, заслуживает уже не «сборника», упомянутого Зоргенфреем, и не «12 страниц» Смиренского о Солотубе, а отдельной книги. Впрочем, понять конкретнее издательские амбиции Шимкевича сложно, так как эти планы не были реализованы. По всей видимости, мемуары Грааль-Арельского действительно были подготовлены и переданы в Кабинет, где началась подготовка к их изданию. Об этом позволяет судить внутренняя рецензия Тынянова на рукопись «Поэты» бывшего эгофутуриста:

Роман историко-литературный: возникновение эгофутуризма; «Бродячая собака»; Игорь Северянин и Константин Олимпов. Кой-где и подлинные документы (смерть К. М. Фофанова). Самый роман, «светский» и банальный — тоже любопытный историко-литературный документ (прозаические традиции эгофутуристов). Но как роман — неинтересен. Как документ — мало документален. Издавать поэтому не приходится, несмотря на известную ценность «документа эпохи» [Тименчик 1986: 67].

Оценить реально сделанное Кабинетом за первый год работы помогает посвященный учреждению фрагмент отчета Отдела за 1927/28 ак. год:

⁶⁴ Тезисы действительно были переданы в Кабинет, однако, по видимости, существенно сокращенная версия, занимающая 6 рукописных листов [РО ИРЛИ. Ф. 172. Д. 1655].

- 1) произведено каталогизированное описание имеющихся в составе Кабинета рукописей, привлечен ряд активных постоянных сотрудников, установлены связи с представителями литературы, критики, литературных групп и журналов Ленинграда.
- 2) Организован семинарий по изучению творческой истории отдельных произведений, рукописи которых находятся в Кабинете, в частности Мережковского, Каменского, Тихонова.
- 3) Проведен ряд сообщений, посвященных творчеству Сологуба, воспоминаниям Фофанова-сына, о Фофанове-отце, о Хлебникове <...>.

По Кабинету Современной Литературы: в рукописное собрание поступило свыше 500 №№ рукописей, из которых особенную ценность представляют рукописи А. Толстого, Клюева, Замятина, В. Каменского, Е. Гуро, Ю. Тынянова, М. Слонимского, М. Кузмина, Зоргенфрея; иконографическое собрание также пополнилось преимущественно рядом фотографий.

Необходимо отметить здесь также совершенную необорудованность Кабинетов Отдела в отношении самой необходимой мебели. Невозможность обзавестись какими бы то ни было шкафами и столами в течение целого года не позволяло до сих пор развернуть работу в Кабинете Современной Литературы и организовать Кабинет Литературного Языка [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 28. Л. 52–53]⁶⁵.

Из отчета видно, что одним из активных направлений работы Кабинета стало чтение докладов, которое упоминает Смиренский в своем списке, и от которого отказывается Грааль-Арельский. Тот же отчет перечисляет первые шесть сообщений:

- К. Шимкевич — «Творческий путь Сологуба».
- Н. Белявский — «Сологуб о современных писателях».
- В. Смиренский — «Житейские афоризмы Сологуба».
- К. Фофанов — «Эпоха эго-футуризма».
- О. Спектор — «Воспоминания о Хлебникове».
- В. Смиренский — «Ранний Фофанов».

Список приведен без дат, хотя мы знаем, что К. Олимпов (Фофанов) выступал в Кабинете 14 марта 1928 года (см. ниже), а мемуары О. Спектор (эсерки, также известной под фамилиями Сухоруковой, Самородовой и Полянской) позднее были опубликованы с датировкой 20 марта [Самородова 1972]⁶⁶. Также можно предположить нижнюю границу датировки — по всей очевидности, первый доклад был прочитан после 5 декабря 1927-го,

⁶⁵ Здесь проигнорировано предписанное в производственном плане на этот ак. год «...проведение систематических анкет по истории создания отдельных произведений современной литературы и по современному литературному быту» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 83. Оп. 3. Д. 27. Л. 88].

⁶⁶ Публикатор мемуаров — выпускник Института Николай Степанов, который о происхождении печатаемого текста ничего не сообщает. Автограф (или список) этих мемуаров хранится в архиве Шимкевича.

когда умер герой доклада Сологуб⁶⁷. Именно его смертью, ставшей заметным событием в ленинградской литературной среде [Сологуб 1997: 387–388], и объясняется повышенное внимание к писателю. Кроме того, имена Смиренского и Белявского⁶⁸ указывают на дополнительную связь Кабинета с Союзом Писателей — в последние годы жизни Сологуб был его председателем, Белявский — членом, а Смиренский — членом правления и секретарем самого Сологуба. Скорее всего, Смиренский прочел свой первый доклад в Кабинете после 11 февраля 1928 года (см. его письма выше). Его сообщение поддается реконструкции, поскольку собранные поэтом афоризмы Сологуба были опубликованы под названием «<Воспоминания о Федоре Сологубе и записи его высказываний>» [Сологуб 1997: 400–408]. Благодаря отчету можно восстановить авторское название. Второй доклад Смиренского — о Фофанове — явно был презентацией его литературоведческих штудий, поэт был всячески заинтересован в популяризации своего труда (см. выше, как настойчиво он добивался, чтобы с работой о Фофанове познакомился Шимкевич), но вряд ли руководитель Кабинета хотел уделять этой теме первые же заседания, поскольку Фофанов к современной литературе в конце 1920-х относился уже косвенно. О следующих докладах мы знаем (за одним исключением) из сохранившихся в архиве Шимкевича протоколов и присутственных листов, на основе этих документов можно составить датированный список:

- 14 марта 1928 г. — доклад Константина Олимпова «Эпоха эго-футуризма»;
- 13 ноября 1929 г. — доклад Ольги Хузе «Новейшая проза в период перелома»;
- 20 ноября 1929 г. — доклад Сергея Спасского «Глава из истории новой поэзии (вокруг альманаха «Без муз»)»;
- 4 декабря 1929 г. — доклад Бенедикта Лившица «Гилейцы»;
- Конец 1929 г. — доклад Арсения Островского о Д. Д. Бурлюке;
- 15 февраля 1930 г. — доклад Бориса Мазурина «Пути А. Н. Толстого»;
- 4 апреля 1930 г. — доклад Константина Вагинова «Моя работа над текстом».

Профессиональной стенографистки в Кабинете не было, но секретарь Кабинета Валентина Денемарк протоколировала дискуссии, которые следовали за докладами. Конспект обсуждения доклада Ольги Хузе носит заголовок «Протокол № 6», но это не помогает понять, насколько полны эти списки — по всей видимости, не все выступления протоколировались.

Перечень докладов отличается от того круга имен, который Шимкевичу сообщал Смиренский — если там упор был на писателей, активных в 1890–1900-е, то здесь явный акцент сделан на 1910-х. Три из семи докладов прочитали слушатели институтских курсов — Ольга Хузе, Борис Мазурин и

⁶⁷ Можно предположить, что до конца ак. года соблюдалась периодичность чтения докладов приблизительно раз в месяц.

⁶⁸ О Н. Ф. Белявском см. [<Соболев> 2009]. Его студенческое дело: [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 2. Д. 569]. В собрание Кабинета он передал несколько рукописей, связанных с Сологубом, и свои стихи.

Арсений Островский (последний был недавним выпускником и младшим научным сотрудником): следуя описанным в письме к Вяч. Иванову принципам, Шимкевич транслирует студентам «ощущение и знание» эпохи, не только использует их в качестве переговорных посредников, но и подключает к научной работе. Из этих троих никто не был указан в приведенном выше списке сотрудников Кабинета, так что в активности Кабинета принимало участие больше слушателей институтских курсов, чем указанные выше одиннадцать. Тексты самих докладов не сохранились, однако некоторые из них поддаются реконструкции.

Так, например, содержание доклада Константина Олимпова неизвестно, но с некоторой степенью уверенности можно считать, что поэт пересказывал концепцию, изложенную в тексте «Возникновение эгопоэзии вселенского футуризма» [Олипов 1997]. Точная дата работы над ним неизвестна, публикаторы указывают лишь нижнюю границу — 1922 год.

Случай Олимпова позволяет подробнее рассмотреть взаимодействие Института с поэтами, а также — как это взаимодействие вписано в контекст изучения современной литературы в конце 1920-х. Для этого стоит обратиться к ценной статье [Крусанов 2019]. Изучая эпистолярный архив Давида Бурлюка, исследователь реконструирует сразу несколько проектов по канонизации русского авангарда, которые не были реализованы в свое время. Важным героем статьи является уже упомянутый Арсений Островский — в то время библиограф и работник Института, участник домашнего семинара Эйхенбаума и автор «литмонтажей» «Молодой Толстой в записях современников» (1928) и «Тургенев в записях современников» (1929). (О дальнейшей судьбе Островского см. [Гинзбург 2011: 73–77]). В конце 1920-х он начинает собирать материалы для сборника «Футуристы», который должен был иметь прежде всего источниковедчески-библиографический характер, именно поэтому он обратился к Бурлюку, Крученых и другим деятелям футуристического движения [Крусанов 2019: 526–527]. В статье Крусанова указано, что Островский работал в Институте, но не акцентируется его привязка к его структуре, хотя это весьма релевантный аспект изучаемого сюжета. В поздней автобиографии Островский указывал, что «в 1928–30 гг. был ассистентом по кафедре литературной библиографии в Институте истории искусств» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 400. Л. 49 об.], под этим стоит понимать Словарно-библиографический кабинет под руководством Балухатого, и действительно — в институтском отчете Островский упоминается как один из двух сотрудников научно-вспомогательного учреждения [Отчет 1926: 151], а в издательских планах Отдела указаны «библиографические справочники по Л. Н. Толстому, М. Горькому, русскому футуризму» [Отчет 1926: 153], то есть работа Островского выполнялась под эгидой научного учреждения. О том же говорит и заключение контракта на «Футуризм» с издательством «Academia», которое планировало поместить книгу в серии «Памятники литературного быта» [Крусанов 2019: 526]. Более того, работа о футуризме была начата как выпускное сочинение, о чем свидетельствует соответствующее заявление [Отяковский 2024b]. Все

это говорит о том, что, общаясь с поэтами, Островский опирался не только на энтузиазм первооткрывателя, но и на авторитет солидной институции (именно в Институт приходят книги, посланные Бурлюком Островскому [Крусанов 2019: 527]).

Вернемся к Олимпову. В «Записных книжках» Лидии Гинзбург есть заметка за 1927 год:

Боря <Бухштаб>, по ходу своих занятий эгофутуризмом, раскопал недавно Константина Олимпова (сына К. М. Фофанова), ныне управдома. Восхищенный тем, что встретил сочувствующую душу, Олимпов продержал Бориса целый день в давно не топленной комнате, подарил ему эгофутуристические книжечки и рассказал много замечательного [Гинзбург 2002: 36].

Эта запись заставляет задаться вопросом, насколько бывший эгофутурист был «закопан». В 1927 году Олимпов является членом двух Ленинградских союзов — писателей и поэтов, хотя не слишком регулярно посещает собрания. С ним поддерживают связь некоторые поэты, прежде всего Смиренский и обэриуты, бывшие слушатели институтских курсов. Вряд ли Бухштабу приходилось «открывать» поэта-одиночку, как это в схожих обстоятельствах делали молодые филологи 1960-х [Бреслер 2020], скорее он слышал об Олимпове от соучеников⁶⁹. Для посещения бывшего эгофутуриста требовался лишь повод, каким, видимо, и оказались институтские проекты. В них вовлек Олимпова Островский, который 25 февраля 1927 года писал поэту:

Многоуважаемый Константин Константинович! Нельзя ли зайти к Вам поговорить относительно истории футуризма. Я составляю библиографию русского футуризма с 1911 по 1915 г. и был бы чрезвычайно благодарен, если бы Вы поделились со мной некоторыми сведениями. Если это Вам не трудно назначьте время, когда к Вам можно зайти (если можно — в ближайшие дни) [РГАЛИ. Ф. 1718. Оп. 3. Д. 47. Л. 1].

В следующие несколько месяцев между исследователем и поэтом, видимо, налаживаются отношения — Островский реставрирует фотографию Олимпова и черпает у него нужные сведения. Письмо Олимпова к Островскому демонстрирует их хорошие отношения, а также позволяет приблизительно датировать визит Бухштаба, отраженный Гинзбург: младоформалист приходил к поэту весной 1927 года (ср. «нетопленную комнату») и действительно получил от него «эгофутуристические книжечки», однако не совсем в подарок. 27 мая Олимпов пишет Островскому:

⁶⁹ При обсуждении этой записи Ксения Кумпан справедливо заметила, что мы имеем дело не с аутентичными записями Гинзбург, а с их поздней переработкой, предназначенной для печати. Не исключено, что комментируемое слово возникло, когда Олимпов действительно был глубоко «закопан».

Мой дорогой Арсений Г.!

Вы доставили мне большое удовольствие за реставрацию моей фотографии. Спасибо Вам, — карточку получил. Своими сведениями о возникновении футуризма в России охотно разрешаю пользоваться в ваших изданиях и обещаю значительно их дополнить. Выберите свободное время зайти ко мне, и мы поговорим. Передайте Бухштабу мой привет и напомните ему о возврате взятых от меня печатных изданий и рукописи по истории футуризма [РО РНБ. Ф. 552. Д. 97. Оп. 1]⁷⁰.

Скорее всего, ближайшими днями/неделями стоит датировать и записку от Бухштаба: «Был я у Вас, хотел возвратить взятые книги и извиниться, что так долго их задержал, но, видно, никого не застал дома, т. к. не открывают. Доверить Ваши книги ящику “для писем” — не решаюсь. Не позвоните ли Вы мне, чтобы нам сговориться, когда мне Вас поймать?» [РГАЛИ. Ф. 1718. Оп. 1. Д. 38].

В следующем году начал свою работу Кабинет современной литературы, Смиренский прислал Шимкевичу адрес Олимпова, и уже через несколько недель поэт выступил в Кабинете с докладом. Скорее всего, на это повлияла не только рекомендация Смиренского, но и знание институтских работников о «рукописи по истории футуризма», под которой наверняка стоит понимать уже упоминавшееся «Возникновение эгопоэзии вселенского футуризма». Все это было бы вряд ли возможно без содействия Островского (о его участии в Кабинете см. ниже) и интереса Бухштаба.

Инвентарная книга Кабинета позволяет добавить несколько штрихов к эпизоду сотрудничества Олимпова с институцией. Впервые его имя встречается в записи от 7 марта 1928 года — через две недели после того, как Смиренский сообщил его адрес Шимкевичу и за неделю до прочитанного доклада — резонно предположить, что филолог и бывший эгофутурист именно тогда познакомились и договорились об организации вечера, заодно Олимпов передал в Кабинет автограф «Троим инокам (письмо в буквах)», получив за это рубль. В следующий раз он передал рукописи 13 июня того же года — автобиографию, письмо к Иерониму Ясинскому и копию договора на право издания «Исповеди Футуриста» Иваном Игнатьевым. Примечательно, что за последний документ автор получил десять рублей — серьезную сумму для бюджета Кабинета (другие два автографа принесли поэту два и три рубля соответственно). В тот же день в Кабинет поступает и несколько рукописей Олимпова от Смиренского — очевидно, друзья пришли вместе или отправили материалы одной посылкой. Наконец, в последний

⁷⁰ Существует еще одно письмо Олимпова к Островскому, уже от 8 июня 1929 года. В нем поэт спрашивает: «Затрудно Вас еще одной просьбой? если возможно и есть время сделайте сколько можете отпечатков с моих негативов» [РО РНБ. Ф. 552. Д. 97. Оп. 1. Л. 2]. Постоянные просьбы Олимпова, связанные с фотографией, в очередной раз напоминают, что Островский ассоциируется с Институтом: поэт просит его заняться реставрацией и негативами, поскольку в Институте была своя фотолаборатория.

раз Олипов передал документы Кабинету 19 декабря того же года: семь листовок («Академия эгопоэзии», «Анафема Родителя Мироздания», «Паррезия Родителя Мироздания», «Исход Родителя Мироздания», «Глагол Родителя мироздания» и «Вселенский Эго-Футуризм»), за каждую из которых он получил по 50 копеек.

Перейдем к другим докладам, прочитанным в Кабинете, хотя и невозможно столь же детально выяснить взаимоотношения каждого автора с Институтом. Но в случае выступлений Хузе, Мазурина и Вагинова возможно реконструировать ход дискуссии, следовавшей за докладом — как уже было указано, секретарь Кабинета протоколировала обсуждения сообщений, очевидным образом этого служили цитированные выше «Дискуссии о современной литературе», отражавшие работу Комитета современной литературы. Мы располагаем лишь тремя записями обсуждений, которые отложились в собрании А. К. Кураевой (далее цитируются без ссылок). Эти документы сделаны не профессиональной стенографисткой, из-за чего они страдают из-за пропусков и описок, но все же в общем виде передают основные тезисы выступавших. Протоколы подготовлены для полной публикации, поэтому здесь они характеризуются лишь в общем виде.

Ольга Хузе⁷¹ поставила в своем докладе амбициозную задачу — полемизировать со старшими формалистами. «Молодому Толстому» Эйхенбаума она противопоставляет попытку анализа литературной позиции Лескова, поскольку, как и «мэтр», видит в историческом моменте «перелома» аналогию с современной литературой. Участники дискуссии пытаются связать формализм с советской риторикой — этот вопрос явно становится важен для поколения амбициозных студентов Института. Анализ жанровой динамики, из которой, по мнению докладчицы, вырастают специфические особенности «личности писателя», увязываются с попыткой понять классовую природу произведения. Примечательно, что упоминаемые образцы современной литературы — «Наталья Тарпова» Сергея Семенова и «Бруски» Федора Панферова — это примеры только печатающихся новинок нарождающегося соцреализма, а суждения о них выносятся сугубо с жанровой точки зрения:

К. А. Шимкевич: Самый важный вопрос — о сознательности и бессознательности в развитии материала. Вопрос о сознательности имеет две стороны: 1) можно говорить о ней объективно, если существуют документальные данные, говорящие о сознательной редакции произведений, например письма; 2) надо иметь в виду определенный отбор журналов. Писатель работает на несколько фронтов. В прошлом всегда надо считаться, что писательская сознательность связана с подходом к форме журнала. В творчестве бессознатель-

⁷¹ Ольга Федоровна Хузе (1907–1982) после окончания Института стала библиотечкарем, а также библиографом и критиком в области детской литературы. См. содержательную справку о ней в предисловии к публикации фрагментов блокадного дневника Хузе [Кузьмин 2009]. Сохранилось ее студенческое дело: [ЦГАЛИ СПб. Ф. 59. Оп. 2. Д. 1084].

ность и сознательность неразделимы. Такие произведения, как фельетон, носят свои жанровые наименования очень относительно. Это терминология наджанрового порядка.

О. Ф. Хузе: Чем же обуславливается жизнь жанра?

К. А. Шимкевич: Жизнь жанра обуславливается принципами формы. Малая форма у Лескова разнообразна. Какова идеологическая личность Лескова в притчах и легендах? Подходя к легенде и притче Лескова стилистически, приходится констатировать, что это материал макаронический. Надо считаться с тем, на кого Лесков рассчитывал материал. Стремление к народу было связано с вопросом о популяризации. Надо было найти среднюю форму. Связи с «Посредником» у Лескова были затрудненными по личным причинам⁷². В настоящее время «Наталью Тарпову» Семенова, «Бруски» Панферова можно бросить в деревню, тогда же был расчет на малую форму с неизбежным подшучиванием. Это было идеологическим исканием для Лескова.

О. Ф. Хузе: Но идеологическим исканием личным, а не партийным.

К. А. Шимкевич: Как объяснить все причины появления произведения, кого считать отвечающим за него. Я считаю отправной точкой зрения, что не столько писатель отвечает за произведение, сколько класс или идеологическая группа. Не писатель пишет произведение, а эпоха. У Лескова мы, несомненно, сталкиваемся с произведениями, рожденными эпохой, в определенное время, с определенным результатом чтения. В жизни, в искусстве личность соприкасается с рядом сложных взаимодействий. Автор иногда бессознательно в связи с личной атмосферой вводит в произведение то, что значительно для него и не производит впечатления на других. Каждая книга — однодневка. Сергей Соловьев мог обижаться на Брюсова, считавшего его стихи ученическими, но Брюсов был прав, произнося приговор только на основании известного в печати⁷³. Книга живет только для возбуждения интереса. Шолохов, Богданов, год назад были пролетарскими писателями. Все движется, изменяется, материал растет. Мы живем моментами движения.

Это выступление сегодня кажется малоубедительным, но в очередной раз свидетельствует, как в последние годы Института в нем формировалась внутренняя оппозиция «мэтрам». «Философские» или «методологические» диалоги пусть и выглядят как пародия на искания младоформалистов, но все-таки изображают некоторое сообщество, которое, как и поколение «сопластников» Лидии Гинзбург, пыталось найти подход к литературе, несводимый как к имманентному анализу, так и к официальному идеологически верному методу, Хузе открыто заявляет: «Моя работа может быть рассматриваема, как полемическая, по отношению как некоторых марксистов, так и формалистов, особенно — к работе Б. М. Эйхенбаума о Толстом». В обсуждении доклада Шимкевич эксплицитно выражает свою

⁷² См. современное исследование [Герасимова 2014].

⁷³ Речь идет о критических рецензиях Валерия Брюсова на первые сборники Сергея Соловьева и возражении последнего «Ответ Валерию Брюсову», помещенном в книге «Стurifragium» (1908) — В. О.

позицию по отношению к формалистам — он однозначно причисляет себя к сообществу, причем отсчитывает его существование с момента собственного поступления на работу в Институт:

О. Ф. Хузе: Но откуда берется метод?

К. А. Шимкевич: Из опыта, в результате сличения методов разных ученых. Ученый, добыв метод, дорожит им, как средством самосохранения. В 1923–24 году мы объединились в Институте и персонально вырабатывали свой метод. Нужно было свергнуть поэтов, переживавших эпоху теоретических исканий. Нельзя смешивать Опояз с формализмом, как это сделал Б. М. Энгельгардт⁷⁴. Формализм всегда существовал, признавая необходимым ограничение, замыкание ряда. Опояз, как футуристическое явление, ликвидировался вместе с футуризмом и переживает последние стадии в виде Лефа и Рефа. Шкловский изменил свои взгляды.

Здесь мы видим, как Шимкевич идет вслед за Жирмунским, предлагая, во-первых, типологический подход к культурным феноменам, а во-вторых, отъединяя формальный метод от опоязовской революции (ср.: «Исторически понятие “формального метода” — гораздо более широкое: оно включает не только формалистическую систему “Опояза”, но всю широкую область новых научных проблем, связанных с изучением поэзии как как словесного искусства, независимо от принципов и методов их разработки» [Жирмунский 1928: 14]).

Доклад Сергея Спасского, увы, невозможно реконструировать, что вдвойне досадно, ведь до сих пор в деталях не известна история альманаха «Без муз», открывающегося манифестом, одним из авторов которого был Спасский. В своих мемуарах о Маяковском он лишь мельком упоминает это издание [Спасский 1940: 141], также см. [Богородский 1959: 110].

Зато не приходится гадать о содержании доклада Бенедикта Лившица — «Гилейцы», или точнее «Гилея» — это первая глава его книги «Полутораглазый стрелец», одного из ключевых источников по истории футуризма. Эта глава мыслилась автором как вполне самостоятельное произведение, она была напечатана в Америке Бурлюком в виде брошюры. Из письма Лившица к своему заокеанскому издателю мы узнаем о реакции собравшихся на доклад:

Вчера читал ее <<Гилею>> публично в Кабинете соврем<енной> литературы Института истории искусств и с удовольствием констатировал, что к ней не только относятся как к «опыту высокой прозы», но видят в ней и то именно, к чему я стремился, принимаясь за нее: решительный сдвиг планов, вскрытие основных координат русского искусства, переоценку ценностей, в результате которой ты и вообще все начало, так полно воплощенное в твоей семье, будут

⁷⁴ «Ведь недаром же представители “формального” направления в литературе до самого последнего времени объединялись в общество с весьма многозначительным названием: “общество изучения поэтического языка”» [Энгельгардт 1927: 70].

поставлены, наконец, на должное место в истории нашей живописи и поэзии [Крусанов 2019: 530].

В общих чертах также мы можем представить сообщение Арсения Островского — это единственный доклад, о котором мы знаем не из институтской документации, поэтому он дает дополнительные основания предполагать и еще какие-то неизвестные нам. Молодой поэт Игорь Поступальский 30 декабря 1929 года писал Бурлюку: «Островский недавно читал о Вас доклад в кабинете литературы при Институте истории искусств, прошел с успехом» [Там же]. Скорее всего, доклад состоялся 25 декабря — именно на этот день выпадала ближайшая среда. Из письма самого Островского от 9 января 1930-го мы узнаем, что это был не совсем доклад, а скорее презентация мемуаров Бурлюка, которые тот безуспешно старался издать в Ленинграде или Москве при посредничестве Островского. Библиограф писал футуристу:

Новые главы я читаю с большим увлечением, мне кажется, что последние главы выпуклее, концентрированное первых; в записках Марии Никифоровны <Бурлюк> прелестны отдельные штрихи. «Предки» — монументальны. По получении «Предков» и «Вступления» я читал в Институте истории искусств несколько глав (Первую, о Горьком, о Гуро и кусочки из других). Чтение предварил небольшим вступлением «О поэзии Давида Бурлюка» — в котором доказывал деканонизаторский и отчасти (как мне кажется) пародийный (по отношению к классически-символистической поэзии) характер Ваших стихов. Аудитория была небольшая, но довольно оживленная. В прениях, как всегда хаотичных, прозвучало отчетливо мнение об историческом значении Давида Бурлюка [Крусанов 2019: 531].

Видимо, в том числе и это выступление имел в виду Бурлюк, когда писал о судьбе своих неизданных в России мемуаров: «Их читали с эстрады “кусками”, многие их слышали» [Крусанов 2019: 538].

В докладе Бориса Мазурина⁷⁵, видимо, была проведена попытка сплошного анализа произведений Алексея Толстого, но детальнее реконструиро-

⁷⁵ Борис Михайлович Мазурин родился 15 сентября 1907 года в семье начальника отдела железной дороги (ум. 1918) и машинистки. Он подрабатывал рецензентом в «Вечерней красной газете», давал уроки, занимался общественной деятельностью в Институте [ЦГАЛИ СПб. Ф. 59. Оп. 2. Д. 832], публиковался в журналах «Звезда» и «На литературном посту». В рамках разговора о Толстом любопытно отметить его рецензию на книгу Романа Гуля «Жизнь на фукса», показывающую осведомленность Мазурина в эмигрантской литературе [Мазурин 1927]. 16 января 1929 года он прочитал доклад «К вопросу об арготизме» в Кабинете Изучения Городского Языка [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 40. Л. 50]. В воспоминаниях Льва Успенского упоминается «безвременно, совсем еще юношей умерший Борис Мазурин — один из самых талантливых студентов, старше меня курсом» [Успенский 2003: 86]. Книги памяти помогают понять, что безвременная смерть Мазурина была неслучайной: «Арестован 20 января 1933 г. Осужден по ст. 58-11 УК РСФСР “тройкой” ПП ОГПУ Ленинградской обл. 21 апреля 1933 г. на 5 лет концлагерей с зачетом срока с 20 января 1933 г. с заменой на ссылку в Запсибкрай на тот же срок. По постановлению

вать ход его рефлексии сложно — остается только констатировать, что обсуждение свелось к указанию недостатков методологии докладчика и к дополнениям его концепции. Шимкевич в этом обсуждении вспоминает: «В “Черной пятнице”, после чтения у нас в Институте, А. Н. Толстой все изменил, считал, что мы более знаем требования современности, чем он» (собр. Кураевой) — здесь идет речь о третьем заседании Комитета современной литературы 2 марта 1924 года, где Толстой читал рассказ «Черная пятница». Дискуссию в тот раз открыл именно будущий руководитель Кабинета:

К. А. Шимкевич по поводу прочитанного рассказа высказал мнение, что герой А. Н. Толстого совмещает в себе Чичикова и Хлестакова одновременно. Такова его композиционная роль. Чичиков взят как прием нанизывания, Хлестаков — как прием преображения. Преображающийся герой ведет с собой галерею бытовых портретов эмиграции и метеорически быстро разворачивает темп повествования. Но замысел автора испорчен самоубийством героя, — получилось нечто механически оборванное. Однако вся эта реальная фантазмагория обладает достоинством прекрасной изобретательности [Г<изетти?> 1924: 276].

Впрочем, неясно, действительно ли после этого обсуждения Толстой как-то изменил текст рассказа.

Зато протокол последнего доклада — один из самых интересных документов, связанных с Кабинетом, он запечатлел обсуждение, последовавшее за выступлением Константина Вагинова, который прочитал отрывок из пишущегося романа «Бамбочада». По формату этот доклад отличается от других и больше напоминает литературные вечера, проходившие в Комитете современной литературы, где Вагинов тоже выступал в 1927 году с чтением отрывков из романа «Козлиная песнь» [Отчет 1928: 152]. В принципе, авторы могли выступать неоднократно — например, Шкловский читал доклады дважды в течение первых лет существования Комитета — но это было скорее нетипично, обычно литераторам предоставлялась возможность выступить единожды⁷⁶. Судя по упоминаемым в протоколе деталям, Вагинов прочитал собравшимся в Кабинете довольно большой фрагмент, посвященный вечеринке героев у эксцентричного инженера-кулинара Торопуло,

УСО ПП ОГПУ по ЗСК от 3 сентября 1933 г. направлен в распоряжение Нарымского окротдела ОГПУ (проживал в дер. Матьянга Колпашевского р-на). Судьба неизвестна» [Сибирские спецы, по указателю].

⁷⁶ Также Вагинов как минимум дважды принимал участие в групповых заседаниях Комитета. 22 марта и 4 апреля 1926 года шла дискуссия «О современном русском стихе», где он выступал вместе с Мандельштамом и Тихоновым [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 27. Л. 60 об., д. 21. Л. 61 об.]. Именно такой состав ярко свидетельствует о внутриинститутском «каноне» современной литературы. 17 декабря 1928 года в Комитете состоялся «Вечер посв. соврем. поэтам с выступлениями Заболоцкого, Хармса, Брауна, Вагинова, Саянова и др.» [Там же, д. 40. Л. 41]. Отправленное Туфанову приглашение на этот вечер сохранилось в бременском архиве Леонида Черткова (сообщил Дмитрий Бреслер).

причем без существенных пропусков. В авторитетном издании 1999 года эта сцена занимает 19 страниц [Вагинов 1999: 255–274]. Протокол не дает цельного представления о ранней редакции «Бамбочады», что было бы особенно ценно, учитывая, что рукопись романа не сохранилась, но можно предположить, что в момент выступления писателя роман был более стилизованным и фрагментарным. Отмеченные участниками обсуждения грамматические и стилистические необычности текста в итоговом варианте сглажены, и на этом фоне более фактурно выглядят приводимые автором цитаты, будь то неизвестный дневник или «галицийская кулинарная книжка». Собранные направляют писателя по стилистическому пути Евгения Замятина, от чего он в процессе работы над романом уклоняется.

О других докладах, прочитанных в Кабинете, мы не знаем. В архиве Шимкевича сохранился листок со списком фамилий и тем, одна из позиций в котором — «Спасский. Футуристы в эпоху 1918–1919». Это совпадает с указанным выше докладом, поэтому можно предположить, что это список тем, по которым Шимкевич хотел организовать выступления — в нем указаны среди прочих «Малевич. Ранний футуризм», «Туфанов. Язык современной литературы»⁷⁷ и — без указания темы — «Каверин». На обратной стороне этого листка записан еще один перечень докладов о современной литературе, но на этот раз — студенческих:

1. Федоров, А. Акмеистические тенденции в совр. поэзии
2. Федоров, А. Ранние петербургские символисты
3. Атаров, Н. О современной лирике (январь-февр.)
Информация о сев<еро>-кавказских писат<ельских> организациях
4. Миронов, С. Современный социальный роман
5. Денемарк, В. Материалы к роману «Города и годы»
6. Архангельская. Проза поэтов (Мандельштам, Пастернак, Тихонов)
7. Перов, А. Богданович (16 окт.)
8. Крюгер, М. Русское богатство
9. Никитин. О футуризме
10. Рудаков, С. Б. Коневской⁷⁸ [КШ].

Помимо Атарова и приписанного отдельно Рудакова, все перечисленные слушатели упоминаются в списке сотрудников Кабинета, так что можно предположить, что их доклады должны были прозвучать в стенах учреждения — возможно при этом, что это были не открытые вечера, а внутренние собрания, которые не протоколировались. Очень показательным, что в списке рядом с Мандельштамом и Пастернаком упоминается Николай Тихонов — этим поэтом было одержимо поколение младоформалистов, и их любовь вполне разделяли «мэтры» (см. упоминания в записных книжках

⁷⁷ 19 января 1928 года Туфанов читал доклад «Заумь, как седьмое и единственное искусство» в Кабинете изучения художественной речи [Золотухин, Шмидт 2018: 392].

⁷⁸ Фамилия Рудакова вписана другой рукой.

Лидии Гинзбург). Кабинет охотно покупал автографы Тихонова, собрав в итоге довольно представительную их подборку. Столь же естественно специальное внимание к роману Федина «Города и годы» — этот роман часто характеризуется как «серапионский», что сближает его с предпочтениями формалистов. Отрывок из романа Федина читал в Комитете современной литературы в сопровождении докладов Тынянова и Гинзбург⁷⁹, а рукопись одного из его вариантов была приобретена Кабинетом у автора. Все это указывает на специфичные «институтские» иерархии современной литературы. В остальном о списке можно сказать, что он покрывает всю картину развития русского модернизма от начала до конца. Отдельного упоминания заслуживает доклад в будущем известного советского писателя Николая Атарова «Информация о сев<еро>-кавк<азских> писат<ельских> организациях» — Атаров родом из Владикавказа, где он прожил до 1928 года, поэтому Шимкевич пользуется знаниями нового студента, чтобы узнать о дальнейшей литературной институции.

Налицо разница между списком студенческих докладов и открытыми заседаниями Кабинета — в последних акцент сделан на эпохе футуризма, и это неслучайно. Андрей Крусанов заметил, что бум мемуарной литературы и первые подступы к историографии футуризма связаны с круглой датой — на рубеже десятилетий приближалось двадцатилетие авангардного течения. Еще в 1927 году Крученых выпустил сборник «15 лет русского футуризма. 1912–1927»: «Рождение футуризма он <Крученых> относил к 1912 г. — времени собственного литературного дебюта и выхода сборника “Пошечина общественному вкусу”, тогда как Бурлюк и Каменский вели отсчет от весны 1910 г. — времени выхода сборника “Садок судей”. Соответственно, 20-летие литературного футуризма одни отмечали в 1930 г., а Крученых — в 1932 г., приурочив к этому году свои воспоминания “Наш выход. К истории русского футуризма”» [Крусанов 2019: 547]. Кабинет современной литературы не остался в стороне от круглой даты, причем не ограничиваясь докладами футуристов. Как мы узнаем из писем, в это же время Шимкевич планирует целую выставку, посвященную футуризму.

Вообще еще до создания Кабинета, в 1927 году, когда работа по собиранию автографов в ЛИТО только начиналась, Комитет современной литературы уже использовал их в качестве экспонатов, о чем говорилось в отчете: «Отдел был представлен на юбилейной выставке Института собранием работ членов Отдела, образцами рукописей соврем. писателей, экспонатами, иллюстрирующими историю создания отдельных художеств. произведений и рядом отчетных по работе Отдела диаграмм» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 27. Л. 20]. По мере развития Кабинета автографы начали экспонироваться — в Кабинете появилась постоянная экспозиция, о чем свидетельствует забавная записка Шимкевича директору ГИИИ от 20 ноября 1929 года:

⁷⁹ В обсуждении одного из студенческих докладов Шимкевич, явно имея в виду «Города и годы», заявил: «Федин не смог дать стиля».

Сообщая, что в промежутке между заседанием Лит. Архива (13/XI) и заседанием, бывшим 15/XI выкраден из помещения Лито фотографический портрет Н. Асеева (с автографом< >) (Инвентарный номер 63), прошу о разрешении списать указанный портрет в расход и отдаче распоряжения заведывающему хозяйством о приведении внутренних замков Лит. Архива в полный порядок [КШ].

В 1928 году Шимкевич, планируя большую выставку к юбилею футуризма, обратился к Александру Туфанову, который к концу двадцатых стал одним из главных представителей авангарда в Ленинграде. В отличие от начинающих обэриутов, он обладал определенным авторитетом в Ленинградском союзе поэтов и предполагал создание общей платформы для авангардистов внутри Союза — «Левого фланга». 23 сентября 1928 года он писал Шимкевичу:

Глубокоуважаемый Константин Антонович,

Считаю работу в Комиссии по устройству предполагающейся Выставки «20 лет футуризма» для себя интересной — и поскольку выставки и печать способствуют укреплению позиций нового искусства — даже обязательной — я с благодарностью принимаю Ваше приглашение и надеюсь, что под Вашим организационным руководством я буду полезен как самому делу укрепления позиций беспредметности (зауми), так и Вам в собирании материалов и т. п. работе. <...>

Не знаю только, на какой срок рассчитана Ваша работа и успею ли я выполнить до открытия Выставки взятые на себя работы, так как секция научных работников предоставляет мне бесплатное мест в Доме отдыха в Кисловодске на октябрь, и я, вероятно, уеду.

В среду постараюсь быть у Вас в Кабинете.

С совершенным уважением к Вам

Туфанов (собр. Кураевой).

Самым примечательным в этом письме является его датировка — Шимкевич начинает работать над планируемой выставкой еще в 1928 году. Как мы узнаем из письма Туфанова к Крученых от 4 ноября, состояться она должна была в начале 1929-го:

Многоуважаемый Алексей Елисеевич, извещаю Вас, что в Институте Истории Искусств в Ленинграде в начале 29 года проектируется устройство «Выставки футуризма за 20 лет».

Предлагаю Вам, а также всей московской группе представить материалы в Ленинград, пл. Воровского, Инст. Ист. Искусств, в Кабинет Современной Литературы К. А. Шимкевичу [Жаккар, Устинов 2010: 244].

Из этого следует, что в Кабинете зарождение футуризма в России считали синхронным с публикацией манифестов Маринетти и отсчитывали на год раньше создания «Гилеи». Скорее всего, повод тому дал выход первого сборника Елены Гуро «Шарманка» (СПб., 1909). Об этом свидетельствует и приложенный к письму список экспонатов, которые Туфанов передает

Кабинету на время выставки (целиком опубликован в [Отяковский 2024a]), список изданий в нем начинается именно с «Шарманки», в датировке которой, правда, допущена опечатка — 1914 год (в котором вышла другая книга Гуро, «Небесные верблюжата»). Тем не менее, показательна эта попытка «обогнать» москвичей и приписать зарождение литературного футуризма именно северной столице. Увы, организация выставки забуксовала, и она так и не открылась. Ее проект не был похоронен, и еще 16 ноября 1929 года Островский писал Бурлюку: «Бенедикт Константинович <Лившиц> сообщил мне, что Вы выпускаете брошюру к 20-летию футуризма — это прекрасная мысль. Думаю, что у нас так либо иначе момент 20-летия будет отмечен. В Институте у нас проектируется выставка футу изданий и матерьялов» [Крусанов 2019: 529]. Показательно, что выставка сдвигается уже на более конвенционально-круглый 1930 год, но почти с самого начала этого года начался разгром формального крыла Института, и об организации авангардистской выставки уже не могло идти и речи. Как и другие проекты Кабинета, этот был прерван на самом взлете.

Функционирование учреждения вообще с самого начала вписано в картину кризиса — как литературной сферы вообще, так и конкретно внутри Института. Первый породил саму необходимость существования Кабинета, второй — обусловил кратковременность его существования⁸⁰. Начавший активную работу в начале 1928 года, Кабинет тут же столкнулся с «реорганизацией» Комитета современной литературы, с которым был прочно связан. В резолюции Наркомпроса, зачитанной в Институте 17 февраля 1928 года, Комитету в вину ставился тот факт, что современность в нем понимается «хронологически, а не в отношении созвучности того или иного писателя эпохе» [Кумпан 2014: 53], то есть осуждается предпочтение модернистов перед пролетарскими литераторами. В начале 1929-го Тынянов уходит с поста председателя Комитета, его заменяет рапповец Георгий Горбачев⁸¹. Результатом этой смены стал почти полный паралич комитетской работы, за год состоялся всего один диспут, о чем аккуратно сообщалось в отчете за 1928/29 ак. год:

Работа Комитета выразилась главным образом в организационных мероприятиях и в подготовительных работах. Производственный План Комитета почти не выполнен. Объясняется это коренной реорганизацией Отдела Литературы вообще и Комитета Современной Литературы в частности, что было связано с реформой всего ГИИИ в целом. За истекший год состоялся ряд орга-

⁸⁰ Широкий контекст университетского кризиса рубежа десятилетий описан в [Fitzpatrick 1979: 193–196; Fox 2000]. Чистка в ГАХН пунктирно реконструирована в [Якименко 2005].

⁸¹ Подробнее о кадровой чехарде последних лет Комитета см. [Кумпан 2014]. В документе, который датирован 11 марта 1930 года, Горбачев назван руководителем Кабинета современной литературы [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 39. Л. 109], но это явная ошибка, из которой видно, что реорганизаторы Института не слишком детально представляли, что именно они реорганизуют.

низационных заседаний и был организован диспут «Социальный заказ и современная литература» (вступительный доклад Г. Горбачева) [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 39. Л. 66].

На этом фоне удивительно, что Кабинет продолжил самостоятельную работу, чему несомненно помогла его автономность в стенах Комитета. С учетом общего кризиса в Отделе результаты собирательской работы выглядят единственным реальным достижением годовой деятельности ЛИТО:

При Комитете Современной Литературы работал Кабинет Современной Литературы (Литературный Архив). В течение истекшего академического года Архив увеличился: 1) по рукописному Отделу с 329 до 1252 номеров 2) по художественному с 32 до 120 и 3) по библиотечному (автографированных книг) с 1 до 187 номеров. Кроме собирания, описания и классификации материалов в Кабинете велась исследовательская и учебная работа. Так Кабинет обслуживал студентов ВГКИ, других ВУЗов и аспирантов; при нем был организован семинарий по текстологии и т. д. Кабинет установил тесную связь с главными ленинградскими писательскими организациями [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 39. Л. 66].

Разумеется, «реорганизация» (по сути, начало разгрома) ЛИТО не могла не затронуть работы Кабинета. С одной стороны, изучение современной литературы, и до того определявшее общий курс работы всего Отдела, теперь становится чуть ли не единственной его задачей — производственный план на 1929/30 ак. год впервые не содержит упоминаний об изучении пушкинской эпохи: «Темой коллективной работы всего Отдела в целом является: ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Конечным итогом всей работы должно явиться составление коллективной монографии о русской литературе в эпоху революции» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 39. Л. 100]. Меняется и декларируемый подход, он явно идеологизируется под предлогом «обращения на путь выработки марксистской системы исследования литературных явлений»: «Вопросы социалистического наступления пятилетки, социалистического соревнования — поскольку они выражаются в современной литературной жизни и формируют самое лицо сегодняшней литературы — имеют найти свое выражение и в организации деятельности Комитета». Следуя за этими задачами, Комитет должен целиком реструктурироваться: анонсируется появление рецензентского кружка, семинара для рабкоров, консультации для начинающих писателей и группы по изучению марксистской теории и методологии литературы под руководством Анатолия Андрузского, автора книги «Эстетика Плеханова». Отдельное внимание в производственном плане уделяется Кабинету:

При Комитете работает Кабинет Современной Литературы (Литературный Архив) — (Завед. К. А. Шимкевич), в задачи которого входит:

- 1) Учет и соби́рание массового литературного материала (литер. страницы политических и профессиональных газет, журналов, печатных стенгазет крупных заводов и предприятий, студенческих газет, провинциальных журналов и сборников) — с целью изучения жанров и типовых сюжетов совр. литературы в массовом производстве.
- 2) Соби́рание документов совр. литературы и документов о совр. литературе.
- 3) Соби́рание материалов по предыстории пролетарской литературы в России.

В связи с социалистическим соревнованием литературный архив ставит себе следующие задачи:

- 1) увеличение количества и качества материалов; 2) открытие новых Отделов: отдела рецензий, отдела писательских адресов и справочного отдела; 3) усиление привлечения исследователей и писателей к работе в Архиве; 4) устройство первой выставки по истории послеоктябрьской литературы.

При Архиве будут работать два семинария: 1) От Символизма до наших дней (руков. К. А. Шимкевич); 2) Изучение литературного быта 1917–1929 гг. (руков. Б. Казанский) [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 39. Л. 100.].

Предписываемые новшества нацелены на разрушение сложившейся структуры учреждения и резкий поворот направления его работы. Воплощение подобных планов в жизнь вряд ли было возможно для Шимкевича, поэтому он идет по пути тихого саботажа: инвентарная книга за 1930 год продолжает фиксировать рукописи непролетарских писателей, причем если в основном Шимкевич скупает журнальные архивы и автографы из собрания Смиренского по 50 копеек за штуку, то одной из самых дорогих покупок Кабинета становится рукопись романа «белоэмигранта» Мережковского «Александр I», за которую было заплачено в сто раз больше, 50 рублей (другим значительным приобретением стала рукописная книга стихов Алексея Толстого). Чтение доклада Вагиновым в 1930 году тоже явно не укладывается в заданную идеологическую парадигму. Отсутствие энтузиазма (явное у всего старого состава Отдела) не могло остаться незамеченным, поэтому в «Выводах Комиссии по чистке Государственного Института Истории Искусств» автономия Кабинета ставится ему в вину, ведь именно благодаря ей Шимкевичу удавалось уклоняться от предписаний:

Отсутствие планов является результатом отсутствия четкой целевой установки Отдела. Это последнее находит выражение в том, что каждая отдельная часть кабинета, отдела (современной литературы, термино-библиографической, художественной или звучащей речи, фольклорный) живет своей самостоятельной жизнью. Первый собирает рукописи и черновики современных писателей и пока в основе работы по преимуществу ограничивается только собиранием, обработка идет очень вяло. При этом план собирания отсутствует, если не считать планом собирание исключительно рукописей авторов формалистов [Кумпан 2014: 109].

Приведенные в этой главе документы показывают необоснованность обвинений как минимум в «вялости». Три года существования Кабинета оказались чрезвычайно насыщенным периодом. Руководитель учреждения переписывался с литераторами и собирал их архивы. Рукописи, представляющие историческую ценность, зачитывались на открытых вечерах, которые также стали и площадкой для обсуждения студенческих работ. Проектировались сборники и выставка, архивные и библиотечные материалы активно использовались работниками Института (несколько листов выдачи сохранилось в собрании Шимкевича — этим процессом также руководила секретарь Кабинета Валентина Денемарк). С самого начала Кабинет осознает себя не просто как придаток к Комитету современной литературы, но и как самостоятельная исследовательская единица, отдельное сообщество. Рассказывая о формалистах, Катерина Кларк пишет: «Они попытались собрать как писателей, так и теоретиков в новое единое движение, основав <...> Комитет современной литературы. <...> Этот независимый центр имел шанс повлиять на направление развития советской культуры. <...> На заседаниях комитета обсуждали наиболее важные теоретические работы и литературные произведения того времени» [Кларк 2018: 260–261]. Как видно, активная работа кипела и за рамками заседаний и литературных вечеров.

В документах Кабинета прослеживается концептуальная установка, которая руководит его интересами и предпочтениями. Если создатели Комитета результатом его деятельности видели методологически фундированную критику, то Кабинет проектирует описание истории русского модернизма, его руководитель пытается концептуализировать предыдущие 35 лет литературного развития, приблизительно от Мережковского до Введенского. В работе Комитета выражается скользящая, подвижная позиция Тынянова и Эйхенбаума, а деятельность Кабинета больше напоминает об академическом подходе, который продвигали Жирмунский и его последователь Шимкевич.

Общий пафос работы Кабинета может показаться сугубо архивно-охранительным, однако в нем также ярко выражается социальное чутье формалистов накануне собственного конца, поиск классовой солидарности среди ленинградских писателей и филологов, и стремление приложить свои возможности — доступные благодаря участию в крупной институции — для сохранения того незримого сообщества, к которому они принадлежали. Проект Кабинета — пусть консервативный, но вместе с тем глубоко оппозиционный нарождающемуся террору и политике искоренения памяти.

Все это не могло отвечать интересам тех, кто уничтожил формалистское крыло Института — в ходе чистки, решившей судьбу ГИИИ, Шимкевич был признан врагом пролетарской науки, о чем недвусмысленно было заявлено в «Предложении по персональной чистке»: «Снять как идеологически непригодных для руководства по подготовке кадров — Павлинову, Бернштейна, Казанского, Тынянова, Эйхенбаума, Шимкевича, Балухатого»

[Кумпан 2014: 107]. Руководитель Кабинета попал под первую же волну сокращений.

Формально учреждение в составе Института просуществовало еще несколько лет, но Инвентарная книга за эти годы фиксирует крайне мало приращений — по всей видимости, туда по инерции поступали те документы, о которых Шимкевич договорился еще в период своей работы. В 1934 году собрание Кабинета было передано в Пушкинский дом, где оно стало ядром фонда Института Истории Искусств (№ 172). Инвентарная книга фиксирует 1690 автографов, которые были собраны Шимкевичем и его студентами⁸². Проект по канонизации и историзации эпохи русского модернизма не был реализован, а академическое изучение символистской и футуристической литературы было отодвинуто на несколько десятилетий. В Советском Союзе в свои права окончательно вступила эпоха сталинизма.

⁸² После увольнения Шимкевича было приобретено еще 50 автографов, Инвентарная книга заканчивается пустыми листами и указанием «Продолжение (№№ 1740 и дальше) см. в Инвент. Кн. № 2», однако о существовании таковой неизвестно, а собрание в Пушкинском Доме ограничено материалами, приобретенными под руководством Шимкевича.

ГЛАВА II. Биографии

§1. Константин Шимкевич. Заведующий Кабинетом

Константин Антонович Шимкевич (1887–1953) — создатель и руководитель Кабинета современной литературы, главный двигатель этого учреждения. Облик институции во многом определялся его взглядами и умениями, поэтому знание биографии Шимкевича важно для изучения работы механизма Кабинета. Анализу его научных работ — большая часть из которых осталась неопубликованной — посвящена следующая глава, здесь же будет изложена канва его жизни.

Архив филолога хранится в Пушкинском Доме, его документы образуют фонд № 828. До сих пор он не описан, что существенно затрудняет работу. Во время сплошного просмотра архива было обнаружено множество текстов ученого и документов биографического характера. Эти бумаги были сохранены дочерью Шимкевича Ариадной Константиновной Любберс (1922–1991). В Пушкинский Дом они переданы благодаря младшей подруге Любберс Алие Каюмовне Кураевой. Оставшиеся в ее собрании документы составляют второй важный корпус источников. Общей особенностью архивов является сравнительно небольшое количество личных документов, реконструировать биографию Шимкевича приходится на основе официальных источников, учитывая всю их ненадежность.

Семья Константина Шимкевича принадлежала к дворянскому сословию, его отец Антон Львович начал службу в чине титулярного советника и за годы работы продвинулся на три ступени вверх до коллежского советника. Константин Антонович родился 4 февраля 1887 года в Кишиневе, о чем свидетельствует выписка из метрической книги Кишиневской тюремной Апостола Петра вериг церкви [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 147. Л. 5]. Там же несколькими годами ранее родилась и его сестра Маргарита.

Согласно *curriculum vitae*, написанному при поступлении на работу, Шимкевич «Окончил гимназию (Шестую СПб) в 1908 г. и Историко-Филологический факультет Петроградского Университета в 1912 году» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 148. Л. 4]. Шестая гимназия была известна своим филологическим уклоном, в год выпуска Шимкевича был издан поэтический сборник «Шестой гимназии — ее ученики», куда вошли стихи Владимира и Василия Гиппиусов, Сергея Городецкого, Александра Добролюбова и других учеников былых лет. Шимкевич окончил гимназию с серебряной медалью — комично, но единственные четверки были поставлены за немецкий язык и русскую словесность. Впрочем, медаль была выдана «во внимание к постоянно отличному поведению и прилежанию и к отличным успехам, в особенности же в истории и языках» [ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 52037. Л. 28].

Университетское дело Шимкевича сохранилось в полном виде, что дает возможность воспроизвести список прослушанных им курсов. В его матрикул входят зачеты по «Логике, Психологии, Греческому и Латинскому языкам, Введению в языкознание, Введению в славяноведение, Русскому и церковно-славянскому языкам, Истории русской словесности, Славянским языкам, Славянским литературам, Истории западно-европейских литератур, Истории греческой и римской литературы, Санскритскому языку, Сравнительному языкознанию, Истории философии, Истории искусств, Русской истории, Истории русской церкви, Сравнительной грамматики славянских яз.». Студент «участвовал в установленных учебным планом практических занятиях, подвергался испытанию из Итальянского языка и, по выполнении всех условий, требуемых правилами о зачете полугодий, имеет восемь зачтенных полугодий» [ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 52037. Л. 9]. Учился он отлично, был отмечен стипендией Св. Кирилла и Мефодия. Будущему филологу посчастливилось застать золотой век Санкт-Петербургского университета: курс логики читал Николай Лосский, психологию и новую философию — Александр Введенский, цикл античных предметов — Фаддей Зелинский и Иван Толстой, общий курс русской истории — Сергей Платонов, введение в языкознание и сравнительную грамматику славянских языков — Иван Бодуэн де Куртенэ, русский и церковно-славянский — Алексей Шахматов.

Об университете этих лет как «кузнице» формализма см. [Депретто 2015: 48–87; Сухих, Шубин 1989]. Также публикация [Сальман 2014] позволяет сравнить набор предметов Шимкевича с матрикулами его будущих коллег — Эйхенбаума, учившегося на год старше (1907–1911), и Тынянова (1912–1916) (матрикул Шкловского утерян, матрикул Жирмунского: [ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 52674], матрикул Оксмана: [Там же, д. 63266]). Эйхенбаум значительно больше изучал западноевропейскую литературу («Байрон и его век», «Немецкая рыцарская лирика», «Английский роман XVIII века», «Элегия в романских литературах», «Просеминарий по старофранцузской литературе», «Просеминарий по Данте», «Парсифаль», «Итал. драм<атургия?> XVIII в.») и средневековые языки, Тынянов — античную культуру («История античной религии», «Гораций *Ars poetica*», «Илиада Гомера», «Сатиры Ювенала», «История древней философии», «Сатиры Ювенала и история римской литературы» и два отдельных курса «История римской литературы»). Главной отличительной чертой матрикула Шимкевича являются несколько курсов по истории русского и ренессансного искусства, прочитанные известным искусствоведом Дмитрием Айналовым, переводчиком фундаментальной «Истории искусства всех времен и народов» Карла Вермана, в будущем — коллеги филолога по Институту.

Выпускное сочинение Шимкевич писал под руководством Ильи Шляпкина, область интересов которого также не ограничивалась литературой. Тамара Орнатская упоминает, что «дипломная работа Шимкевича была связана с древнерусской литературой и историей» [Орнатская 1996: 79].

В матрикуле тема студенческого сочинения обозначена как «Легенды об Иуде в искусстве и литературе»⁸³. Под «искусством» здесь скорее всего понимается книжная миниатюра, во всяком случае, именно на эту тему сохранилось особенно много дореволюционных материалов Шимкевича. Амбициозным замыслом молодого ученого была книга «Очерки из истории миниатюры на Руси». Две тетради с набросками к ней сохранились в собрании Бориса Аверина. Шимкевич продумал структуру будущей книги, собрал множество иллюстраций (в том числе и во время работы в монастырских архивах), сделал сотни выписок из исследовательской литературы, но так и не начал работать над основным текстом.

После окончания университета Шимкевич был оставлен при кафедре русского языка и словесности для продолжения научной работы, но без стипендии [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 147. Л. 1–3]. Уже в ноябре 1912 года он был «зачислен для отбывания воинской повинности вольноопределяющимся рядового звания Лейб-Гвардии в Саперный батальон» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 147. Л. 4]. Вернувшись после года службы «для назначения в должность профессора» [ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 52037. Л. 4.], Шимкевич 7 октября 1913 года обратился с просьбой к Шляпкину:

Многоуважаемый Илья Александрович, покорнейше прошу Вас ходатайствовать перед Факультетом о назначении мне стипендии. Причина моей просьбы заключается в том, что я, оставленный при Университете осенью 1912 года, должен был отбывать воинскую повинность, это на целый год лишило меня возможности систематично заниматься своей специальностью; теперь же для усиленной и систематичной работы мне нужна лишь материальная помощь, чтобы не тратить ценного для меня времени на уроки. За учебный 1912/1913 год, несмотря на все неудобства, я успел основательно ознакомиться почти с полной литературой по четырем вопросам: о колдовстве, Слово о Полку Игореве, Радищев и о Лермонтове [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 147. Л. 11].

Это письмо свидетельствует как о хороших отношениях учителя и ученика⁸⁴, так и о непрестом материальном положении Шимкевича. Шляпкин

⁸³ 3 ноября 1911 года (дата по штемпелю) Шимкевич отправил Шляпкину открытку: «Пользуясь Вашим разрешением, позволяю себе напомнить Вам, глубокоуважаемый Илья Александрович, принести в Унив<ерситет> 7го ноября труд С. Соловьева “Легенды об Иуде” (Харьков, 1895 г.) и, если найдется, то и статью проф. Лопухина “О смерти Иуды” (Церков<ный> Вест<ник> 1888 г. № 23). Прошу извинить меня за причиняемое Вам беспокойство. Уважающий Вас ученик Ваш К. Шимкевич. Пет<роградская> ст<орона> Успенский пер. 9 7/12 кв. 27» [РО ИРЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 2326. Л. 8].

⁸⁴ В Русском библиологическом обществе Шимкевич прочитал доклад «О библиотеке профессора И. А. Шляпкина» [Берков 1983: 264]. Сохранилось письмо Шимкевича: «Многоуважаемый Илья Александрович, покорнейше прошу Вас сообщить мне, когда я могу к Вам приехать для работы к докладу в Русском Библиологическом Обществе о Вашей библиотеке. Я свободен с субботы 29 марта. Искренно уважающий Вас ученик Ваш К. Шимкевич. 25 марта 1914 г. Мой адрес: Галерная 8,

посодействовал ему, добавив в сопроводительном письме, что «г. Шимкевич и в бытность свою студентом, и при исполнении воинской повинности посвящал свое свободное время изучению избранной им специальности и приобрел в ней солидные познания» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 147. Л. 10] (ходатайство о стипендии [там же, л. 12]). Интересно, что в это же время предпринимал большие усилия для того, чтобы остаться при кафедре, молодой Эйхенбаум — по его словам, оставлению препятствовал именно Шляпкин — реконструкцию этого сюжета см. в [Эйхенбаум 2020: 93–102]. Возможно, преданность Шляпкину была одной из исходных точек будущего неприятия Шимкевича формалистами (особенно учитывая браваурное черносотенство Шляпкина).

Видимо, на протяжении года Шимкевич активно работал с архивами литераторов начала XIX века, во всяком случае, именно после 1914 года его заметки стали появляться в издании «Пушкин и его современники». Дебютом в печати стала публикация «Из отголосков на смерть Пушкина» [Шимкевич 1916], основанная на документе из собрания Павла Тиханова, хранящегося в Публичной библиотеке. Эта статья была комплиментарно отмечена в [Ходасевич 1999, I: 81]. По-видимому, именно эта заметка упоминается в другом сохранившемся письме Шимкевича к учителю:

Дорогой Илья Александрович, на днях получил отпечаток моей заметки, который и спешу послать Вам. Затем, извиняюсь за беспокойство, буду просить Вас кой о чем. Дело в том, что я, занятый сейчас безвыходно с 8 часов утра до 8 и 9 часов вечера, работать научно, конечно, не мог, но в будущем я имею некоторый план: в конце мая я получу отпуск на месяц, отпуск этот мне бы хотелось использовать для науки — я поеду работать в Сийский монастырь. Вот об этом-то вопросе я и хотел слышать Ваше мнение и указание — какие книжки (кроме Сийск<ого> Икон<описного> Подл<инника>) имеются у нас или где о них можно справиться? Поеду я туда, может быть, не один, а с Терацким работать предполагаем аппаратом (фотогр<афическим>) над рукописями, архитектурой и другим подходящим материалом. Очень бы не хотелось потратить и без того небольшое время на уже сделанную работу. Еще раз извиняюсь за беспокойство. Искренно

кв. 4. т. 417–15» [РО ИРЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 2326. Л. 9]. Согласно сохранившейся программке [КШ], этот доклад состоялся 25 апреля 1914 года. Помимо Шимкевича там выступал Семен Венгеров с сообщением «Литературный Архив С. А. Венгерова и остов критико-библиографического словаря русских писателей и ученых» и Эдуард Вольтер с темой «Библиология на выставке печатного дела в Лейпциге». Стоит отметить, что для студентов допуск к библиотеке Шляпкина был настоящим событием. Один из них писал учителю: «Глубокоуважаемый профессор! Я каждый год слышу, что в Рождественские каникулы, Вы приглашаете студенток и студентов для осмотра Вашей редкостной библиотеки. Хотя я и не филолог, а юрист, однако интересуюсь русской стариной и был бы очень счастлив, если бы Вы позволили и мне вместе с другими студентами-филологами осмотреть ее. Относительно дня справлялся у многих студентов, однако ничего определенного не узнал, а потому осмелюсь спросить, когда Вы назначили осмотр, точнее на какой день» [РО ИРЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 2326. Л. 11].

уважающий и любящий Вас ученик Ваш — К. Шимкевич. Р. С.: Мой новый адрес: Знаменская 47, кв. 5 [РО ИРЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 2174. Л. 1].

Тогда же Шимкевич подготовил небольшую публикацию с указанием источника из архива Михаила Лобанова о том, что Пушкин присутствовал на похоронах Николая Гнедича 6 февраля 1833 года и помогал нести гроб поэта [Шимкевич 1918]. В то же время были предложены к печати воспоминания Лобанова, однако опубликованы они были лишь в 1927 году [Шимкевич 1927а]. Этот текст сообщает неизвестные детали об обеде у Александра Смирдина 19 февраля 1832 года, на котором было решено издать сборник «Новоселье» (1833), где впервые опубликован «Домик в Коломне» (изучением которого Шимкевич занимался впоследствии). Вскоре после напечатания эти материалы были использованы в одной из книг младоформалистов [Аронсон, Рейсер 1929: 242].

Филолог работал и с архивом Дмитрия Хвостова в Пушкинском Доме, подготовив несколько публикаций, ни одна из которых, однако, не дошла до печати. В рукописи осталась заметка «К пребыванию Пушкина в Москве. (Письмо М. Н. Макарова 5 июня 1830 г.)» (собр. Кураевой). В ней рассказывается о письме к Д. И. Хвостову, которое содержит неизвестные сведения о Пушкине, ныне этот источник уже учтен исследователями [Хроника 2001, I, кн. 2: 331].

Эти неопубликованные заметки с трудом поддаются датировке⁸⁵. Вряд ли они могли быть написаны до 1914 года, а с началом Первой мировой войны Шимкевич снова оказался в инженерных войсках⁸⁶. Жирмунский позже писал, что «зима 1915–16 и 1916–17 гг. были для меня, как и для многих других представителей молодой истории литературы того времени, периодом методологического кризиса и напряженных методологических исканий» [Жирмунский 1928: 7] — именно в этот период, когда во многом определилась расстановка сил филологии ближайшего десятилетия, Шимкевич был изъят из академической среды. 18 июля 1914 года началась общая мобилизация, и в этот же день молодой ученый явился на призывной пункт. Уже через четыре дня он был назначен помощником Производителя работ по постройке войсковицких⁸⁷ позиций в Петербургском⁸⁸ военном округе. В декабре того же года он вошел в комиссию по формированию саперных рот и батальонов, а к сентябрю 1915-го стал батальонным адью-

⁸⁵ Одним из способов периодизации текстов Шимкевича служит орфография: все, датированное до 1923 года, выполнено в дореформенной, а все, датированное позже — в новой. Видимо, переход произошел в конце 1922 года, отражение этого процесса можно увидеть в рукописи доклада «К вопросу о задачах поэтики» (см. главу 3), черновики которой отчасти написаны в дореформенной орфографии, в отличие от основного текста.

⁸⁶ Все приводимые далее сведения о воинской службе Шимкевича восходят к его послужному списку: [ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 52037. Л. 4–6].

⁸⁷ Войсковицы — поселок в Царскосельском уезде.

⁸⁸ В документе, составленном позже, анахроничное «Петроградский».

тантом⁸⁹. После революции, в марте 1917 года, он перешел в почтовую службу: сначала его определили помощником коменданта почт и телеграфов Петрограда, а к апрелю ввели в состав комиссии по наблюдению за переправой посылок военным. В августе он был зачислен в III отделение Главной Управы Генерального Штаба на должность делопроизводителя, а в феврале 1918 года демобилизовался — впрочем, как оказалось, ненадолго.

Начиная с 1914 года с регулярностью в два семестра и вплоть до 1919-го в университете принималось решение о продлении срока оставления его при кафедре [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 147. Л. 16–21]⁹⁰, а причиной демобилизации в послужном списке указаны занятия «в Петроградском университете для назначения на должность профессора». Возможно, обсуждавшиеся выше работы были написаны именно в этот период, когда он желал вернуться к научной деятельности, однако не был встроен в академические структуры. Впрочем, в alma mater следили за судьбой потенциального профессора — к 1919 году относятся два письма и. о. ректора Петроградского университета Александра Иванова в Следственную комиссию, связанные с филологом. Первое из них написано 21 сентября, второе — 1 октября:

По полученным Университетом сведениям арестован и находится в Крестах оставленный при Университете для приготовления к профессорской должности, по кафедре русского языка и словесности, Константин Антонович Шимкевич. В настоящее время К. А. Шимкевич болен воспалением надкостницы с сильным опуханием ног. Вследствие изложенного и ввиду болезненного состояния К. А. Шимкевича, обращаюсь к Вам с просьбой оказать содействие в выяснении положения его дел и скорейшем освобождении из тюремного заключения [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 147. Л. 23].

Петроградский Университет обращается в Следственную Комиссию с просьбой сообщить в каком положении находится дело о содержащемся в настоящее время в доме предварительного заключения на Шпалерной ул. в д. № 25, оставленного при Петроградском Университете для приготовления к профессорской деятельности по кафедре русского языка и словесности Константина Антоновича Шимкевича. Последний допущен Историко-Филологическим факультетом Университета к держанию экзаменов на ученую степень магистра,

⁸⁹ По-видимому, он нередко командировался в столицу — сохранился инскрипт поэта Дмитрия Крючкова на его сборнике «Цветы ледяные» (СПб., 1914): «Константину Антоновичу Шимкевичу на память о первой встрече и первой дружеской беседе от сердечно к нему расположенного Дм. Крючкова 10/III 916» (<https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=30005927> (17.04.2024)).

⁹⁰ Сохранилось недатированное письмо Маргариты Шимкевич к Шляпкину — его можно датировать любым военным годом, но логичнее всего отнести к 1914-му: «Многоуважаемый господин профессор! Исполняя волю брата, почтительнейше прошу Вас, многоуважаемый господин профессор, ходатайствовать о продлении оставления Константина Антоновича Шимкевича при университете, так как он призван на военную службу. Срок оставления его при университете истекает в сентябре с<его> г<ода>» [РО ИРЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 2326. Л. 10].

причем ближайший срок экзамена назначен на 19-е сего Октября. Если за К. А. Шимкевичем по данным Комиссии не значится никакой вины, то Университет просит освободить его от содержания под стражей, дабы тем самым дать ему возможность продолжать прерванные занятия наукой и находясь в иной обстановке приступить к экзаменам на ученую степень [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 147. Л. 24].

К сожалению, никаких комментариев к этому эпизоду дать нельзя, так как в известных документах он больше не упоминается.

На обороте одного из удостоверений в личном деле стоит печать: «15 апреля 1918 явлен в Полюстровском комиссариате по жительству по Охтенск. ул. № 5» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 147. Л. 21 об.], и этот адрес говорит о том, что в это время филолог уже жил со своей будущей женой Марией Карловной Любберс (19.06.1894–8.10.1956). Она владела наследным двухэтажным деревянным домом на Охте, где поселился и Шимкевич.

3 февраля 1919 года появляется первая запись в трудовой книжке ученого [КШ] — он стал преподавателем литературы в 155 трудовой школе⁹¹, где числился вплоть до 1931-го. Сразу после того, как Шимкевич начал преподавать, его снова мобилизовали. Вплоть до августа 1921 года Шимкевич провел в армии, пока, наконец, был «уволен со службы и передан на учет <в> Петроградской губерн<ии> Отдел Народ<ного> образования, как работник просвещения». Как следует из справки от 27 июня 1921 года, он был не только инженером, но и в течение «двух лет работал в Строительстве по культурно-просветительской деятельности, выразившейся как в преподавании в школе десятников, так и чтении лекций для красноармейцев» [КШ]. Вероятно, к армейскому периоду относится женитьба Шимкевича на Марии Любберс — единственный документ об этом сообщает дату 17 февраля 1920 года. Свидетельство о браке не сохранилось, доступна лишь выписка А. К. Кураевой из копии свидетельства от 22 сентября 1946 года взамен утерянной — этот источник нельзя считать надежным. Можно предположить, что свадьба состоялась до или после вторичной мобилизации филолога.

Через год после возвращения ученого в Петроград родилась Ариадна Любберс⁹². В наброске ее краткой автобиографии, написанной, по видимости, перед поступлением в институт, дочь ученого пишет:

Я родилась 1/VI — 22 г. в г. Ленинграде в семье научного работника. С детства я отличалась слабостью здоровья, и пока вся моя жизнь прошла в борьбе с разными болезнями. Они мешали мне учиться в школе порою настолько, что мне пришлось год посвятить всецело лечению. Я поступила в школу в 1930 г. во второй класс и переходила из класса в класс, несмотря на болезни, хорошо. Моему общему развитию много способствовала большая библиотека моего

⁹¹ В послужном списке указана трудовая школа № 7, однако это то же учебное заведение, изменившее нумерацию.

⁹² По словам А. К. Кураевой, она несколько раз упоминала, что была падчерицей Шимкевича, а не родной дочерью.

отца, которою я пользовалась постоянно. К сожалению, мой отец постоянно занят лекциями и заседаниями, и мне приходилось очень многое обдумывать самой. Ни братьев, ни сестер у меня нет. Мать моя беспрерывно занята домохозяйством⁹³. В настоящее время, как и обещали мне врачи, здоровье мое значительно исправилось, и я кончила школу без особого переутомления⁹⁴ [КШ].

«Лекции и заседания» начались уже вскоре после демобилизации ученого. Желая вернуться к исследовательской работе, Шимкевич обратился в созданный при университете Институт им. А. Н. Веселовского; характеристику этой институции см. в [Brandist 2023]. В «Прошении Бывшего Оставленного при 1-м Петроградском Университете по кафедре русского языка и словесности» от 26 ноября 1921 года он пишет:

Окончив СПб Университет в 1912 г., я был оставлен при Университете по кафедре русского языка и словесности. Но, призванный в действующую армию в 1914 г., я не мог сдать магистерские экзамены. После освобождения моего из армии, мое оставление было восстановлено в феврале 1919 года, но уже в марте того же года я был снова взят в Красную армию. В настоящее время я уволен из нее для продолжения научной деятельности. Несмотря на крайнюю затруднительность научной работы на военной службе, я все же, хоть урывками, но работал в архивах разных библиотек, и мною были сданы для печати статьи и заметки по собранному материалу о Пушкине; часть сданного была напечатана в издании «Пушкин и его современники», часть же находится у Б. Л. Модзалевского. Затем у меня имеются, находящиеся в периоде разработки, материалы, по разным вопросам русской литературы, а именно: «Взаимоотношения текста и иллюстрации в русской рукописной литературе до 18 века»⁹⁵, «Песнь о Душе Чистой», «Рифма Лермонтова»⁹⁶, «Ф. Н. Глинка в общественной и литературной деятельности»⁹⁷, «Лобанов и Жуковский», «Поэзия Н. Ф. Щербины»⁹⁸. Кроме этих работ я все время продолжал готовиться к магистерскому испытанию. В виду всего вышеизложенного прошу о принятии меня в Институт в качестве научного сотрудника [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 148. Л. 2].

⁹³ У семьи был довольно большой огород, на котором трудилась жена ученого — В. О.

⁹⁴ В сохранившейся в собрании А. К. Кураевой домовой книге об Ариадне Любберс указано без датировок: «ученица педагогической школы на иждивении родителей», «Театральный институт, студентка», «бухгалтер Лен<инградского> з<аво>д<а> Радиокерамики», «Лен<инградский> З<аво>д Радиокерамики. Воспит<ательница> Дет<ского> Сада».

⁹⁵ Помимо уже упомянутых работ, среди материалов Шимкевича есть папки с выписками и заметками «Миниатюры, как иллюстрации рукописей на Руси», «Русская иллюстрированная рукописная литература древнего и переходного периодов», «Синодик дьяка Торопова» [КШ].

⁹⁶ Среди материалов Шимкевича сохранилась папка выписок «Рифмы Лермонтова» [КШ].

⁹⁷ Сохранилась папка «Ф. Глинка» с выписками стихов и цитат о поэте [КШ].

⁹⁸ Сохранилась папка «Н. Ф. Щербина» с выписками и заметками о поэте, а также «Письма Полонского к Щербине» с выписками архивных документов в дореформенной орфографии [КШ].

На прошении синим карандашом отмечено: «В славяно-русскую секцию». Согласно наброску автобиографии, Шимкевич работал сразу в двух секциях — новых и новейших литератур, а также методологии и теории литературы, в документе эти секции названы «истории новейшей лит. и теории и истории литературы» [КШ].

В институте Шимкевич попал в число участников филологического семинара Владимира Перетца, и, хотя он не стал любимцем руководителя, таким как Игорь Еремин или Анна Никольская [Робинсон 2004: 259–267, 275–276], но все-таки Перетц способствовал научной карьере ученика, в 1923 году отправив в комиссию Института рекомендательное письмо, сопровождавшее уже цитировавшуюся автобиографию:

Полного Curriculum vitae К. А. я дать не могу, но знаю, что он в свое время был оставлен при унив<ерситете> еще И. А. Шляпкиным; засим во время войны — был мобилизован и лишь в 1921 г. был освобожден от военной службы. В 1922 г. был избран н<аучным> сотру<дником> 2 р<азряда> в Инст. им. Веселовского и был постоянным участником моего семинария, где прочел интересный доклад «О песенной рифме в р<усской> н<ародной> поэзии». Из других его работ мне известны мелкие статьи по новой р<усской> лит<ературе> (в изд<ании> Пушк<ин> и его соврем<енники>) и интересный доклад о влиянии Подолинского на Лермонтова, осветивший с новой стороны творчество последнего. Не будучи знатоком в области новой р<усской> лит<ературы>⁹⁹, обращаю внимание на работы К. А. Шимкевича по р<усской> народн<ой> словесности, на которой он специализировался в последнее время. Как участник семинара русск<ой> филол<ологии> — обнаруживал всегда активность, хорошую начатанность в коллективной работе, что и дает мне основание возбудить ходатайство о зачислении его в н<аучные> сотр<удники> Института [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 148. Л. 3].

Возможно, необходимость такой рекомендации связана с реорганизацией Института им. А. Н. Веселовского в Институт литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ)¹⁰⁰. По всей видимости, филолог стал жертвой бюрократической путаницы, о чем свидетельствует черновик более позднего заявления (воспроизводится целиком):

вплоть до 1918 года, когда опять был восстановлен в звании оставленного при университете. С 1919 по 1921 год я опять был на войне, но освободившись, тотчас же подал заявление в Исследовательский Институт Им. ак. Веселовского

⁹⁹ Юлиан Оксман вспоминал, что главной причиной расхождения будущих формалистов с Перетцем были его «грубые нападки на изучение русской литературы XIX в. вообще, и на пушкиноведение в частности» [Чудакова, Тоддес: 93].

¹⁰⁰ «Научно Исследовательский Институт Сравнительной истории Литератур и Языков Запада и Востока при Ленинградском Государственном Университете основан осенью 1923 г. Он явился преемником старого Исследовательского Института им. А. Н. Веселовского и по своим основным задачам продолжает его работу» [Атеней 1926, III: 160].

о зачислении меня в категорию научных сотрудников; после заявления я был приглашен акад. В. Н. Перетцем для работы под его руководством, но заявление мое до сих пор находится в Москве. Таким образом, как оказалось, я в списках Исследовательского Института не состоял и не состою. Так как в этом недоразумении виноват не я, то прошу меня о зачислении меня в категорию научных сотрудников. 12 декабря 1925 г., Петроград [КШ].

Скорее всего, работа с Перетцем подарила Шимкевичу возможность ближе узнать новую теорию литературы, бурно расцветшую за военные годы, хотя семинар и делал акцент на практической составляющей в воспитании молодых ученых: «Семинарий Перетца и его руководитель выглядели довольно необычно в общем контексте тогдашней петроградской жизни, где задавали тон популярные формалисты, их официальные “марксистские” оппоненты, сторонники различных мировоззренческих доктрин и школ. Рядом с ними сосредоточенный на тщательной текстологической работе (да еще и преимущественно с допетровскими памятниками) семинарий Перетца действительно казался несколько старомодным» [Бабак, Дмитриев 2021: 72–73].

13 декабря 1922 года Шимкевич также стал сверхштатным научным сотрудником Пушкинского Дома [Скатов 2005: 130]. Его деятельность в стенах учреждения ограничилась тем, что на открытом заседании 13 июля 1922 года он сделал доклад под названием «Затерявшиеся инициалы». Текст доклада неизвестен, однако в Протоколе II научного собрания Пушкинского Дома 13 июля 1922 года указан подзаголовок: «Стихотворение: “Гр. Д. И. Хвостову”». На его стихотворение — Концерты — напечатанное в альманахе — “Подснежники” 1829 г. под инициалами П. П., в архиве же гр. Хвостова приписанное А. С. Пушкину», а также отмечено: «Возражение М. Л. Гофмана: Докладчик Шимкевич не доказал, что стихотворение П. П. не принадлежит П. А. Плетневу» [СПбФ АРАН. Ф. 150. Оп. 1 (1921). Д. 2. Л. 49]¹⁰¹.

В конце 1923 года литературовед составляет curriculum vitae для ИЛЯЗВ, перечисляя там неопубликованные статьи (учитывая, что ни одна из них не была названа в письме 1921 года, их можно датировать 1922–1923 гг.): «“Композиционные формы уподобления”, “Поэтика колыбельной песни”¹⁰², “Традиции ‘Домика в Коломне’” и др.» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 148.

¹⁰¹ За указание благодарю Владимира Турчаненко. В curriculum vitae, написанном для поступления на работу в ИЛЯЗВ, Шимкевич называет этот доклад «Стилистический анализ стихотворения, приписываемого Пушкину» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 148. Л. 4]. Интерес к Плетневу у Шимкевича продолжился в статье «Плетнев как теоретик пушкинской поры», написанной в 1920-е [КШ].

¹⁰² Среди материалов Шимкевича сохранились папки выписок и заметок «Поэтика колыбельной песни», «Колыбельная песня», «Пародийная колыбельная песня», «Лингвистические определения колыбельной песни», «Народные колыбельные песни», «Исследования морфологии колыбельной песни» [КШ].

Л. 4] В это время он уже начал работать в Институте Истории Искусств, где его деятельность увенчалась наибольшим успехом.

Шимкевич начал работать в Институте в 1923 году и закончил в результате антиформалистской кампании в 1930-м. Он не стал одним из ключевых сотрудников Литературного отдела, как и многим коллегам, ему приходилось обходиться без постоянной зарплаты и совмещать занятия и заседания с другими работами. Официальную должность сотрудника первой категории он получил осенью 1923 года, но еще до этого прочитал доклады «Задачи поэтики» и «Лермонтов и Подолинский: (К литературной истории “Демона”» (см. след. главу).

В первые годы работы в Институте Шимкевич написал и опубликовал две статьи о Некрасове, в 1923/24 ак. году устраивал семинар по стилистике поэта [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 134. Л. 162 об.], а в 1924/25 ак. году читал в Институте доклад с анализом поэмы «Кому на Руси жить хорошо» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 148. Л. 6]¹⁰³. Отдельно стоит упомянуть его семинар для второкурсников «Некрасовская эпоха»¹⁰⁴. Именно среди исследователей Некрасова Шимкевич сегодня известен более всего.

Научная деятельность Шимкевича не ограничивалась монографическим изучением отдельных авторов — в отчете о деятельности Разряда истории словесных искусств за октябрь–декабрь 1924 года встречается упоминание о готовящейся к печати книге «Сборник статей о русской литературе 19 в.» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 119. Л. 81 об.]¹⁰⁵. Видимо, она должна была объединить ряд работ ученого, не бывавших в печати, однако эта идея так и не была реализована.

Также в отчете, написанном для ИЛЯЗВ в 1924/25 ак. году, Шимкевич сообщает: «...начата большая работа — “Русская элегия эпохи ее расцвета”, две главы из которой: “Теоретические оформления элегии, как жанра” и “Элегия в понимании критики и в быту” — уже зачитаны в 1-ой секции Института» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 148. Л. 6]. Окончательно замысел

¹⁰³ В Пушкинском Доме хранится множество подготовительных выписок, черновиков и заметок к анализу поэмы. Отдельно собраны заметки в папках «Анализ сложной композиции», «Метрика» и «Народные эпиграфы».

¹⁰⁴ Кроме него, в отчете за 1923/24 ак. год упоминается семинар Шимкевича по стилистике Некрасова, однако вполне возможно, что речь идет об одном и том же [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 134. Л. 162 об.], там же указан курс Шимкевича «Сем<инарий> по ист<ории> рус<ской> поэтики». Появление некрасовских семинаров соответствует плану научной деятельности Разряда истории словесных искусств на 1924/25 ак. год, в котором указано: «Будут организованы групповые работы в семинарском порядке: <...> С. Д. Балухатым, К. А. Шимкевичем, Ю. Н. Тыняновым — по разным русским писателям XIX века» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 191. Л. 191].

¹⁰⁵ В отчете за 17 декабря эта книга названа «Статьи по истории русской литературы» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 126 об.]. В ответах Казанского на анкету Главнауки 7 января 1925 года эта книга упоминается как «Очерки по истории русской литературы 19-го века» и указано, что она готовится к печати.

книги не был воплощен, однако сохранилось несколько крупных фрагментов этой работы [КШ]. Среди папок с выписками, заметками и набросками есть такие, как «Методологическое введение», «Ограничения эпохи», «Жанровые ограничения эпохи», «Теоретические оформления элегии как жанра», «Образцовые элегии (хрестоматийные)», «Индивидуалистическая элегия», «Пейзажная элегия», «Русская элегия в период ее расцвета», «Исторические источники элегии», «Историческая элегия», «Иностранские источники элегии». Работа Шимкевича была упомянута в производственном плане Отдела истории словесных искусств на 1925/26 год как часть проекта «систематического обследования продукции русской литературы, преимущественно первой половины XIX века, т. е. второстепенной журнальной прозы, в частности окончание монографических исследований об отдельных писателях и жанрах» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 3. Д. 13. Л. 56 об.].

Среди других масштабных работ, которые Шимкевич выполнял в Институте, стоит упомянуть составление свода «русской литературной эпиграфики», которую он предложил провести в 1924/25 ак. году [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 106 об.]¹⁰⁶. Эта работа была утверждена в проекте плана работ Института по 1 октября 1925 года с указанием, что «...все эти работы естественно развиваются из уже ведущихся работ и из занятий в специальных семинариях этого года» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 134. Л. 120 об.]. Сохранилась папка Шимкевича с выписками эпиграфов [КШ], однако собранный материал не был осмыслен в самостоятельном исследовании (значительная часть этого материала вошла в итоговую работу Шимкевича «История русской поэзии», во многих частях которой есть раздел «Эпиграфика»). Наконец, важным коллективным проектом была организация библиографической картотеки по русской поэтике, которую упоминает Борис Казанский в ответах на анкету Главнауки 7 января 1925 года¹⁰⁷. Возможно, в связи с интересом к этому полю литературовед начал читать для слушателей третьего курса «Историю русской поэтики» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 119. Л. 81 об.]. В 1928/29 ак. году он читал второкурсникам курс лекций «Теория малых форм», подробный конспект которых, выполненный чьей-то рукой, хранится в Пушкинском Доме.

На основании изложенного становится ясно, что Шимкевич, пусть и не входил в число ключевых фигур ЛИТО Института, но был активным и разносторонним работником, который подверстывал свои многочисленные интересы под нужды Отдела. Если добавить к этому страсть библиофила (на аукционах до сих пор нередко появляются редчайшие издания разных эпох русской литературы с его экслибрисами), то вполне объяснимым

¹⁰⁶ Стоит отметить, что термин здесь используется не в современном значении, а как обозначение для собирания эпиграфов. Интересно также, что университетский наставник Шимкевича Илья Шляпкин считается одним из создателей славянской эпиграфики, для которой он, однако, предпочитал термин «вещевая палеография».

¹⁰⁷ Карточки по теории прозы собирались под руководством Эйхенбаума, по теории поэзии — Томашевского, а Шимкевич был ответственен за их систематизацию.

становится его выбор в качестве заведующего Кабинета современной литературы. С момента создания учреждения Шимкевич почти целиком переносит туда свою деятельность, что подробно описано в первой главе работы.

Судя по всему, чистка Института стала личной катастрофой для филолога. Неясно, когда он закончил работу в Пушкинском Доме и ИЛЯЗВ, однако он не проявлял там никакой активности после 1930 года (последний был также закрыт в это время). С этого момента и до конца жизни он не опубликовал ни одной статьи, неизвестно о его участии в подготовке каких-либо изданий. На протяжении 1930-х годов он занимался исключительно преподаванием.

Вряд ли в десятилетие после разгрома Института Шимкевич работал над какими-то исследованиями. Как уже было сказано, до 1931 года он числился в школе, но с осени того же года, согласно трудовой книжке, стал преподавателем в теплотехникуме при той же школе, и уже в конце следующего года «вследствие ликвидации Техникума, освобожден от должности». С января по сентябрь 1933 года он был устроен в Первом энергетическом техникуме, но «отчислен оттуда за отсутствием свободных часов». Судя по справке [КШ] Шимкевич работал на Вечернем Рабфаке при Ленинградском Институте Борьбы с Вредителями в Сельском Хозяйстве, который существовал в 1932–1934 гг. 23 февраля 1932 года он также был зачислен преподавателем по русскому языку и литературе в Ленинградский техникум печати, где оставался вплоть до 1 февраля 1937 года¹⁰⁸.

Эта работа была способом выживания, а не призванием, о чем косвенно свидетельствует черновик заявления от 17 марта 1933 года: «Ввиду моей перегруженности уроками, сделавшейся для меня после перенесенной мною тяжелой болезни непосильной, прошу освободить меня от преподавания на всех отделениях Техникума» [КШ]. У студентов Шимкевич пользовался определенным авторитетом, по всей видимости, они считали его связанным с литературно-издательским миром. В собрании А. К. Кураевой сохранилось характерное письмо одного из учеников. Оно не датировано, но скорее всего относится именно к этому периоду:

Многоуважаемый Константин Антонович! Простите мне пожалуйста мою маленькую дерзость, а также и то, что в этой дерзости заключается!! Но Вы — единственный человек, кого я могу спросить об этом, кто может меня чем-то посоветовать, направить... Дело в том, К. Антонович, что мне страстно хочется попробовать свои силы на литературном поприще, и помнится, Вы не отрицательно относились к этому, в свое время. Вы только говорили мне, что меня может подвести «старшая школа» и та тематика, которой я близок по духу. С этим я так же согласен, как со всем, что Вы когда либо говорили мне. Опасность «вдаться в уклон», исказить марксистско-ленинскую сущность, влести

¹⁰⁸ Согласно листку, озаглавленному «О Родословной К. А.», к литературоведу «очень много приходило студентов полиграфического техникума. К. А. дружил с Томашевским, Лошкарев<ым>. Бывали Эйхенбаум с женой. Бывал часто Клюев. До 37 г. всегда было много народу» (собр. Кураевой).

анти общественные или упадочные жилки — эта опасность ждет на каждом шагу. И вот я прошу Вас, К. Антонович, направьте меня в русло. Дайте мне ключ от типографских дверей... Но это поэзия, а в прозе моя просьба выглядит так: Скажите, К. А. стоит ли писать? (М. б. я обречен по В/мнению на фиаско). Как писать?

Помимо основной работы, у Шимкевича были подработки, указания о которых сохранились в Пушкинском Доме. В 1934–1937 гг. он служил внештатным преподавателем в ДК им. Газа. Сохранились талоны для прохода на литературные вечера, которые там вел Шимкевич в октябре 1937 года: 3-го «Шота Руставели», 9-го «Радищев», 15-го «Леон Фейхтвагнер», 21-го «Одноэтажная Америка», 27-го «Ромэн Роллан». Кроме того, 25 сентября 1935 года лектор заключил договор с Ленхимпромсоюзом о том, что он будет руководителем местного литературного кружка, подрабатывал он и в ДК им. Капранова.

Метания по разным училищам привели педагога на новую дорогу: он связал свою деятельность с театром. Началась эта связь еще в предыдущем десятилетии — он преподавал теорию литературы и драматургию в Ленинградском Государственном Техникуме Сценических искусств с 1 октября 1926 года и как минимум до 1933-го, а в 1931–1934 гг. работал на Режиссерском отделении Техникума. Судя по приведенным ниже документам, он продолжал работать там вплоть до эвакуации Института в феврале 1942-го.

Видимо, до 1938 года педагог работал в Новом ТЮЗ'е, поскольку 14 марта ему была выдана справка о прекращении занятий, хотя следующие три года он несистематически вел занятия по истории всеобщей литературы и стилю артистам и преподавателям театра. Кроме того, в 1938–1940 гг. он читал лекции по истории всеобщей литературы и театра вспомогательному составу Ленинградского Драматического Театра Промкооперации. На протяжении 1939 года литературовед был включен в состав Рабочей Театральной мастерской Клуба Д. В. Яковлева Союза Табачников.

Шимкевич был весьма востребован как педагог. Об этом свидетельствует письмо начальника театра Черноморского флота от 22 января 1940 года с просьбой приехать в Севастополь и прочитать курс лекций «История художественных стилей». Неизвестно, состоялась ли эта поездка, но с 13 января по 11 апреля этого года он проводил занятия по литературе в группе ассистентов режиссеров экстерната на киностудии «Лентехфильм». С просьбами о лекциях писали ему и из Всероссийского Театрального общества.

Довольно активным было сотрудничество Шимкевича с Ленинградским Домом художественной самодеятельности в 1940 году: 20 февраля он прочитал доклад «Анализ русских драматургических произведений, отражающих борьбу русского народа против иноземных нашествий», 9 марта — «Борис Годунов», 20 марта — «“Макбет” и “Эрнани”», 8 апреля — «Гроза»,

20 апреля — «Чайка»¹⁰⁹, 8 мая — «Драматургический анализ “Слепых” Метерлинка и “Балаганчика” Блока», 20 мая — «Анализ “Людей” Газенклевера», 22 мая — «Основные вопросы стиля и жанра в художественном чтении», 8 июня — «На дне», 20 июня — «Егор Булычев», 1 и 22 ноября — «Стиль и жанр в художественном чтении». 14 апреля 1940 года Шимкевич также прочитал лекцию «Жизнь и творчество В. В. Маяковского» в ДК им. Ильича Ордена Ленина завода «Электросила» им. Кирова. С октября 1940-го по март 1941-го он читал лекции по истории стилей в ДК Работников связи, а в марте 1941 года заключил трудовое соглашение с Ленинградским Государственным Передвижным театром и стал его драматургическим консультантом. Это пунктирное перечисление позволяет представить объем нагрузки, упавшей на плечи филолога, как и спектр текстов и проблем, о которых ему приходилось разговаривать с ленинградской молодежью.

Сложно сказать, как Шимкевич и его семья встретили войну. Сохранилось письмо бывшего секретаря Кабинета Валентины Денемарк, написанное 4 июля 1941 года и показывающее, что мнение учителя всегда оставалось для нее авторитетным:

Дорогой Константин Антонович! Все поджидала, что Вы как-нибудь заглянете ко мне или напишете, но так и не дождалась, а теперь в это тревожное время не уверена, не уехали ли вы куда-нибудь. Я, конечно, никуда не выбралась, так как собиралась ехать после 1-го, закончив работу в сельскохозяйственной академии, но не удалось... <...> Третьего дня я похоронила тетю Женю. Смерть ее ускорила перевоз больных от Фореля к Смольному¹¹⁰. Она и так была очень слаба, а здесь ее сильно порастрясли, и она прожила всего три дня в Смольнинской богадельне. Похоронили мы ее с мамой вдвоем на Охте и здесь пришлось пройти все мытарства, о которых Вы мне рассказывали, когда хоронили нянечку. <...> Очень хотелось бы Вас повидать, если найдете это возможным. Неизвестно, что нас ждет впереди, вряд ли скоро все окончится (собр. Кураевой)

Сложно судить и о том, как проходила блокадная жизнь семьи Шимкевича. Педагог в этот период работал в Новом Колхозном Драматическом театре — 7 апреля 1942 года ему было выдано удостоверение, что он с 1 августа 1940 года является внештатным драматургическим консультантом, о других его занятиях в этот период не известно. Скорее всего, он занимался огородом и козами — Полюстрово, где находился его дом, в это время было чем-то вроде дачного поселка, поэтому там возможно было вести собственное хозяйство. Благодаря этому Шимкевич и его близкие пережили голод — в последний год блокады у них были даже две козы, хотя

¹⁰⁹ В Пушкинском Доме хранятся машинописные конспекты лекций о «Грозе» и «Чайке».

¹¹⁰ Психиатрическая больница им. Фореля располагалась рядом с передовой линией обороны города, поэтому пациенты были размещены в других больницах — В. О.

неясно, сохранились ли они на протяжении «смертного времени» или появились уже после зимы 1941/42-го. Об этой страшной зиме осталось единственное свидетельство в виде письма Денемарк:

Дорогой Константин Антонович! Сегодня ровно месяц, как я была у Вас в Полострове, и, хоть Вас я не повидала, но узнала от Ляли, что Вы живы и здоровы. За последнее время так усложнились возможности видиться с близкими людьми, да еще и при таких дальних расстояниях, что я просто не знаю, когда мне удастся еще у Вас побывать. Может быть как-нибудь пораньше утром или в воскресенье, или после ночного дежурства, которые я несу по Академии каждые пять дней, имея вслед за этим свободный день. Боюсь только, не потревожить бы Вас таким непрошеным визитом. Не знаю, как Вы себя чувствуете, как Ваши здоровье и силы. Я еще держусь, хотя чувствую слабость, особенно по утрам, но бодрость духа еще есть. Занимаюсь понемногу Фетом, т. к. его книг оказалось у меня больше всего дома и в иимковской¹¹¹ библиотеке, — в плане соприкосновения с античностью, — хотела в прошлый раз с Вами об этом побеседовать, не знаю, удастся ли в ближайшем будущем. Окружающие говорят мне, что я пока держусь молодцом, но за маму я очень беспокоюсь. Делаю для нее все что в моих силах: все делим поровну и, чтобы не тратить энергию на бесплодное стоянье в лавках, приношу еду из столовой, что конечно менее практично, но другого выхода нет. <...> Знаю, что позвонить Вам ко мне теперь невозможно, разве черкнете о себе строчку, может быть дойдет. Очень тяжело жить в таком отрыве (собр. Кураевой).

5 марта 1942 года Денемарк прислала еще одно письмо учителю:

Дорогой Константин Антонович, теперь, когда почта понемногу как будто начинает работать, я умоляю сообщить мне, что с Вами, все ли живы и здоровы из Вашей семьи. Очень тяжело жить в полной неизвестности о близких людях. Я в конце января потеряла маму, около месяца прожила в очень тяжелых условиях морально и физически, а с 22-го февраля живу временно у одной знакомой, приютившей меня до теплых дней. На работу хожу через день, но библиотека сейчас закрыта. Добраться до Вас пешком — не хватит сил¹¹². Если можете — ответьте, Вы или кто-нибудь из Ваших. Буду бесконечно благодарна. Недавно получила две открытки от брата из Вологды¹¹³, может быть и в Ленинграде дойдет письмо (собр. Кураевой).

Ударом для семьи стала ссылка Марии Любберс в Салехард — скорее всего, за немецкое происхождение. Это случилось в начале 1942 года, возможно,

¹¹¹ ИИМК АН СССР — Институт истории материальной культуры, в библиотеке которого работала Денемарк — *В. О.*

¹¹² Первые трамваи в Ленинграде возобновили движение 15 апреля 1942 года, через 10 дней после отправки письма — *В. О.*

¹¹³ Возможно, это связано с тем, что ленинградских немцев ссылали в основном в Вологодскую область, хотя в учебном деле Денемарк указано, что она русская (см. ниже). Впрочем, в домовой книге то же написано и о Марии Любберс (собр. Кураевой).

в марте, когда из города было выслано почти десять тысяч «социально опасных элементов»¹¹⁴. 4 июля 1942 года Шимкевич писал жене:

У вас холодно и дождливо, у нас стояла сухая ясная погода. Сено убрали, с парников давно, недавно все рамы сняли. <...> Все тебя смертельно жалеют. Дома без тебя все только скребется. Совершенно внезапно в день твоего отъезда к нам приехала призрачной тенью с палочкой Валентина Николаевна <Денемарк>, и сейчас, так как она лечится, мы пригласили ее к нам. Все-таки, хоть не помощь, но рассеяние¹¹⁵. <...> У нас почти все уже посажено, хотя не без недостатков. Воровство стоит отчаянное, непрерывные крики на огородах: срезают рассаду капусты и т. п., грачи выклевают картошку, мыши жрут горох, огурцы и т. п. <...> Едим мы, как и раньше, все по плану, по рациону, не жалуясь и не опускаясь <...> Во время писания этого письма пришли от тебя целых три телеграммы (две из Вологды и одинаковые; зачем?) Мы очень рады, что ты чувствуешь себя бодро, но напрасно бранишь дождь, — спаси и сохрани ехать в душном вагоне. За месяц пути можно совершенно отощать. <...> Птенчики на звонке вывелись и скоро улетят; мы их охраняем от Кости, который, слава Аллаху, ходит к нам в гости. Все-таки, хоть и неуклюже, но гоняет мышей, рост которых превратится в бедствие. Они попадают на каждом шагу, бьют чем попало. Что-то нас ждет с брюквой, свеклой и т. п., — ведь они будут ее пожирать (собр. Кураевой).

В том же 1942-м последовал еще один удар: Шимкевич с дочерью был вынужден переехать в соседний дом. Что случилось с их собственным — не до конца понятно, но сохранился черновик заявления, в котором литературовед просит не сносить здание, так как разрушения в нем несущественны [КШ]. Впрочем, его все равно разобрали на дрова¹¹⁶. Участок — огород в двести квадратных метров — остался за семьей. Судить о деталях

¹¹⁴ «Уже в феврале 1942 г. возобновилась эвакуация населения из Ленинграда, а в марте прошло выселение немцев из Ленинграда и пригородов. 9 марта появилось повторное постановление Военного совета Ленинградского фронта «О выселении из Ленинграда в административном порядке социально опасного элемента». К таким «элементам» относились русские, немцы, финны, поляки, эстонцы и другие ленинградцы. 17 и 18 марта из города были отправлены 5 эшелонов с общим количеством 9785 человек, в том числе 6888 финнов и немцев, административно высланных — 2897. Из города людей отправили поездами до станции Борисова Грива, затем на машинах (автобусах) через Ладогу до станций Кобона, Жихарево, Лаврово. Здесь шло формирование составов: уже два эшелона отправили в Омскую область и три эшелона — в Красноярский край» [Черказьянова 2013]. Возможно, жена Шимкевича была в эшелоне, отправленном в Омскую область — Салехард тогда входил в ее состав.

¹¹⁵ 9 июля Ариадна Любберс писала матери: «Валентина Ник. полет грядки, но так тихо ½ грядки в день, она очень слаба» (собр. Кураевой).

¹¹⁶ Ср. с записью Всеволода Петрова от 12 октября 1942 года: «Мне жаль деревянную Охту, всю дотла снесенную на дрова. Возле одного из полуснесенных домиков долго стоял на дожде кнут с иконой. Я подошел: икона ремесленная, не очень старая. Издали она казалась прекрасной. Диваны, комоды неделями стоят на мостовых. Потом исчезают. Грустно» [Петров 2022: 122].

блокадной жизни Шимкевича невозможно, однако сразу после освобождения города он пишет: «Я сильно постарел от нравственных потрясений; поседел мало, но лицо изрезала старость, исхлестав направо и налево. Переутомлен я смертельно» (собр. Кураевой). В другом письме добавляет: «Наши страдания были так безмерны и порою настолько нелепы, что брать на себя какие-либо заботы, связанные с зависимостью от чужого труда, мы не можем» (там же). Тем не менее, среди всех испытаний нашлось место и для интеллектуальной работы: Шимкевич все свободное время посвящает написанию масштабной «Истории русской поэзии» (см. след. главу).

В феврале 1944 года в Ленинград начинает возвращаться Театральный институт — судя по всему, первыми числами этого месяца датируется письмо Шимкевича к жене, в котором сообщается: «В Институте у нас теперь уже не Мокульский, а Серебряков; его помощница — Головинская (проф.), именно в силу этого могло состояться и мое возвращение. Пока оно еще не штатное, т. к. вся масса еще не приехала из Ново-Сибирска»¹¹⁷ (собр. Кураевой). Почти год спустя, 22 января 1945-го, Шимкевич пишет: «Я, по счастью, опять работаю у себя в институте, но пока внештатно и с малым количеством лекций, т. к. основная масса студентов в Ново-Сибирске» (там же). 7 января 1945 года Ариадна Любберс написала в Театральный институт заявление о желании вернуться на учебу, что свидетельствует о том, что она поступила туда еще до войны. Сохранилось примечательное письмо от неустановленного лица, написанное, скорее всего, в 1946 году (на это указывает первое предложение, выражающее сочувствие о том, что перед семьей стояла необходимость восстанавливать большой дом):

Константин Ант., дорогой, как у Вас дела обстоят со строительством? Признаться сказать, меня оторопь берет при мысли, что предстоит Вам. Константин Антонович, здесь одна гражданка очень просит меня помочь ей увидеть Вас, и я не знаю, как мне поступить. Будете ль Вы этим довольны. Это очень самоуверенная еврейка, лет 42-х, с грубыми чертами лица, очень неглупая, когда-то певшая женщина. Теперь она вдруг захотела сделаться (представьте) режиссером. Все время говорит об этом. Повидимому она и хочет Вас давить разговорами об этом [КШ].

Помимо работы в Театральном институте, в 1945–1947 гг. Шимкевич читал лекции по литературе работникам Театра музыкальной комедии, о чем свидетельствуют пропуски, хранящиеся в Пушкинском Доме. Последней из известных театральных должностей педагога было место в Драматической студии ГБДТ им. Горького, которое он занимал в 1948 году.

Еще до этого, 13 октября 1946 года, он вернулся в Полиграфический техникум, о чем свидетельствуют запись в трудовой книжке и черновик заявления: «Прошу о зачислении меня в состав преподавателей по литературе как

¹¹⁷ Николай Серебряков был ректором Театрального института в 1941–1961 гг., до этого Стефан Мокульский занимал должность проректора. Елизавета Головинская работала в институте в 1922–1951 гг.

работавшего в Техникуме от его основания» [КШ]. Там он не ограничился ролью преподавателя, а развернул довольно широкую внеучебную деятельность, став художественным руководителем Драмкружка и возглавив Кабинет гуманитарных предметов. Согласно плану на второй семестр 1946 года, «Производственный план Кабинета будет сводиться к выполнению обще-культурной работы из расчета на каждый отдельный месяц. Кабинет будет охватывать, по возможности, все большие даты в области искусства, полиграфии и гуманитарных наук» [КШ]. Там же сохранился «Список книг, уже обработанных Кабинетом». Он включает 15 поэтических сборников 1942–1946 гг. (исключение — «Зеленый берег» А. Ковалевской 1935 года). На многие из них студенты писали рецензии и составляли словарики их лексики, используемые ученым для «Истории русской поэзии» (и в прямом смысле, поскольку он писал на чистых оборотных сторонах, и в переносном — как материал, осмысляемый в набросках к незавершенной части работы). Так через двадцать лет к Шимкевичу вернулись времена Кабинета современной литературы, но с суровыми правками времени. Как и в тот раз, эта работа не продлилась долго, поскольку 1 июля 1949 года он ушел на пенсию.

Видимо, последние годы его жизни были посвящены дому, огороду¹¹⁸, козам и «Истории русской поэзии». Константина Шимкевича не стало осенью 1953 года. В одну из тетрадей с его работами вложена вырезка из дневника Ариадны Любберс:

«В субботу сентября, 17го дня Поэт Де Бержерак убит рукой злодея»¹¹⁹. Около 2 часов ночи умер мой папочка, я ему живому обещала не плакать, а сейчас изливаюсь... и это свыше моих сил. Умер он на боевом посту, нес дрова, для своих дур неблагодарных, упал где-то в 4ом часу а я его нашла в 7 веч. с храпом и в пене, кровоизлияние в мозг!!! «Там человек сгорел»¹²⁰ (собр. Кураевой).

§2. Юрий Перцович. Сооснователь Кабинета

Юрий Саввич (Юда Ицхокович) Перцович (1902–1987) сыграл важную роль на ранней стадии существования Кабинета, будучи помощником Шимкевича в тот момент, когда учреждение только создавалось. Из всех сотрудников Кабинета ему выпала самая насыщенная и продолжительная жизнь в литературе: хоть он и не оказался сколько-нибудь известным писателем или критиком, однако в его судьбе отражаются сразу многие сюжеты советской истории культуры, поэтому жизнеописание Перцовича интересно и вне основного сюжета диссертации. В отличие от Шимкевича, чья биография реконструируется в основном по официальным документам,

¹¹⁸ Сохранились две справки 1949 года с разрешением Марии Любберс торговать овощами и цветами со своего огорода «для окончания достройки дома» [КШ].

¹¹⁹ Переиначенная цитата из пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» — В. О.

¹²⁰ Из стихотворения Фета «Когда читала ты мучительные строки» — В. О.

жизнь Перцовича рассказана от первого лица в объемном мемуарном эпистолярном сочинении, сохранившемся в личном фонде Перцовича в РО РНБ. Пусть в ряде случаев его письма не верифицируемы по другим источникам и, учитывая ретроспективный характер воспоминаний, не вполне достоверны, но они являются харизматичным свидетельством долгожителя своего века, поэтому обильно цитируются в настоящем параграфе.

Родился Перцович в марте (в документах встречаются числа 18 и 23) 1902 года в Новороссийске — небольшом городе, но важном черноморском порту. В 1944 году он вспоминал о родителях:

Народив семерых ребят и ожидая восьмого — меня, — они решили, что в Новороссийске нет шапошников и папа будет иметь возможность вести жизнь на более широкую ногу. Трое ребят на руках (четверо последних один за других умерли), четвертый в животе... мама не предполагала, что у меня больше шансов выжить, чем у тех, кто не пожелал или не сумел этого до меня. Но я родился — на пароходе в Новороссийском порту. И я остался — вопреки тому, что в Новороссийске оказалось вполне достаточно шапошников помимо моего бедного родителя [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 332. Л. 1]¹²¹.

Культурным центром Новороссийск не был, однако в 1916 директором местной мужской гимназии, где в это время учился Перцович, стал поэт Евгений Архиппов, почитатель Иннокентия Анненского, чью первую посмертную библиографию он составил. Архиппов состоял в активной переписке со многими литераторами, тонко разбирался в поэзии, был незаурядной личностью, вокруг которой в Новороссийске сложилось сообщество друзей и учеников. Учитель недолюбливал Перцовича [Архиппов 2016: II, 211, 227; Усов 2011: II, 336, 389, 500], однако тот все равно вошел в его круг, особенно близок был с дочерью и женой поэта. Влияние Архиппова на Перцовича было колоссальным — 60 лет спустя он упоминал его как «человека, определившего мои вкусы, взгляды, и весь жизненный путь» [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 333. Л. 2]. Архиппов активно насаждал именно модернистскую культуру — Перцович вспоминал, что его гимназический семинар, посвященный символистам, был организован «в противовес другому — Вартминского, на котором изучалась классическая реалистическая струя русской литературы» [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 333. Л. 4]. Отвечая на это письмо, дочь

¹²¹ Из разных сведений о семье уместно процитировать емкое изложение из официальной автобиографии Перцовича 1933 года: «Я родился в 1902 году, в семье шапошника в Новороссийске. Отец в этом году переехал из Полтавской губернии и первое время сильно нуждался. Из восьми детей в те годы умерло четыре. Он шил шапки и относил их торговкам на базаре. Потом поступил к хозяину в мастерскую, потом стал у него приказчиком. В революцию он был кустарем, сначала занимался старым ремеслом, потом, по старости, перешел на другое — пересыпал щелочь из мешков в пакетики и продавал их. Он умер в 1931 году. Через полгода умерла мать. Из всех его детей только мне, младшему, он имел возможность дать образование. Одна из сестер моих, старшая, вышла замуж за наборщика, другая за фотографа. Брат — часовщик» [ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 104295. Л. 2].

поэта рассказывала: «Я хорошо помню как папа и Павел Александрович <Вартминский> спорили о Л. Толстом: держали др. др-га за пуговицу и спорили выставив бороды... Папа против Толстого (он признавал только А. Конст. Толстого) — а Павел Ал<ександрови>ч — за» [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 416]. Еще в одном письме к Ирине Дьяковой-Архипповой Перцович вспоминал: «И мама, и папа, и Грин, и Ахматова, и Мейерхольд, и Алперсы — все были живы, и все рядом. С одними только что виделись, других можно было взять с папиной книжной полки и восторженно прочитать. Папе писали Андрей Звенигородский, и Усов, и Блок. Маме — Розанов и Блок» [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 333. Л. 2]. Дочь Архиппова вторила Перцовичу: «Я помню, Папа переписывался с Д. С. Усовым, Блоком, Черубиной де Габриак — и — не хотел их видеть. Считал, что общения в письмах — достаточно. Не обязательно видеться...» [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 416]. Во время Гражданской войны в городе оказались многие культурные деятели, о которых Перцович вспоминал: «Меня волнует Новороссийск нашей юности, а в нем папа и мама, игравшие такую роль в нашем становлении — всех, кого ты и я помним. Будь у меня дар и силы, я написал бы повесть о благодатном оазисе духовной культуры, возникшем в портовом, торговом, мещанском городке на переломе двух эпох. Папа, мама, Мейерхольд, Алперсы, Волошин, все, кого занесло в эти годы в Новороссийск, предстали бы в нем своими судьбами среди поворота в судьбе страны и ее народа» [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 333. Л. 4]. Такой повести Перцович, увы, не оставил, однако некоторые ее фрагменты могут быть воссозданы благодаря архиву.

Так, упоминания Мейерхольда неслучайны — режиссер недолго жил в Новороссийске во время Гражданской войны, и юный Перцович был с ним знаком. Спустя десятилетия он написал об этих встречах небольшой мемуарный очерк для газеты «Новороссийский рабочий» [Перцович 1981], эта малодоступная публикация и вошла в библиографии о Мейерхольде [Белогурова 2019]. Однако печатная версия статьи сильно сокращена и невыгодно стилистически отредактирована. Полная версия подготовлена к отдельной публикации, поэтому здесь стоит ограничиться автопересказом статьи в письме Перцовича ко Льву Арнштаму:

Всеволода Эмильевича помню в краткий промежуток его жизни, о котором никто кроме меня, пожалуй, не расскажет. Это было в Новороссийске, в двадцатом году, перед уходом белых. Он был арестован, сидел в подвале особого отдела и за несколько дней до того, как с гор спустились «зеленые», а за ними красные, следовательно, который вел его дело и который был его страстным поклонником в театре, сказал ему, что отпускает его на поруки, и чтоб он спрятался повернее, потому что группа белых офицеров пыталась его пристрелить. В Новороссийске в это время выходили малым форматом все центральные газеты — и в них то и дело появлялись заметки о красном режиссере Мейерхольде, с которым давно пора покончить. Трое суток Мейерхольд провел в нашей квартире, а когда пришли красные, стал ведать отделом ИЗО в Ревкоме, где Лито возглавлял Гладков, где чем-то руководил поэт Рославлев. Мейерхольд объявил, совершенно по-

маяковски, приказ по армии искусств, который обязывал всех, кто имеет отношение к театру, явиться к 9 ноль ноль и зарегистрироваться. Он устроил грандиозное, невиданное в масштабах Новороссийска шествие грузиков на тему «мировые революции», на которых актеры, переодетые Спартакими, Робеспьерами и т. п., разыгрывали мимические сцены и выкрикивали лозунги... Октябрьской революции. В течение месяца он съел весь бюджет Ревкома. Я служил в этом Изо (первая статья в анкете), инструктором — никто не знал, чего именно, собираясь ехать в Ростов учиться, и Вс. Э. помог мне выехать, составив странную командировку «выяснить разницу между культ- и политпросветом». Дом в Ростове, где помещался областной отдел искусств, принадлежал в свое время брату Вс. Э. — Эм. Эм., крупному маслоделу, которому я должен был передать привет. Ему оставили одну комнату — столовую, огромную, со столом, за которым в свое время садилось, вероятно, человек тридцать. Он сидел у этого стола в глубоком вольтеровском кресле. Перед ним стоял кувшин с молоком и свеча. Я рассказал ему о брате, и он в свою очередь просил передать ему, чтоб не зарывался: «сегодня красные, завтра опять белые». Вс. Э. сказал на это, когда я вернулся, «Что же, все равно на какой веревке повесят — длинной или короткой».

Он жил тогда еще с первой женой — Ольгой Мих. и дочерьми — Таней и Ириной. Старшая, Маруся, была замужем за мелким виноделом в Абрау-Дюрсо. Тане было лет 18 и она ходила с наганом под белой девичьей блузкой арестовывать беляков. Вышла замуж за чекиста, не из <нрзб>. Жила тяжело, недолго и умерла на побережье¹²². Ирине было лет 14, она была тонкой, очаровательной девочкой с лицом дев Модильяни. Когда я прочел о том, как Вы встретились через десятилетия с женщиной, в которую когда-то влюбились, я сразу вспомнил Ирину Меркурьеву — обрюзгшую, безразмерную и злую старуху, к которой не захотелось мне идти, чтобы передать ей афиши 18–20 гг. — о постановках ее отца. Ведь и я гимназистом был в нее влюблен.

Мейерхольд ставил в Новороссийском Театре «Нору» Ибсена, «Скупого» Мольера и ряд других пьес, совершенно подавив воображение провинциалов. Он создал студию, и я помню большое фойе кинотеатра, в котором вдоль стен сидели дети шапошников и жестянщиков, алчущие слова, а он стоял в центре, опираясь на толстую палку, и требовал, чтобы ему, по уроку, сделали правильные смысловые ударения в строке «Я вам пишу, чего же боле». Или стучал палкой по полу и чертил фигуры, объясняя разницу между ритмом и метром.

В Новороссийске жила семья Алперсов (отец — композитор, дочь Вера — преподавала ритмику, Сергея — пианиста, Вы знаете, Бориса — ставшего д-ром искусствования — тоже).

К сожалению, у меня не сохранился листок, на котором каждый из них, в порядке ответа на мой вопрос, куда идти учиться, каждый перефразировал Верлена,

Сергей — *de la musique avant toute chose*

et tout le reste est littérature

Вера — *du rythme, —*

Борис (он тогда писал стихи) — *du poésie...*

a Мейерхольд, естественно, *du théâtre avant toute chose.*

¹²² Татьяна Мейерхольд (Соловьева) умерла в 1986 году, немногим раньше Перцовича. Узница лагерей. Ее муж — Алексей Петрович Воробьев, инженер.

Позже, уже будучи в Л<енингра>де, я вдруг узнал, что Вс. Э. живет под моей комнатой, я пришел к нему, меня встретила Зинаида Райх, она была не в настроении. Потом вышел он, и я как-то сразу почувствовал, что атмосфера в этом доме прямо противоположна той, которую я знал в Новороссийске [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 319. Л. 18 об.–20]¹²³.

Перцович упоминает, что он планировал стать ростовским студентом, но эта попытка завершилась неудачей, поэтому в 1921 году он поступил в университет в Краснодаре. В это время там жила Елизавета Дмитриева (Васильева), прославившаяся в русской поэзии под псевдонимом Черубины де Габриак. Учитель Перцовича Архиппов был поклонником стихов Дмитриевой, и благодаря студенту между Архипповым и Дмитриевой началась бурная переписка [Нешумова 2007: 128–130]¹²⁴. Сложившийся вокруг последней литературный кружок назывался «Птичник» (из его участников позже стал широко известен Самуил Маршак, именно в соавторстве с Дмитриевой начавший писать детские пьесы). Позже Перцович писал коллекционерке Марианне Торбин о «Птичнике», что «был членом этого кружка, наименее творчески активным, и больше внимал, чем выступал» [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 371. Л. 1]. В 1922 году по направлению профсоюза авторов работников, в котором состоял Перцович, он был переведен в Петроградский университет (его студенческое дело с фотографией: [ЦГА СПб. Ф. Р-7240. Оп. 7. Д. 1903]) — так молодой литератор оказался в городе, которым, по позднему признанию, «бредил <...> задолго до того, в школе (гимназии)» [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 376. Л. 1]. В университете он не задержался и был исключен уже в 1923 году. Однако, желая все-таки получить образование, поступил в Институт.

Архив Перцовича, пострадавший в годы блокады, небогат на довоенные документы, но в нем сохранились незаконченный перевод «Рассуждения о методе» Декарта и конспект книги швейцарского философа Адриана Навилля «Nouvelle classification des sciences» [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 21; 22]. Обе работы выполнены в рамках семинара Бориса Энгельгардта с философским и общеэстетическим уклоном, что было характерно для поколения младоформалистов: «Студенты, особенно студенты младших курсов,

¹²³ См. также в письме Елены Бекштрем (Старининой): «Я в Краснодаре появилась осенью 22го года. В Новороссийск я впервые попала весной 21 года. Ни Волошина, ни Рославлева лично не знала, не видела и не помню, рассказывали ли мне о них. Вот рассказы о Мейерхольде помню. Как вечером Над. Сергеевна <Архиппова> гуляла с ним по берегу и, шутя, подталкивала к краю воды, а он сказал: “Бросьте деревенский флирт, давайте перейдем на городской!”» [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 480].

¹²⁴ Ирина Дьякова (Архиппова) писала Перцовичу в 1977 году: «Читала я только что Вен. Каверина “Освещенные окна”. Трилогия, и вот там нашла место про Черубину де Габриак (Нина Габрелян), с которой Папа много переписывался и, кажется, она ему посвятила венки сонетов. Мама помню страшно ревновала. <...> Из-за нее были между папой и мамой трагические и истерические разговоры» [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 416]. См. также [Архиппов 2016: I, 494].

увлекались лекциями Энгельгардта — к неудовольствию наших мэтров» [Гинзбург 1990: 284]. Студенческое дело Перцовича полно просьб освободить от платы за обучение и заявлениями о трудном материальном положении. В одном из заявлений он пишет:

В этом году обстоятельства снова поменялись в худшую сторону. Зарботки минимальные, об этом знают некоторые профессора (Тынянов, Казанский, Балухатый), благодаря которым я получаю время от времени ту или иную литературную работу, — а в академическом отношении этот последний год — самый трудный и напряженный, тем более что мне придется погасить старую академическую задолженность. Эта задолженность образовалась вследствие почти годичного промежутка в занятиях, когда я работал над собираньем полной библиографии М. Горького, которая к настоящему моменту окончена. Начиная работу, я просил Институт считать, что она делается для Института, что тогда же было принято [ЦГАЛИ СПб. Ф. 59. Д. 909. Л. 3].

К тому моменту библиографическая работа, широко развернувшаяся под руководством Балухатого в соответствующем Кабинете, была, пожалуй, самой практически-ориентированной студенческой деятельностью Словесного разряда Института. Перцович активно включился в его работу, публиковал рецензии на различные библиографические издания¹²⁵, а о работе над горьковской библиографией десятилетия спустя он вспоминал так:

Есть в Ленинграде литературовед, член корр. АН, П. Н. Берков. Мы знакомы много лет. Недавно, желая сказать мне приятное, он признался: «А знаете, ведь я начинал как египтолог. А вкусом к библиографии обязан Вам. В 1926 году я прочел Ваш отзыв о книге А. Г. Фомина и так заинтересовался, что тотчас побегал в магазин, купил книгу, и вот видите, стал библиографом».

А мне стало грустно от этого воспоминания, п. ч. сам я стал им по нужде, студентом. С. Д. Балухатый, тоже чл. корр., тогда преподаватель Инст. Истории Искусств, где я учился, платил мне по рублю в день, чтобы я ходил в Публичку и составлял там список произведений Горького. Я просмотрел все журналы и газеты с 90х гг. до 1917-го, лист за листом, и обнаружил ряд рассказов, статей, выступлений, которые Г. то ли не сохранил в своей феноменальной памяти, то ли не счел достойным собрания сочинений. Кроме того я съездил в Тбилиси, наткнулся там в архиве охранки на совершенно неизвестное дело о Г., получил

¹²⁵ Напр., рецензии на «Указатель рецензий на художественную прозу, русскую и переводную, вышедшую в 1926 г.» Г. Ф. Сухова (Ленинградская правда. 16 мая 1928. № 112), «Указатель статей и рецензий на русскую и переводную художественную литературу за 1928 г.» (Звезда. № 12. 1929), «Путеводитель по современной литературе» И. Н. Розанова (Звезда. № 12. 1929). Также стоит отметить, что в приложении к книге В. Саянова «Современные литературные группировки» (Л.: Прибой, 1928) напечатан «Краткий обзор важнейших пособий по современной художественной литературе и критике» за авторством Перцовича, а в приложении к «Современной русской критике» Е. Мустанговой (Л.: Прибой, 1929) напечатана его «Библиография современной русской критики». Историко-литературные штудии Перцовича вылились, например, в публикацию [Перцович 1928].

воспоминания уже умиравшего Пятницкого о том, как он запер Г. и не выпускал его до тех пор, пока он не запишет «Челкаша». Ну и т. д. Получилось объемно и достойно печати. Труд и был напечатан, но имени моего даже непарелью в нем нет. И хотя по тем временам это считалось не весьма корректным, я был молод, в библиографы и литературоведы не собирался, и от души был благодарен «автору» за то, что он поддержал меня в трудные годы [РГАЛИ. Ф. 2996. Оп. 1. Д. 213. Л. 5].

В мемуарах об Институте действительно описывается подобная практика преподавателей, не исключено, что речь здесь идет о случае Перцовича: «...материально большинству жилось трудно: стипендий у нас не было, за обучение надо было платить <...>. Счастливики <из слушателей> становились “неграми” научных работников, подбирая по их заданиям материал для исследований из старой периодики. Эта работа оплачивалась низко, но обеспечивала зачет» [Голицына 1983: 78]. В напечатанной книге имя Перцовича действительно отсутствует [Балухатый 1936].

Скорее всего, в качестве подработки проходил и сбор первых документов для будущего Кабинета современной литературы, в предыдущей главе уже цитировалась дневниковая запись Чуковского от 25 февраля 1926 года: «Пришел очень высокий студент Института истории искусств, за рукописями каких-нибудь писателей, я дал ему рукописи Куприна, Ал. Ремизова, Мандельштама и Мережковского» [Чуковский, 2011–2012: XII, 271]. Речь здесь идет о Перцовиче¹²⁶.

С каждым годом молодой журналист все активнее работал в качестве критика, он стал постоянным автором «Ленинградской правды» и «Звезды»¹²⁷, в 1927 году вступил в Союз писателей. Все это привело к тому, что Перцович ушел с последнего курса Института и начал работать корректором «Ленинградской правды», продолжая публиковать рецензии. Перцович был заметным критиком — в одном из писем тех лет он упоминает о знакомстве и приятельстве с Михаилом Козаковым, Михаилом Слонимским, Марией Шкапской. Уже в конце жизни одну из историй своей литературно-критической молодости он описал в письме к Елене Коган, от которого в архиве сохранился черновик:

¹²⁶ Выдающийся рост Перцовича упоминают практически все его знакомые. Среди многих примеров, см. письмо Елены Бекштрем (Старининой): «Помнишь ли ты, как мы в Новороссийске подолгу бродили, а за нами следовали обожавшие меня собаки с разных дворов, и ты их время от времени обгонял — я об этом сыну рассказывала. И как тебя спросили: “Дяденька, наверху холодно?” И как ты в Краснодаре через всю комнату, не сходя с кровати, ухитрялся поворачивать выключатель» [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 477. Л. 15].

¹²⁷ В ценной биографической справке, которую составила Татьяна Нешумова, указано, что «Печатные выступления Перцовича немногочисленны», и перечислены пять публикаций [Усов 2011: II, 50–51]. Его работа как критика была значительно более активной. Полный список рецензий в «Звезде» см. в [Бенина, Эвентова 2014], газетные рецензии еще ждут своего выявления.

<...> я по какой-то небом посланной ассоциации вспомнил эпизод из своей жизни, относящийся к периоду, когда в 1928 г. в Звезде появляется повесть Б. Лавренева «Гравюра на дереве». Под одним из персонажей откровенно угадывался С. М. Третьяков.

Прочитав эту повесть я напечатал статью «Портрет и пасквиль», где говорилось о том, что в иные времена иные писали используя биографии и внешность объекта доноса писателя для гнусной цели почти незамаскированной <за примерами в ист. лит искать пример доноса мне не понадобилось, п. ч.> в том же №-е была заметка д-ра Б. Эйхенбаума о пасквиле Григоровича на Чернышевского, которого Г. превратил в Чернушкина и обрисовал так, чтобы те, кому следует обратили внимание и сделали выводы.

Статью урезали вдвое, но сгладить главного не смогли остался прямой упрек, звучавший как пощечина Лавреневу, сводившего <sic> личные счеты с Третьяковым (они вместе учились, и там было разное) и сообщавшего в рассказе факты деятельности и высказываний Третьякова на Дальнем востоке, от которых в ту пору ему могло очень не поздоровиться (да так и вышло, в 1939 г. он погиб). Лавренев сделал все, чтобы не было сомнений, что «портрет» им набросан с конкретного лица<, обладавшего «лошадиной мордой»>. Он писал: «у докладчика было...»

Как ни изрезали мою статью, она попала в цель, и раздраженный Лавренев ответил на нее заметкой «Ты сам этого хотел, Жорж Дандэн», где заявил, что писал портрет с меня. Стороны были в очень неравном положении. С одной стороны Лавренев — обласканный Рыковым (поцелуем на сцене театра после «Разлома»), расхваленный газетной критикой, и начинающий никому не ведомый критик, хоть и член Союза Писателей, но из самых незаметных. Так что надо мной и за глаза, и в глаза откровенно посмеивались. Получил? Поделом. Не суйся с неуместными соображениями насчет разницы между портретом и пасквилом. Не проводи параллели между 60-ми и нашим днем.

И вдруг в выходящем тогда журнале «Журналист», появилась статья Д. Заславского, публициста в те годы весьма авторитетного, в которой он так измордовал «запрещенные приемы» Лавренева, не побрезговавшего передержкой чтобы и публику посмешить, и уйти от ответственности за гнусный навет на писателя, драматурга, левовца и вообще порядочного человека, который не то, не так, не там сказал.

Когда Третьякова реабилитировали я получил письмо от его вдовы, как-то узнавшей об этой перепалке, с просьбой прислать ей вырезки этих статей то ли для архива, то ли для освещения этого момента в его биографии, которую она надеялась напечатать. Я послал, что сохранилось [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 340. Л. 3–5]¹²⁸.

Описанная полемика действительно нашла свое место на страницах вечерней «Красной газеты». Перцович, скрывшись за псевдонимом «Большой Юс» и сославшись на статью Эйхенбаума «Л. Толстой в «Современнике»» («Звезда» 1928, № 10), пишет:

¹²⁸ Письма вдовы Третьякова сохранились: [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 485].

Что руководило Лавреневым? «Чувство благородного негодования»? Или Семен Поляков¹²⁹ написал на него пародийную рецензию? Не знаю и не хочу узнавать. Так или иначе, Лавренев позволил себе пасквиль, и не нашлось у него ни одного друга, который подсказал бы ему, что суд истории придет для Лавренева, как он пришел для Григоровича, что в советской литературе далеко не «все дозволено». И, прежде всего, не дозволено делать литературу орудием в руках пасквилянтов. Не нашлось друга, который настоял бы на полном раскрытии фамилии этого «выдуманного» героя, потребовал от Лавренева принять на себя ответственность за... поступок. Нужно было растолковать Лавреневу, что, если, по его убеждению, Поляков заслуживал разоблачения и наказания, — достоинство человека и литератора обязывало его, Лавренева, выступить смелой, открытой статьей. Только так. Так поступали в 50-х годах разночинцы, так поступают теперь большевики.

А за удар из-за угла — кроют [*Перцович* 1928: 3].

Уже через десять дней в газете был опубликован и развернутый ответ Лавренева, в котором он напал на Перцовича: «Юс в припадке “гражданской честности” обвинил меня в трусости, пасквилянстве, “потребовал” раскрыть “действительную фамилию” одного из персонажей моей повести, выступить против него “с открытой и смелой статьей и добиться для него наказания”. Храбрый и честный Юс, выступая с такой статьей, не “раскрыл своей действительной фамилии”» [Лавренев 1928]. Лавренев указывал, что из ста страниц повести Полякову посвящено только три, «причем вопрос идет не столько о самом человеке, сколько о любопытном общественно-литературном явлении наших дней, когда трехдневная и смердящая футуристская теория о “сбросе Пушкина и Достоевского с парохода современности” насильственно воскрешается и подновляется, в виде теории об упразднении художественной прозы и замены ее протоколом и фоторепортажем». Не называя «ЛЕФ», Третьякова или «литературу факта», Лавренев косвенно признает, что целит в них, и далее указывает, что ленинградский формализм — явление того же порядка:

После выхода «Скандалиста» В. А. Каверина Юс Большой не требовал у автора раскрыть псевдонимы его героев, хотя среди них были четкие портреты некоторых проповедников тех же теорий, о которых речь идет в моей повести. Может быть, Юс не заметил «Скандалиста»? Заметил. Дело в другом. В. А. Каверин не ставил себе задачей отметить реакционность названных теорий и его портреты взяты более в обстановке интимно-семейных анекдотов.

Здесь явно подразумевается Шкловский, который был выведен в романе Каверина, а также сотрудничал с «ЛЕФом». Лавренев не только намекает на институциональную привязку Перцовича, но и указывает, что критик был известен своей приверженностью к формалистским кругам: «Два слова о моей “трусости”. Юс Большой скрыл свое имя. Уважая чужие принципы, я не требую от него честности. Имя его, повторяю, достаточно известно, как

¹²⁹ Персонаж, в котором узнается Третьяков — В. О.

хвостиста мирно помирающих — неофутуризма и футуроформализма. Вот почему он так вознегодовал. И он учит “большевистским” путем разрешения общественных проблем». Наконец, в конце статьи приводя слова из собственной повести, процитированные Перцовичем: «длинное, унылое, как морда шахтерской лошади, лицо... с тонкими и злыми губами старой ханжи и сплетницы и т. д.», он объявляет, что эти слова воскрешают в памяти «унылую фигуру Юса Большого». Все это более чем ярко характеризует не только взгляды молодого критика, но и его репутацию в ленинградских литературных кругах — так, например, этот эпизод попал в письмо Эйхенбаума к Шкловскому: «Говорят, что моя книга о Толстом вышла очень злободневной — много аналогий. У нас здесь вся литература занялась изображением писателей. Лавренев описал С. Третьякова — в “Красн<ой>” “Газ<ете>”, была по этому поводу перепалка между автором и Перцович<ем>, который стал на защиту Третьякова» [Эйхенбаум 1987а].

Через год работы корректором, вскоре после истории с Лавреневым, Перцович ушел из газеты. Трудно понять мотивировку его увольнения — в письме к Горькому (см. об этом эпизоде ниже) он описывал этот период так:

Я работал в «Лен. Правде» литературным рецензентом и корректором. Может быть тут есть доля смешного, но именно в эти ночи, правя корректуру, я понял, что политические и экономические статьи, которые сейчас наберут и отпечатают, утром разлетятся по адресам не только почтовым, но и с о ц и а л ь н ы м. Я понял, что у моих рецензий нет социального адреса и что при всей своей внешней грамотности они лишены основного — живой и конкретной связи между автором и читателем. Я разбирал книги рабочих и книги о рабочих, имея о рабочих представление только из книг и газет. Эта простая идея была мне таким открытием, что на следующий же день я отправился на завод. У меня были достаточные знакомства, чтобы можно было идти на завод, обеспечив себя договором с издательством. Но мне казалось, что надо идти обыкновенным рабочим, если хочешь все по-настоящему увидеть и оценить. Мне было все равно куда идти, и по чистой случайности я попал на завод им. Сталина [ЦГАИПД СПб. Ф. Р-1728. Оп. 1. Д. 104295. Л. 17].

Процитированный документ крайне идеологичен, Перцович явно лукавит, но других сведений об этом периоде пока не обнаружено.

В 1930 году он становится токарем, однако, несмотря на желание быть «обыкновенным рабочим», уже вскоре возвращается к интеллектуальной работе, сближаясь с партийной ячейкой завода. В соавторстве с другими образованными рабочими он пишет монтажную документальную книгу «Две ударных» [Лаврухин 1932] (среди ее участников стоит выделить Аркадия Аптекмана, в будущем — ленинградского литературного деятеля и близкого друга Перцовича), а затем становится редактором заводской стенгазеты. В 1932 году его назначают на идеологически важную должность редактора сборника об истории завода, в связи с чем он вступает в партию. В процессе работы над сборником у Перцовича разгорелся конфликт с руководством партячейки, из-за чего он оказался на грани исключения из партии. На фоне скандала Перцович ненадолго попал в психиат-

рическую больницу, откуда, в поисках защитника, написал подробное письмо Максиму Горькому с изложением произошедшего (о Горьком как главе советского культурного патронажа см. [Фицпатрик 2011: 216]). Этому документу и связанному с ним сюжету из истории практик советского субъекта посвящена отдельная публикация [Отяковский 2022], поэтому здесь уместно процитировать лишь фрагмент письма, в котором Перцович вспоминает об институтских годах:

Вам ли, Алексей Максимович, я должен рассказывать о роли формалистов. Больно сейчас признаваться в этом, но ведь гражданская война и нэп, и борьба партии с оппозициями, и все, чем жила страна в первое десятилетие революции, — все это прошло, в сущности, мимо, внутренне затрагивая и интересуя постольку, поскольку это находило себе отражение в художественной литературе. Да и эти рамки суживались, потому что, разбирая классиков, снисходя до футуристов и серапионов, в институте полагали дурным тоном ставить темы пролетарской литературы. А если и ставились раз в году такие доклады профессурой и аспирантами, то ведь только для того, чтобы с доступным остроумием высмеять, поиздеваться над художественной беспомощностью пролетарских писателей.

Что-то я не понимал тогда, что именно не нравилось мне в этой атмосфере, портило отношения со студентами, державшими себя лояльнее монархов. Я делал в своих семинарских докладах наивные попытки выбиться куда-то в сторону. Эти попытки вызвали иронические усмешки у преподавателей и тащили прочь с рельс благополучного академического ученичества, по которым отлично можно было докатиться до аспирантуры. Я ушел с последнего курса, не умея ответить себе четко почему, но с чувством глубокой неудовлетворенности [ЦГАИПД СПб. Ф. Р-1728В. Оп. 1. Д. 104295. Л. 16].

Скорее всего, Перцович лукавит — весь его эпистолярный свидетельствует об ироничном отношении к соцреалистической культуре, а обида на профессию Института не мешала ему опираться на их построения в своих рецензиях, как не мешала и в старости вспоминать о них с душевной теплотой¹³⁰.

¹³⁰ Так, в письме ко Льву Арнштаму 1978 года Перцовичем упоминаются «мои учителя — Тынянов и Томашевский, которых нельзя упрекнуть в недостаточном знании эпохи, судеб и жизненных отношений современников» [РГАЛИ. Ф. 2996. Оп. 1. Д. 213. Л. 108], а за год до этого он отвечал на письмо Георгия Чаброва: «Вы угадали, я давно, уже больше полувека, с момента поступления на литфак Ин-та истории искусств, где был пестован Жирмунским, Томашевским, Тыняновым, Эйхенбаумом и иже с ними, живу в Ленинграде» [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 376. Л. 1]. См. также в письме от 1978 года к Ире Петровской: «В студенческие годы я прочел в каком-то курсе психиатрии (Бехтерева, Корсакова, Осипова — не помню), что, теряя половую силу, мужчина теряет способность творить, и творческое долголетие Гете, Толстого, Франса, мол объясняется их физической бодростью. Так ли это? И связано ли с этим замечание Ю. Тынянова (в разговоре), что и переход от стиха к прозе, и преждевременная “смерть каждого поэта неслучайна, а идет от страха или голоса из подсознания, что мол — ты сказал все, и больше уже не сможешь!”» [Там же, д. 358. Л. 3].

В результате конфликта на заводе Перцович был оставлен в партии, однако переведен из Ленинграда в Хибиногорск, куда его вызвал любимый заводской начальник Семячкин. Туда он прибыл 14 июня 1934 года, его задачей была работа над книгой по истории Хибиногорска [ЦГАИПД СПб. Ф. Р-1728В. Оп. 1. Д. 104295. Л. 14]¹³¹. Вскоре, однако, для него нашлась более подходящая должность.

1 декабря 1934 года был убит Киров, и через две недели Хибиногорск был переименован в Кировск, а уже в 1935 году Перцович стал директором нового музея, посвященного памяти вождя, подробнее см. [Химчук 2010: 230–231]. Шесть лет, проведенные на этой должности, оказались весьма плодотворными, о чем он позже вспоминал:

В Хибинах я собрал картотеку из 7000 записей, много уникальных документов и сделал ряд обзоров по истории края. И местные, и столичные аспиранты насочиняли по ним сходные как северные болота и такие же унылые диссертации. Время было подходящее — Киров на памяти, Высшая партшкола срочно выпекала поток несчетных секретарей по пропаганде «со званием». Я был молод, все еще молод и щедр, и мог бы добавить к тому, что они нацитировали, еще дважды столько. Увы, это не отразилось в их трудах [РГАЛИ. Ф. 2996. Оп. 1. Д. 213. Л. 6].

Мне случилось, будучи там Зав. музеем, пройти на Княжью избу, для чего надо было пересечь десятки километров болотного леса по тропам, с проводником. Там, в церкви XVI века, я увидел иконостас, на котором так потемнели краски, что ни единого лика нельзя было разобрать, люди по памяти крестились на нужного святого. В подвале церкви свалены были в кучу десятки икон, маленьких и почти в мой рост, сундуки с церковной утварью и рукописными книгами [РГАЛИ. Ф. 2996. Оп. 1. Д. 213. Л. 78].

Согласно биографической справке, которую уже после смерти Перцовича его сын отправил в Историко-краеведческий музей гор. Кировска [ИКМК. ОДВ-3084. Л. 1–2]¹³², он также был ответственным секретарем газеты «Кировский рабочий», совмещая, таким образом, сразу две идеологические должности. В архиве также сохранилось письмо от Федина, который писал

¹³¹ См.: «30 июля 1934 г. по инициативе Хибиногорского горкома ВКП (б) впервые собралась комиссия по собиранию и подготовке материалов для “Истории Хибиногорска”, руководством к действию которой стал лозунг “Напишем книгу о великом покорении тундры!”. <...> Постановлением Ленобкома председателем комиссии утвержден секретарь Хибиногорского горкома ВКП(б) П. П. Семячкин, ответственным секретарем и организатором сбора материалов — Ю. И. <sic> Перцович. Усилиями краеведов-подвижников создана библиография Хибин до 1934 г., отражающая жизнь района во всех ее проявлениях; собрана обширная фототека <...>, осуществлена запись воспоминаний пионеров освоения Кольского Севера» [Дюжилов 2012: 68].

¹³² В справке допущен ряд хронологических ошибок и мелких фактических несостыковок. Благодарю директора музея и главного хранителя за любезно предоставленные материалы.

сценарий «Киров» и просил помощи в сборе материалов, связанных с бывшим Хибиногорском [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 489].

Годы Большого террора не обошли Перцовича стороной — в начале марта 1938 года он был арестован, подписал на себя ложные показания, однако после двух недель ареста столь же неожиданно был отпущен. Обвинения с него были сняты, и он вернулся к партийной работе (подробности см. ниже).

С началом войны Перцович продолжил восхождение по партийной линии, став замполитруком одного из батальонов Карело-Мурманского фронта. Именно к этому времени относится свидетельство о том, что он не изменил эстетическим идеалам своей юности — отправляя в 1944 году любовное письмо, он его заканчивает стихотворением Анненского «Среди миров» [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 332. Л. 2 об.].

Уже в старости, в 1982 году, Перцович ответил на поздравительное письмо мурманских школьников, написав небольшой мемуар о военных годах. Письмо не описывает работу замполитрука, но дает представление о том, в какой обстановке прошли военные годы бывшего ученика формалистов:

Наш I ОИАБ (Отдельный инженерно-аэродромный батальон, 2-го района авиабазирования 7-й воздушной армии), в котором я был с первого и до последнего дня войны зам. командира по политчасти, в течение пяти лет побывал на многих участках фронта, всюду, где требовалось срочно построить поле для взлета и посадки любых типов самолетов. В условиях Карелии и Мурмана, где каждый метр поверхности покрыт либо гранитом, либо болотом, выполнять эту поставленную нам задачу было очень непросто. Но с гордостью за наших бойцов и командиров могу сказать, что они всегда с ней справлялись. Надо напомнить, что они трудились с повседневным и ежечасным риском для жизни, потому что враг искал, находил и бомбил аэродромы нещадно, большими бомбами, пяти-сотками, чтобы ямы от них были более глубокими, чтобы их нелегко было выровнять. А ведь на взлетном поле и малой ямки довольно, чтобы при взлете или посадке самолет перевернулся.

На передней линии фронта, от которой мы находились, как правило, не дальше нескольких километров (это называлось «аэродромы подскока») солдаты находились в укрытиях, окопах, землянках. Война в наших краях долго была оборонительной, до «десятого удара», когда и мы пошли в наступление. А солдаты нашего батальона находились на открытом пространстве огромного поля, налетаая внезапно из-за леса, проклятые стервятники били из пулеметов, заходя снова и снова.

Так мы и жили в те дни, в постоянном перебазировании, то всем батальоном, то ротами, разбросанными тут и там. А ведь люди оставались людьми, не все были молоды, не все здоровы. Помню старого бойца, который, возвращаясь из медчасти, с грустью сказал мне: «Вот был у доктора, он послушал, постучал, да и говорит: “что ж, сердце не мотор, запчастей на него не отпущено”». Меня тогда поразило, что этот человек не только не впал в уныние, не только не подумал проситься с фронта куда-нибудь, где потише, побезопаснее, но еще шутил, что-то ему понравилось в сравнении сердца с мотором, которому, однако, положено иметь запчасти. Жалею, что память не сохранила мне имени

этого мужественного воина, как и многих других, так же скромно и жертвенно выполнявших свой долг перед Родиной.

Мы передвигались не по прямой, а зигзагами и с возвратами, и теперь, глядя на карту, на линию железной дороги, я не берусь точно сказать, где и когда были. Но точки, хоть далеко не все, могу назвать, начиная с Лодейного поля на север: Медвежегорск, Кемь, Беломорск, Лоухи, Кандалакша, Алакурти, Африканда (с нее мы начали), Шонгуй, Мурмаши, Кола, Мурманск, Роста, «Долина смерти» (по дороге на Луостари), Киркенес, Норвегия.

В одном месте надо было создать дощатый аэродром прямо на болоте (Беломорск). Как он держал на себе самолеты, и сейчас не могу поверить. А держал, хоть бы что! В другом (Лоухи), строили ледовый, скрытно, ночью. Но всю ночь над нами летали, бросая зажигательные бомбы-вспышки, фашистские разведчики, а их ловили в лучах прожекторов наши истребители и зенитки, и гнали прочь, а то и сбивали.

Но может быть самый трудный аэродром был тот, который наш батальон строил в Алакурти. Там, в то время, помнится мне густой лес, пересеченный оврагами. Со дна и до покрытия площадки тянулись высоко вверх перекрестия бревен, в два, или может быть, три этажа. Не знаю, удержалось ли это чудо до конца войны, и как оно теперь выглядит [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 327].

Перцович закончил войну в звании майора, и перед ним встала дилемма — возвращаться ли в Кировск. Судя по письму от управления кадров, он обладал определенной свободой: «По демобилизации же Вас из армии мы предоставим Вам работу в музее той области, где бы Вы хотели работать» [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 430. Л. 1]. Московская подруга Перцовича Мария Комарова, работавшая в музейном отделе Наркомпроса, старалась помочь ему с выбором. Узнав, что у него появились связи с краеведческим музеем Мурманска, она его отговаривала: «Ни в коем случае не давай согласия на Мурманск. Ничего не может быть хуже. Если уж идти на эту работу, то надо выбирать совсем другое» [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 429. Л. 32]. В июле 1945-го, когда приближалась демобилизация Перцовича, она предложила ему «совсем другое»:

Юрий Заполярный,

Если ты серьезно решил снова заниматься музеями, то я уже нашла тебе место. Вчера, т. е. 2/VII, позвонила Пушкиной (она нач. отд. местн. музеев) и, передав твои приветы (не подведи) спросила, чем она может тебя порадовать. Посоветовавшись, решили. Иди директором Лермонтовского музея в Тарханах (Пензенская обл., Чембарский р-н, найди на карте).

Какие тут «за»? Прежде всего музей на госбюджете, значит, независимость от местной ситуации, приличный оклад (2000, кажется), литературное питание и т. д. <...> Наконец, ты, как ни вертись, а литературу я тебе бросить не позволю, иначе заем остатком зубов своих окороненных и залатанных. Возможность исследовательской работы там будет, издавать <sic> тоже [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 429. Л.37].

Увы, объединить любовь к литературе и склонность к музейной работе у Перцовича не получилось — полтора месяца спустя Комарова сообщала:

Дорогой Юра, как ни печально, приходится сообщить, что вся наша «тархана» рухнула. Я сначала не могла понять, в чем тут дело, а вчера убедилась в дьявольской настойчивости мурманского директора. Он сейчас в Москве и добивается твоего отзыва. У него, по-видимому, ничего не выходит, но он все-таки в значительной степени сорвал дело. Есть еще обстоятельства, о которых я не могу тебе написать [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 429. Л. 45]¹³³.

В итоге Перцович оказался именно в Мурманске, где ему было поручено создание «Музея Оборона Заполярья». Судьба этого проекта с самого зарождения подробно описана краеведами [Пономарев 2020], поэтому стоит ограничиться ретроспективной цитатой самого Перцовича: «После войны, в 1945 г. памятливые мурманские секретари отозвали меня туда же “на год-другой” строить экспозицию Музея Отечественной войны. Я застрял там на пять и сидел бы м. б. дольше, если бы на последних всплесках космополитизма от меня не избавили бы и музей, и партию» [РГАЛИ. Ф. 2996. Оп. 1. Д. 213. Л. 6 об.].

Действительно, в начале 1951 года Перцович был исключен из партии. Более того, он был вынужден уехать из Мурманска — так бывший директор музея с семьей оказался в Новгороде, где он долго и безуспешно искал работу. В новой критической ситуации Перцович отправил большое письмо на имя Сталина, где рассказал о причинах его несправедливого исключения из партии, мотивированного критикой партийной организации, которую он допускал в частных разговорах. Отдельный интерес представляет рассказ Перцовича о том, как он пытался добиться восстановления:

Выяснилось также, со слов т. Леонова, что в результате проверки ряд обвинений, послуживших мотивами для исключения меня из Партии, отпадает совсем или меньше меня порочит, чем этого хотелось бы некоторым членам бюро Мурманского Обкома ВКП(б).

Но не успел я этому порадоваться, как т. Леонов добавил, что хотя прежние обвинения отпадают, он видит за мной еще более серьезную вину: будучи в начале марта 1938 г. арестован органами НКВД, я подписал нелепое на себя показание.

«Правда», сказал т. Леонов, «Вы никого в нем не оговорили, но на себя возвели дикую чушь. Этого нельзя ни объяснить, ни оправдать». Затем т. Леонов привел мне в пример стойкость беспартийного ученого, замученного гестаповцами в Германии. Но ведь он знал заранее, что его будут мучить потому, что он

¹³³ Не исключено, что под «неудобными обстоятельствами» подразумевался начинающийся уже в военные годы сталинский антисемитизм. В начале 1950 года Елена Пушкина писала Перцовичу о том, что он не забыт, и снова обещала место директора Лермонтовского музея [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 455. Л. 1], но, видимо, последовавшее исключение Перцовича из партии закрыло ему дорогу к административным должностям.

был Советский человек, попавший к врагам-фашистам. А меня арестовала Советская разведка и от имени Советской власти предъявляла мне обвинение в том, что я враг народа. Все в моем сознании перевернулось. Мои следователи не скрывали от меня, что не придадут никакого значения показаниям. Они придумывали при мне вслух многочисленные варианты моих «вражеских замыслов», каждый день их меняя и делая все более фантастическими. В конце концов я решил подписать показание, — не потому, что сдался морально или физически, а именно потому, что оно должно было представиться дикой чушью всякому здравомыслящему человеку и никого, кроме меня не порочило. <...>

Под арестом я был очень недолго. Спустя 18 дней, прекратив следствие, меня освободили. В местной газете напечатали, что арест явился следствием клеветнического навета, вернули мне партийный билет и восстановили в должности [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 369. Л. 1–2]¹³⁴.

Скорее всего, при подготовке этого послания Перцович держал в уме успех своего демарша двадцатилетней давности с письмом на имя Горького. Рассказ, адресованный Сталину, довольно откровенен (вплоть до намека на пытки — «не сдался физически»), но судить о его достоверности невозможно из-за отсутствия дополнительных источников. Никакой реакции на письмо не последовало.

К новгородскому периоду относятся единственные обнаруженные мемуары о Перцовиче — ему посвящено несколько страниц в книге местного литератора Сергея Мантейфеля, родители которого работали в новгородском музее. Он был еще ребенком, когда Перцович приходил к ним в гости, поэтому в воспоминаниях отражены только самые общие черты:

О Юрии Саввиче как-то особенно отчетливо помнилось — петербуржец! Прост и доступен? Да. Но в простоте — а сколько же изящества, естественного умения быть вежливым и бесхитростным в общении, эдакой старопетербургской воспитанности и врожденной культуры. Удивительный дар — обладая всем этим — и быть милым для ребенка, втайне ликующего от встречи — будто с желанным другом [Мантейфель 2010: 155].

Пятидесятилетний Перцович оказался безработным и беспартийным — сам он позже вспоминал этот период в самых черных красках:

Уехал в Новгород, где не был допущен даже рабочим на раскопки Арциховского — очень бдительны были начальники кадров. Но после кучи lamentаций во все адреса был все же милостиво допущен на должность фотографа на базаре в одном из самых дальних углов Новгородской земли. Там был немедленно и жестоко избит местными кулуклановцами, вдребезги разбившими об меня единственное мое имущество — фотоаппарат со штативом. Пряча лицо, я сбежал, и в поезде, по радио, услышал, что Берия пал [РГАЛИ. Ф. 2996. Оп. 1. Д. 213. Л. 6 об.].

¹³⁴ В этом письме также мельком упоминается, что Перцович ненадолго был арестован в 1928 году за оскорбление, но почти сразу отпущен.

Конец сталинизма означал для Перцовича возможность вернуться к интеллектуальной работе. Из Новгорода он отправился в Ленинград, где вскоре вернулся к занятию, которому обучился еще в институтские годы — он стал библиографом в Публичной библиотеке.

Новой должности он отдался всецело и окончательно — библиографом Перцович пробудет до конца жизни. Он редактирует разнообразные издания, иногда публикуется в профессиональных журналах и сборниках («Книга: исследования и материалы», «Советская библиография», «В мире книг» и др.), много лет вынашивает замысел словаря «Деятели русской книги», по поводу которого активно переписывается с библиотекарями и библиографами всего СССР. В 1979 году библиограф Галина Озерова упоминала в частном письме: «Перцович действительно приятный человек и очень знающий в своей области, но с глобальными идеями, трудно осуществимыми» [Коган 2013: 62].

Отдельного упоминания заслуживает длившаяся несколько лет работа над известным справочником Николая Смирнова-Сокольского «Русские литературные альманахи и сборники XVIII–XIX вв.». Перцович активно помогал в составлении справочника на всех стадиях работы, которая завершилась уже после смерти автора (выпущена книга была вдовой Смирнова-Сокольского). Несколько преувеличивая свою роль, Перцович писал конфиденнту:

Вернувшись в Л<енингра>д, помотавшись по углам до возврата права на постоянную прописку, я работал, до пенсии, в Публичной библиотеке, где попутно, по тому же методу привидений составил для Смирнова-Сокольского библиографию русских литературных альманахов и сборников. С.-С. был махровым высококвалифицированным жидоедом, но ко мне относился нежно, даже влюбленно, и платил, вечная ему память, в срок и по совести, т. е. по 70 коп. в час, столько, сколько я получал по зарплате в б<иблите>ке. Тут мне впервые повезло. Перед внезапной своей кончиной он успел набросать предисловие, из которого следовало, что «помощь в описании ряда изданий... оказал автору Ю. С. Перцович».

В архиве Публички хранится мой экземпляр рукописи этого труда. Когда-нибудь монах трудолюбивый сравнит его с изданной книгой и либо смахнет слезу, либо в досаде за меня плевком погасит свою лампаду [РГАЛИ. Ф. 2996. Оп. 1. Д. 213. Л. 6–7].

В фонде Перцовича рукопись сборника отсутствует, однако его обширная переписка со Смирновым-Сокольским и его вдовой раскрывает детали работы над известным изданием — описание судьбы этой книги может стать предметом отдельного исследования.

К позднему, сравнительно стабильному периоду относится наибольшее количество сохранившихся писем Перцовича. Его эпистолярный — далеко не только деловой, но и дружески-доверительный. Еще в 1950 году его находит подруга краснодарской юности, одна из участниц «Птичника» Елена Бекштрем (в замужестве Старинина, о ней см. [Усов 2011: II, 95–96]),

зволнованные письма которой даже без обратных писем Перцовича демонстрируют, что у бывшего ученика формалистов за годы скитаний не угасли остроумие, вкус к жизни и литературе. В это же время он активно переписывается со Львом Арнштамом, письма которому неоднократно цитировались в этом очерке. В конце 1970-х с Перцовичем связываются филологи и коллекционеры, изучающие кружок Дмитриевой — благодаря Марианне Торбин он после полувековой паузы возобновляет дружбу с Ириной Архиповой (в замужестве Дьяковой), дочерью своего главного учителя.

Переписка Перцовича полна обсуждения литературы русского модернизма, в том числе — самиздата. С Бекштрем они говорят о Мандельштаме и Ходасевиче, о переписке Цветаевой и Пастернака (еще в 1964 году), о Солженицыне¹³⁵. Дмитрий Бреслер в статье о чтении Вагинова в позднесоветское время, рассказывая о хранителях самиздата и старых изданий, ссылается на интервью Татьяны Никольской, которая вспоминает «Ю. С. Перцовича, критика, знакомого Кузмина¹³⁶, с которым общались А. Арьев и С. Довлатов» [Бреслер 2020: 241]. Увы, Андрей Арьев не смог детализировать это свидетельство, но скорее всего с Довлатовым Перцович познакомился благодаря своему старинному другу еще с заводских времен Аркадию Аптекману и его жене Маргарите Довлатовой, тетке писателя¹³⁷. Аптекман хлопотал за Перцовича, когда тот в очередной раз попал в поле зрения карательных органов — в 1964 году его осудили на три года тюрьмы за растление, он отсидел часть срока, но затем, по-видимому, дело было закрыто. Судя по отрывочным упоминаниям в разных письмах, дело держалось на клевете, спровоцированной дележкой коммунального жилья и сдобренной бытовым антисемитизмом. В месяцы заключения вся переписка Перцовича велась именно через Аптекмана, который искал ему защитников. Интересно, что адвокатом Перцовича выступил Моисей Пуришинский, в истории поэзии известный как отец Риты Пуришинской, супруги андеграундного поэта Леонида Аронсона. Этот факт если и не указывает на дополнительную связь Перцовича с миром самиздата, то во всяком случае демонстрирует, что ему удалось глубоко войти в круг ленинградской интеллигенции после своего возвращения. 21 ноября 1975 года Перцович писал библиографу Евгению Петряеву:

¹³⁵ Также о том, что Перцович обменивался самиздатом, рассказал в письме автору и Александр Милитарев.

¹³⁶ Перцович действительно мельком упоминается в его дневниках [Кузмин 2010: 85]. Стихи Кузмина Перцович любил цитировать в письмах в разные периоды жизни.

¹³⁷ В архиве Перцовича сохранилась копия письма Довлатовой к Евгению Лундбергу, рекомендовавшего его к участию в библиографических проектах: «Тов. Перцович Юрий Саввич — сотрудник отдела гл. каталога Публичной б-ки. Он специалист-библиограф, аккуратный и честный человек, не рвач и не халтурщик. Отвечаю за него головой и убеждена, что Вы будете удовлетворены его работой» [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 520. Л. 1].

Последние три дня я провел на кладбищах и в крематории, простался с дорогими по полувековой привязанности людьми. 18-го — Ольга Берггольц, для которой в газетах, кроме, вероятно, литературки (не видел ее еще), не нашлось места для некрологов. На пискаревском кладбище над входом сияют ее слова, так часто повторяемые: «Никто не забыт, ничто не забыто». Ее личной памяти это, видимо, не касается. 19-го — Маргариту Довлатову — старейшего редактора ленинградских художественных издательств, открывшую дорогу многим ныне широко известным писателям, много лет бывшую секретарем Ольги Форш, о которой написала очень интересные воспоминания. 20-го — ее мужа, Аркадия Аптекмана, скромнейшего и честнейшего человека, услугами которого пользовались и которого любили все литературные и кинодеятели Ленинграда, и который 12 лет был личным секретарем Веры Пановой. Оба умерли скоропостижно, один за другим, на расстоянии одних суток. Для меня это тяжелая личная горькая потеря [РО РНБ. Ф. 1306. Д. 359. Л. 5].

Действительно, эти люди были дороги Перцовичу не только как «литературные воспоминания», но и как свидетели его юности — с Берггольц он мог быть знаком еще со времен Института, где они учились в одно время, а дружба с Аптекманом тянулась с начала 1930-х. В биографии каждого из них, как и в биографии самого Перцовича, отразился сложный и многомерный феномен ленинградского интеллигента, его диалектика служения и сопротивления советскому режиму — режиму, который создавал этих людей, а затем их пожирал. Юрия Саввича Перцовича не стало 5 июля 1987 года.

§3. Сотрудники Кабинета

Как уже было указано в первой главе, к работе Кабинета в разное время было привлечено полтора десятка слушателей институтских курсов, не считая сторонних симпатизантов учреждения типа Смиренского. Сложно оценить вклад каждого из них по отдельности, и единственным источником, который прямо свидетельствует о важности для учреждения конкретных студентов, является уже приводившийся список сотрудников, в который входят Зинаида Архангельская, Екатерина Веселовская, Валентина Денемарк, Андрей Корсун, Мария Крюгер, Сергей Миронов, Алексей Никитин-Бихтер, Анатолий Перов, Лев Подольский, Алексей Реховский и Алексей Федоров. Биографические очерки об этих людях (разумеется, не столь же подробные, как о Шимкевиче и Перцовиче), помимо расширения наших сведений об Институте и составе слушателей его курсов, оказываются интересным срезом судеб раннесоветской интеллигенции. Собранные вместе, их биографии очерчивают некое поле возможностей гуманитариев, воспитанных в условиях революции и формалистских экспериментов, но вынужденных реализовывать себя уже в сталинское время.

Не обо всех, кто упомянут в этом списке, получается говорить сколько-нибудь полно, некоторые из них оставили совсем небольшой документальный след. Так, сведения о Зинаиде Архангельской ограничиваются ее студенческим делом, в котором из релевантной информации есть дата рождения — 3 сентября 1908 — и поступления в Институт — 1925/26 ак. год. Ее отец был врачом, мать — учительницей, сама она в школе выпускала стенгазету [ЦГАЛИ СПб. Ф. 59. Оп. 2. Д. 549], но добавить к этому что-то на основании просмотренных архивов не удалось. Столь же загадочной является фигура Алексея Реховского. Он родился еще в 1891 году, раньше почти всех студентов-коллег по Кабинету, поступил в Институт в 1924/25 ак. году, при этом учился на Театральном отделении. До этого он успел с 1918 по 1920 отслужить в красноармейском флоте (ушел по болезни) и начать музыкальную карьеру: выступал как солист Оперного театра и Театра музыкальной драмы, преподавал в школе и работал в отделе народного образования [ЦГАЛИ СПб. Ф. 59. Оп. 2. Д. 1245]. Он не упоминается в документах Кабинета, если не считать списка сотрудников, что делает его личность еще загадочнее.

В обратном смысле кажется излишним подробно излагать биографию Марии Крюгер (в замужестве Заринской): из участников Кабинета она в итоге оказалась самой известной: показательно, что лишь у нее на момент написания главы есть персональная страница в «Википедии». Крюгер еще до Института, где выбрала Школьный уклон (большинство остальных работников учились по Журнальному), закончила Консерваторию и после выпуска пошла по музыкальной стезе, создав в Петербурге Академический женский хор. Биографическая справка и подборка воспоминаний о ней опубликована Школой Карла Мая, где она преподавала [Крюгер 2015]¹³⁸.

Сравнительно известным можно назвать и Андрея Корсуна — хотя ему, кажется, не посвящено подробного биографического очерка, но отдельные фрагменты его судьбы описаны в разных источниках¹³⁹. Он родился в 1907 году в Кисловодске, его отец был поверенным по судебным делам [ЦГАЛИ СПб. Ф. 59. Оп. 2. Д. 780]¹⁴⁰. Поступив в Институт в 1926/27 ак. году, Корсун с головой погрузился в литературную среду — сдружился со Всеволодом Петровым¹⁴¹, вошел в круг Михаила Кузмина [Кузмин 1998: 228], женился

¹³⁸ Не упомянуты в справке, но и не прибавляют чего-то нового к изложенному ее студенческое дело из Института [ЦГАЛИ СПб. Ф. 59. Оп. 2. Д. 790], а также прошение о зачислении в Консерваторию [ЦГАЛИ СПб. Ф. 298. Оп. 2. Д. 16580]. Кроме того, сохранились личные дела ее младшей сестры Надежды из Института [ЦГАЛИ СПб. Ф. 59. Оп. 2. Д. 132] и Консерватории [ЦГАЛИ СПб. Ф. 298. Оп. 2. Д. 1678].

¹³⁹ Самый подробный биографически-мемуарный комментарий дан в [Глинка 2010: 265–267]. Также см. [Болдырев 1998: 357].

¹⁴⁰ Там же указано, что до поступления он полгода служил лаборантом в Кисловодской бактериологической лаборатории.

¹⁴¹ Константин Львов, описавший дружбу Корсуна и Петрова, считает, что черты первого можно найти в главном герое романа Андрея Николева «По ту сторону Туль» [Петров 2017: 359].

на поэтессе Лидии Аверьяновой, которая посвятила ему ряд стихов [Аверьянова 2011; Устинов, Галеев 2021: 169–171]¹⁴². Корсун работал в Эрмитаже, был крупным специалистом по геральдике и переводчиком древнеисландских саг. Незадолго до смерти в 1963 году его перевод «Старшей Эдды» был канонизирован томом «Литературных памятников» под редакцией Михаила Стеблин-Каменского.

Несколько менее глубоко в литературную среду был погружен Лев Подольский, о котором было мельком сказано в предыдущей главе. Он родился в 1901 году в Херсонской губернии, начал получать высшее образование в Одессе, однако в 1920 году ушел в Красную армию, а в 1922-м отправился для продолжения обучения в Петроград. Подольский поступил в университет, параллельно став членом Союза Поэтов. Кроме того, он активно работал в Еврейском комитете помощи, собирая деньги для работы гуманитарных столовых в городе. Не справившись со всеми делами одновременно, он был отчислен из университета. После отчисления Подольский два года работал завхозом, оставаясь членом Союза Поэтов, а в 1927/28 ак. году поступил в Институт, где стал самым активным из работников Кабинета. Еще будучи студентом, он начал преподавательскую работу, которой затем занимался всю жизнь — сначала в институте Инженеров путей сообщения, а с 1934-го — в Педагогическом Институте им. Герцена. Защитив диссертацию по лингвистике, уже после войны Подольский опубликовал статью по ее мотивам. Дальнейшая судьба неизвестна. Сводку биографических материалов о нем см. в: [Отяковский 2024b].

В некотором роде типовую биографию интеллигента из мелкой номенклатуры воплотил Сергей Миронов. Он родился 17 июня 1908 года в семье налогового инспектора и заведующей библиотеки им. Белинского (его рабочий стаж начался уже в 12 лет, когда он стал «подателем книг» в этой библиотеке). В 1927/28 ак. году Миронов поступил в Институт [ЦГАЛИ СПб. Ф. 59. Оп. 2. Д. 862], и после его окончания по Журнальному уклону не смог найти работу по специальности. В это время в СССР начался расцвет движения изобретателей и рационализаторов — в 1930 году было создано массовое добровольное Всесоюзное общество изобретателей (ВОИЗ), а в начале 1932-го в Москве прошел его первый съезд, объединивший местные организации [Барышева 2014: 35–39]. Миронов увлекся изобретательством и приложил к нему свои пропагандистско-административные навыки: он начал в 1931 году как секретарь производственного кооператива «Юпитер» и уже через два месяца (с октября 1931-го) стал председателем Совета местного ОИЗ. После упомянутого первого съезда, когда был организован в том числе и Ленинградский областной совет ВОИЗ, Миронов вошел в его президиум как заведующий сектором технической пропаганды. Затем он стал инструктором редакции журнала «Ленинградский изобретатель», но вскоре тот был ликвидирован, и Миронов перешел на должность заведующего группой печати ЛОС ВОИЗ, затем став главой технико-правового,

¹⁴² Аверьянова передавала свои стихи в собрание Кабинета.

а после организационно-массового отделов. Все это время Миронов оставался беспартийным, но с 1932-го был кандидатом в члены партии, и к 1938-му оказался готов ко вступлению — перечисленные сведения взяты именно из его партийного дела. Судя по протоколу партсобранин, во время вступления в партию он отрекся от своего предыдущего начальника, объявленного врагом народа, после чего к нему дополнительных вопросов не возникло — Миронов стал членом ВКП(б), а в 1941-м его избрали и секретарем парторганизации. Дальнейшая судьба его неизвестна. (Справка основана на делах: [ЦГАИПД СПб. Ф. Р-1728. Оп. 1–38. Д. 301546, д. 302500]).

Схожая в своей типичности траектория ждала Алексея Федорова — он родился 6 декабря 1908 года в Одессе, его отец до революции был бухгалтером и главным инспектором страхового общества, входил в число личных почетных граждан. После революции отец стал инструктором госстрахования, мать была вынуждена устроиться на работу в качестве сортировщицы на пуговичной фабрике. Сам Алексей редактировал школьную стенгазету, но важнее оказалась его подготовка как антирелигиозного пропагандиста: еще школьником он организовал ячейку Союза безбожников, а уже будучи слушателем курсов (поступил в Институт в 1926/27 ак. году) стал секретарем агиткомиссии районного отделения той же организации [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 1056] и начал читать антирелигиозные лекции. Окончив Институт по специальности библиотечного работника, он объединил приобретенную квалификацию с пропагандистской работой: рабочая анкета перечисляет места работы: заместитель заведующего библиотекой им. Серафимовича, затем заведующий консультационно-справочной работой Государственного Дома просвещения им. Ленина, затем там же глава агитпроп-кабинета, после чего, наконец, заведующий той же библиотекой. С последнего места он перешел на заведование библиотекой музея истории религии, где начал работать 7 декабря 1932 года, но на этом важном посту не удержался, вскоре был снят с должности и понижен до экскурсовода с разовой оплатой [СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 2937]. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Совсем иными красками играет религиозный сюжет в биографии Анатолия Перова. Он родился 20 октября 1905 года в Саратове, его отчим был железнодорожным рабочим. Мальчиком он вошел в церковные круги, дальнейшее сам Перов излагал полвека спустя в крайне идеологизированном документе (подробности см. ниже):

В 1923 году меня продержали под арестом месяца полтора, а в 1925 году — два с половиной месяца, но за отсутствием компрометирующих данных освободили. К суду я не привлекался, репрессирован не был. В 1926 году дело с моими допросами было прекращено. Иначе это дело и не могло окончиться, т. к. я ни в каких антисоветских организациях не состоял и не знал о их существовании. О преступных делах и замыслах духовных лиц, с которыми я был знаком, мне тоже было неизвестно.

Мое знакомство с попами объясняется тем, что моя жизнь в детстве сложилась необычно для мальчика из рабочей семьи: после смерти родителей я был

взят на воспитание теткой, которая в то время была верующей <...>. Я рос, окруженный невежественными, неграмотными, религиозными старухами, под влиянием которых у меня и возникли религиозные настроения.

Посещение церкви и прислуживание по праздникам за архиерейскими службами привело к знакомству с высшим духовенством (архиереями). Таким образом, вследствие некультурности, невежества, умственной незрелости в детские и юношеские годы я был верующим и слепо преклонялся перед духовным саном. Мне даже льстило, что архиереи, эти духовные сановники — оказывали мне внимание: дарили на память свои фотографии, а по большим праздникам давали по рублевке. Все это мне казалось большой честью для себя, простого, бедного парнишки. Вот что привело и поддерживало мои связи с духовенством, которые окончились арестом.

Позже, когда в 1925 году окончил среднюю школу, а затем во время пребывания в вузе (на Высших Гос. Курсах Искусствоведения) я постепенно освободился от религиозных предрассудков и суеверий и мне было стыдно даже вспоминать о том, что я когда-то был верующим, ходил в церковь и целовал руки попам. При этом я не придавал политического значения этим печальным фактам своей жизни и арест считал случайностью, результатом собственной глупости и невежества в юношеские годы. Поэтому я никогда об этом не говорил ни в официальных случаях, ни в частных беседах [ЦГАИПД СПб. Ф. Р-1728. Оп. 1. Д. 513040. Л. 11].

Несколько детализировать этот сюжет помогает база новомучеников «За Христа пострадавшие», включающая сведения о жертвах религиозных репрессий. 30 ноября 1925 года Перова арестовали, при заполнении анкеты при аресте он указал: «Нахожусь в недоумении о причинах ареста, т. к. не чувствую себя виновным» [ЦА ФСБ РФ. Д. Н-3677. Т. 1. Л. 148–148 об.; Т. 4. Л. 70–71. Цит. по: За Христа пострадавшие]. В обвинении указано, что Перов «являлся пособником и укрывателем церковно-монархической организации, поставившей себе задачей нанесение ущерба соввласти путем использования церкви для концентрации антисоветского элемента, ведения монархической агитации» [Там же]. Затем он действительно был освобожден, поступил в Литинститут, но вскоре был повторно арестован и опять освобожден. Дело на него было прекращено, но Перов, видимо, опасаясь оставаться в Москве, переводится в 1927 году в Ленинград, в Институт — в студенческом деле он мотивирует перевод: «Вследствие сложившихся жизненных обстоятельств» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 59. Оп. 2. Д. 908. Л. 3]. Есть косвенное указание, что Перов на этот момент еще не «освободился от религиозных предрассудков и суеверий» — в Ленинград он приехал с женой Верой Сладкопевцевой, дочерью актера и писателя Владимира Сладкопевцева, который дружил с Клюевым и Есениным. В 1928 году Клюев подарил Сладкопевцевой и Перову сборник «Изба и поле», читал стихи в узком кругу [Азадовский 2002: 143] — все это вполне может свидетельствовать о продолжении религиозного диссидентства Перова (впрочем, точно так же внимание к Клюеву может, помимо личных и общекультурных интересов, объясняться собирательской работой Кабинета современной литературы, развернувшейся как раз в это время).

После выпуска из Института Перов работает на мелких административных должностях в разных образовательных и культурных учреждениях, затем становится лектором — незадолго до войны работает в Пушкинском обществе. С августа 1941-го он находится в армии: быстро получив звание младшего лейтенанта, год служит заместителем командира батареи, но с начала 1943-го переходит на идеологические должности: инструктор по пропаганде, агитатор, лектор, заведующий отдела культпросветучреждения... Сохранились два письма Перова к Виктору Мануйлову, в которых он упоминает совместную работу в Пушкинском обществе и приятельство с Всеволодом Рождественским, рассказывает о семейных делах Сладкопечевых и — уже как политработник — предлагает присылать Мануйлову свои очерки и стихи с фронта [ЦГАЛИ СПб. Ф. 440. Оп. 2. Д. 1484]. Этот поворот биографии стал возможен благодаря тому, что еще в 1942-м Перова без дополнительных процедур приняли в партию, причем при вступлении он скрыл свое религиозное прошлое. После демобилизации он устроился учителем русского языка и литературы, совмещая это с партийной работой.

Однажды он был вызван к начальнику, который, по его словам, «показал мне фотографию с надписью: “Иподьякон Перов А. П.”. Тогда же я рассказал все о себе, после чего мое дело разбиралось партийной комиссией» [ЦГАИПД СПб. Ф. Р-1728. Оп. 1. Д. 513040. Л. 20]¹⁴³. Разоблачение самозванца — один из постоянных сюжетов довоенной советской истории, и, случись оно в 1930-е, Перову могли грозить реальные репрессии — особенно учитывая, что скрывалась принадлежность к церковной среде, которая считалась одним из главных источников «врагов народа». Еще выше риски поднимались из-за того, что Перов работал педагогом — именно с духовенством в среде учителей советская власть боролась особенно рьяно [Фицпатрик 2011: 30–31, 90–92; Fitzpatrick 1979: 161]. Однако дело происходило уже в конце 1940-х, когда важность классового происхождения постепенно снижалась, а борьба с религией постепенно затухала. Учитывая экстраординарные условия вступления Перова в партию, его боевой опыт и агитационные успехи, бывшего иподьякона от партии не отлучили. Все

¹⁴³ Там же см.: «В моем деле фигурирует слово “иподиакон”. Именно это слово может быть и дает основание думать, что я участвовал в делах русской православной церкви. Еще раз считаю необходимым объяснить, что я никогда никакого духовного сана не имел. Это слово в моем деле появилось вот в связи с чем: органами ОГПУ у меня была взята фотография, на которой я снят 15 летним мальчиком (в 1920 г.), на обороте карточки была сделана мною собственноручная надпись — “Анатолий Перов — иподиакон кафедрального собора”. Эту надпись я сделал потому, что в то время, прислуживая по праздникам в церкви, я облачал архиереев. Выполняющие эти обязанности юноши назывались иподиаконами. Мне, мальчишке, в то время нравилось это громкое греческое слово “иподиакон” и я фигулял <sic> им, потому что оно придавало мне вес и значение в глазах других мальчиков, которые тоже прислуживали в церкви. Это мое мальчишеское хвастовство дорого мне обошлось: теперь это слово уже фигурирует как основание рассматривать меня в прошлом чуть ли не каким-то духовным лицом, в то время, когда я никогда таковым не бывал».

ограничилось строгим выговором с занесением в личное дело — впрочем, не стоит недооценивать тяжесть этого наказания, в иерархии партийных взысканий это было самым тяжелым, не считая, собственно, исключения. Наличие строгого выговора ограничивало продвижение по партийной лестнице, видимо, поэтому Перов неустанно обращался в партком за снятием с него наказания — и после нескольких попыток, благодаря которым сохранилось довольно много документов об этом деле, все-таки получил индульгенцию и выговор был снят. Идеологическое пике завершилось.

Далеко не все сотрудники Кабинета стремились на административные должности — отдельного внимания в этом смысле заслуживает Валентина Денемарк, секретарь Кабинета, десятилетиями после разгона Института поддерживавшая дружбу с Шимкевичем, своим бывшим руководителем (отрывки ее писем см. в первом параграфе). Она родилась 10 февраля 1908 года в семье служащего страхового общества «Россия» (умер от туберкулеза в 1909 году) и портнихи (умерла в первую блокадную зиму). В 1925 году Денемарк окончила школу, в 1930-м — Институт, где слушала сразу несколько курсов Шимкевича (по историографии, о некрасовской эпохе), год и три месяца практиковалась при Кабинете. Она недолго работала архивистом, с осени 1930 года стала библиотекарем механического Хлебного Комбината, Областного Комсельхоза, затем Института Красной Профессуры. В 1937 году Денемарк устроилась библиотекарем в Институт истории материальной культуры им. Н. Я. Марра, где работала в дальнейшем¹⁴⁴. Ей принадлежит важная роль в спасении библиотеки ИИМК во время блокады: «В начале войны в библиотеке числилось четыре сотрудника. Девятнадцатилетняя сотрудница вскоре была эвакуирована, а заведующий библиотекой А. Ф. Добрынин и сотрудник Л. А. Федоров умерли в 1942 году. Единственной сотрудницей осталась В. Н. Денемарк, которая стала настоящей спасительницей фонда» [Очерк истории]; «Весь 1943 г. библиотека работала в условиях консервации. Единственной сотрудницей была В. Н. Денемарк. Проводились в жизнь рекомендации комиссии — зимой были расставлены книги, лежавшие в штабелях (6007 томов), с наступлением теплого времени начата просушка помещения» [Левина,

¹⁴⁴ Биографическая справка основана на curriculum vitae, несколько редакций которого хранятся в ее личном деле [СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 952]. Кроме того, см. ее студенческое дело из Института: [ЦГАЛИ СПб. Ф. 59. Оп. 2. Д. 676]. В 1939 году Денемарк писала Шимкевичу: «<мой начальник Добрынин> Александр Федорович, в течение последних дней безуданно ищет руководителя редакторского кружка и ко всем обращается с просьбой найти ему, как он выразился, “сверхъестественного” преподавателя, который был бы стилистом, литератором и языковедом. Я назвала ему Вас, как именно, преподавателя такого типа и эрудиции, к тому же работавшего с редакторами, впрочем, прибавила, что трудно на Вас рассчитывать, т. к. Вы очень загружены, единственная надежда, что занятия не чаще 2–3 раз в месяц. <...> Очень сожалею, что не удалось Вас повидать и сочувствую Вам в трудности передвижения по городу на такие расстояния, особенно по вечерам» [КШ]. Там же хранится и письмо самого Добрынина.

Всевиов 2013: 320–321]. Подробно ее деятельность можно проследить по хронике библиотечной работы в военные годы, которая фиксирует как эта женщина с подорванным здоровьем (она проходит освидетельствование на общее истощение, также см. выше ее упоминания в письмах Шимкевича) носит дрова, выстаивает ночные дежурства, разбирает и приводит в порядок книги — отдельно интригует запись 17 августа 1943 года: «БАН обращается в прокуратуру Василеостровского района с просьбой прекратить дело А. С. Мудровой и В. Н. Денемарк, которые “глубоко осознали свою вину и активной работой стараются загладить свой некрасивый поступок”» — [Бекжанова, Балакина 2018: 135, 143, 145, 147; Бекжанова, Балакина 2019а: 99, 106–107, 109; Бекжанова, Балакина 2019б: 45–46, 57–59; Бекжанова, Балакина 2019с: 116, 121, 124–125, 127, 130; Бекжанова, Балакина 2019d: 130, 133]. За свою работу она была после войны повышена до и. о. заведующей библиотеки, а также награждена медалью [СПбФ АРАН. Ф. 158. Оп. 7. Д. 952. Л. 40; Балакина, Бекжанова 2017: 95–97], но после этого ее следы теряются.

Более подробно можно рассказать о биографии Алексея Бихтера. Он родился 18 января 1908 года в Петербурге, свою семью в письме 1944 года описывал так:

...бабушка моя — Эвелина Галактионовна Короленко, сестра В. Г. Короленко. Мать моя (погибла в Ленинграде в 1942 г.) — в юности училась на Бестужевских курсах и была подругой Любове Дмитриевы Менделеевой, знала и молодого Блока. Прошу Вас, найдите минутку и загляните в Дневник Ал. Блока т. II. Там, в самом конце жизни, в 1921 г. Блок вспоминая юные годы и встречи с Л. Дм. вдруг неожиданно вспоминает (цитирую на память, не буквально): «Александра Михайловна Никитина. Ее подруга на Мещанской»¹⁴⁵. Это — моя мать. Почему Блок вдруг через много лет вспомнил о ней — для меня непонятно. Отец мой — музыкант, пианист, ныне — профессор Ленинградской Консерватории [РГАЛИ. Ф. 1303. Оп. 1. Д. 822. Л. 1 об.].

Действительно, Александра Никитина была племянницей Короленко (в семейном собрании сохранился первый том «Истории моего современника» (СПб., 1909) с инскриптом к ее сестре: «Дорогой Верочке Никитиной от Вл. Короленко. Май 1909»), а скромно упомянутый «профессор Ленинградской Консерватории» — Михаил Алексеевич Бихтер (1881–1947), известный петербургский концертмейстер, один из основателей Харьковской консерватории (в семейной библиотеке хранился экземпляр «Стихотворений» Аполлона Григорьева, подготовленных Блоком, с инскриптом: «Михаилу Алексеевичу Бихтеру на добрую память о составителе. СПб. Январь 1916.»). Алексей учился в престижной школе, которая находилась

¹⁴⁵ «Осень 1902 — весна. Письма. Кое-какие черновики. Восстанавливаю в памяти более подробно: Соборы (Казанский, Исаакиевский). Лесной парк — лиловое небо. Ал. Мих. Никитина. Ее подруга на Мещанской...» [Блок 1928, II: 248]. В этом издании приведенные слова — часть последней сохранившейся записи поэта от 3 июля, за месяц до смерти.

на Исаакиевской площади — практически напротив Zubовского особняка¹⁴⁶. Благодаря богатой библиотеке отца Алексей Михайлович с юных лет увлекался библиофильством, собирал автографы — видимо, благодаря этой склонности уже в Институте он стал работником Кабинета современной литературы. Бихтер собрал богатую коллекцию футуристических стеклографированных и рукописных книг, которые много десятилетий хранились в семейной библиотеке — скорее всего, он имел возможность покупать их у авторов во время работы в Кабинете (таким же образом, вероятно, свои личные собрания обогащали и Шимкевич, и Перцович). При этом Кабинет для Бихтера был на втором месте, ведь куда активнее в институтские годы он себя проявлял в КИХРе под руководством Сергея Бернштейна. В хронологии деятельности КИХРа упоминаются его доклады: «Реферат работы Дене о звучащих выразительных средствах, применяемых исполнителями в монологе Гамлета “*Sein oder Nichtsein*”» (21 марта 1929 года), «Речь А. В. Луначарского “На смерть Карла Либкнехта и Розы Люксембург” по граммофонной записи» (30 мая 1929 года, совместно с Г. В. Артоболевским и С. И. Бернштейном) и «Отчет о вечере Первой Ударной Бригады Поэтов “ЛАППа” и “Кузницы” 3.01.30 г.» (5 февраля 1930 года) [Золотухин, Шмидт 2018: 393–394, 399], он участвовал и в записях декламации. В семейном архиве сохранилось несколько фотографий КИХРа, на одной из них надпись — «КИХР в его последние дни. Полный состав», на ней запечатлены Бихтер, Бернштейн и Андрей Федоров. В шуточном рассказе о сотрудниках КИХРа Бернштейн упоминает Бихтера: «Третий мальчик Алеша. У него много волос; он все учится и очень смирный, никогда не шалит. Я его очень люблю»; «Веселей всего мне бывает с Юрой <Георгием Артоболевским> и Алешей. Нам играют на рояли похоронный марш, а мы танцуем и поем: “Товарищи, когда я шел сюда”¹⁴⁷. Потом мы рисуем кривые» [Золотухин, Шмидт 2018: 395–396]. Сын Алексея Михайловича Александр рассказал, что у его отца был хороший музыкальный слух, но по какой-то причине его не учили музыке — видимо, пойдя по литературной линии, Бихтер реализовал музыкальные склонности в изучении законов декламации.

После окончания Института в 1930 году он работал заведующим библиотекой и библиографом Всесоюзного Коммунистического Сельскохозяйственного Университета им. Сталина¹⁴⁸, а в 1934 году поступил в аспирантуру Литературного факультета ЛИФЛИ¹⁴⁹. После аспирантуры по

¹⁴⁶ Дом Лобанова-Ростовского, в котором располагалась школа, известен в литературе — именно на его львах спасался от наводнения пушкинский Евгений.

¹⁴⁷ Ироническое обыгрывание одноименной речи Луначарского.

¹⁴⁸ Тогда же вышла брошюра [Бихтер, Кириллов 1931].

¹⁴⁹ Его карточка из Института не сохранилась, сведения приводятся по личному делу из Ленинградского Государственного Коммунистического Института Журналистики им. Воровского, куда он в сентябре 1935 года устроился на работу в качестве консультанта по художественной литературе при библиотеке [ЦГАЛИ СПб. Ф. 241. Оп. 2. Д. 578. Л. 1, 2].

распределению оказался в Саранске, где возглавил кафедру русской и зарубежной литературы в местном Пединституте (одним из работников кафедры в это время был Михаил Бахтин) [Акимова, Комарова 2001: 153], от его коллектива он даже выдвигался в депутаты саранского Горсовета, в семейном архиве сохранилась агитационная листовка.

Бихтер готовился к работе над диссертацией о Маяковском, по мотиву которой в 1940 году вышла газетная статья на эрзянском языке [Бихтер 1940b] и отдельно изданный очерк биографии поэта [Бихтер 1940a]. На последних страницах этой небольшой книжки приводится автобиографическое свидетельство:

«Во весь голос» — гениальнейшее создание Маяковского, стало его поэтическим завещанием. Мне пришлось слышать, как читал его Маяковский, в Ленинграде, 5 марта 1930 года, на открытии выставки «20 лет работы». Разящей силой, всегдашней страстью и какой-то особенной новой мудростью звучала каждая строчка поэмы. Восторженно приветствовала молодежь любимого поэта революционной эпохи. Но в зале были и враги. Это чувствовалось в отдельных выкриках, в тех записках, которые подавали Маяковскому [Бихтер 1940a: 103].

Видимо, короткий очерк не воплотил всех амбиций Бихтера — в семейном архиве сохранился документ, свидетельствующий, что в 1945 году он работал над диссертацией «Маяковский и поэтические традиции»¹⁵⁰. Тогда же он написал письмо С. С. Прокофьеву (видимо, он мог рассчитывать на ответ благодаря музыкантской фамилии):

5 декабря 1945 г.

Уважаемый Сергей Сергеевич!

Не считите за дерзость мое письмо и просьбу, с которой я обращаюсь к Вам. Я работаю над книгой о Маяковском, точнее, пока над кандидатской диссертацией на эту тему. Это будет книга о творческом методе Маяковского, о роли и месте его в современном искусстве, о философском содержании его поэзии, о ее моральной глубине, о поэтическом новаторстве, о богатстве словаря, а главное — о его связях несомненных и непреложных с традициями русской поэзии, начиная с Пушкина и даже раньше.

В этой связи мне совершенно необходимо — там, где я буду говорить о стиле Маяковского в широком смысле, о его влиянии на современное искусство — узнать мнения и мысли выдающихся представителей современного искусства о творчестве Маяковского.

Я обращаюсь к Вам с просьбой выбрать минуту времени и написать мне, хотя бы очень коротко — чем был для Вас, для Вашей творческой работы Маяковский, как Вы оцениваете его поэзию и считаете ли Вы возможным

¹⁵⁰ Также в архиве Александра Фомина сохранилась составленная Бихтером рукописная «Библиография литературы о В. Маяковском за годы 1930–1935», представляющая собой опыт систематизации посмертной литературы о поэте [РО ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 224].

вообще говорить о каком-либо влиянии личности, поэзии, голоса Маяковского на содержание и форму современной музыки.

Я очень прошу Вас не отнестись безразлично к моему письму и по возможности ответить на мою просьбу.

Разумеется, все Ваши высказывания не будут приведены или опубликованы в печати без Вашего на то разрешения [РГАЛИ. Ф. 1929. Оп. 1. Д. 463. Л. 1].

Ответное письмо, как и результаты работы Бихтера над книгой, неизвестны¹⁵¹. Стоит добавить, что творчеством Маяковского Бихтер дорожил всю жизнь, еще в институтские годы они с братом устраивали посвященные ему домашние выставки. В семейной библиотеке была книга «Но. с.» (М., 1928) с надписью автора: «Плохая книга с хорошими стихами» и владельческой пометой: «Куплена на московском книжном базаре у самого Маяковского»¹⁵². Сомнительна по достоверности, но заслуживает внимания мемуарная заметка Зои Лагоцкой, опубликованная в 1998 году:

Восемь лет Зоя Александровна жила в семье известного в 30-е годы композитора <sic>, профессора Ленинградской консерватории Михаила Бихтера, который одно время даже музицировал с Федором Шаляпиным. Мама Зои, тогда еще школьница, работала в доме Бихтера распорядителем. У профессора были два взрослых сына — журналист <sic> Алексей и музыкант Всеволод, которые водили девочку в школу, возили на концерты. В общем, жила она там как барыня. К ним-то и приехал Маяковский из Москвы. По дружбе или по делам — ей это было неизвестно. «Маленькой барыне» поэт очень не понравился.

— Мне он показался страшным, — вспоминает Зоя Александровна. — Волосы — дыбом, свитер в клеточку, сам высоченный, огромный. Я и сказала: «Ой, какой страшный!»¹⁵³

В 1942-м Саранский институт был эвакуирован в город Темников, где Бихтер с педагогической деятельностью совмещал работу политрука [Крисанова 2018: 305]. Позже его призвали, 8 апреля 1945 года он писал А. К. Виноградову:

Когда я писал Вам прошлое письмо — мы проходили по дорогам Литвы, подступая к границам Восточной Пруссии. Как это было давно!

С тех пор мне выпало счастье пройти вдоль и поперек (сначала — вдоль, а потом — поперек) всю Восточную Пруссию, выйти к заливу Фриш-Гаф и

¹⁵¹ Еще в 1950 году жена Бихтера спрашивает в письме: «Как твои дела с книжкой? Интересуюсь. Как твоя диссертация? Интересуюсь» (собрание А. А. Бихтера).

¹⁵² Об участии Маяковского в таких базарах см. [Катанян 1985: 460]. Карикатуру К. Ротова, запечатлевшую книжный базар с титанической фигурой Маяковского см. в: Бич. 1928. № 23. Июнь. С. 9 (перепечатано в [Маяковский 2022: 118]).

¹⁵³ Маленькая «барыня» и поэт // Петровский курьер. 6 июля 1998. № 26. С. 6. Если все-таки довериться этой заметке, то наиболее подходящей датой визита будет начало января 1926 года: Маяковский провел неделю в Ленинграде, причем 4 января он выступал в Академической филармонии, 9-го записывался в КИХРе [Катанян 1985: 325–326].

увидеть на его берегу ослепительный салют, не московский, а наш — фронтовой в честь окончания восточно-прусского похода.

Это было когда еще горел и взрывался г. Хайлигенбайль, когда повсюду — до самого залива валялись груды немецких трупов, когда работала наша славная авиация, а по дорогам шли бесконечные вереницы пленных мимо домов, на которых еще сохранились их совсем свежие хвастливые надписи: «*tapfer und treu*» и «*Sibirien — oder tot*»...

А рядом шагали радостные толпы освобожденных советских, польских, английских, французских людей. Все языки смешались... Англичане пели «Сулико», а смоленские девушки отвечали на вопросы, путая русскую, польскую и немецкую речь...¹⁵⁴

После войны Бихтер вернулся в Ленинград, где работал в лекционном бюро, а в конце 1950-х стал редактором издательства «Художественная литература»¹⁵⁵. Среди изданий, отредактированных Бихтером, было известное одиннадцатитомное собрание сочинений Лескова (Л., 1956–1958). По словам сына Бихтера, он шутил, что алый цвет обложки — это цвет его крови, пролитой во время подготовки идеологически неудобного классика. В письмах ко Ксении Богаевской редактор жалуется на ряд технических сложностей, а также делится:

Лесков отнял у меня почти полтора года напряженной работы и, по правде сказать, унес много сил и даже здоровья. И Вы еще спрашиваете, сомневаясь, — полюбил ли я его? Да он теперь — мой, близкий и родной мне писатель со всем что в нем сочеталось несочетаемого: величием художника и человеческими слабостями, Христовой моралью и изумительно земным ощущением жизни...

¹⁵⁴ РГАЛИ. Ф. 1303. Оп. 1. Д. 822. Л. 4. Часто думает о Бихтере его отец, ведущий дневник во время блокады [Бихтер 2010а–с]. А. А. Бихтер в беседе указал на текстологическую неаккуратность этих публикаций. В 1947 году Михаил Бихтер умер, его сын по этому поводу писал Михаилу Гнесину: «Думаю, что квартиру удастся сохранить, или во всяком случае удержать до тех пор, пока я сумею хоть немного разобраться в папином архиве и библиотеке. Работа эта огромная. И мучительная для меня, потому что на каждом шагу встречаю начатую работу, планы и замыслы, которых уже никто за него окончить не сможет. Михаил Фабианович, я хочу ставить вопрос об издании сборника памяти папы, куда могли бы войти некоторые из его работ и воспоминания близких людей. Очень хотелось бы рассчитывать на Вашу помощь и в этом отношении, прежде всего в виде материалов, которые Вы могли бы дать. Я прошу разрешения писать Вам и сообщать о ходе дел и событий, связанных с сохранением памяти и папиного наследия» [РГАЛИ. Ф. 2954. Оп. 1. Д. 336. Л. 2]. Обсуждаемый сборник издан не был, архив Михаила Бихтера ныне хранится в РИИИ.

¹⁵⁵ См. его предисловия к изданиям: Поэты-демократы 1870–1880-х годов. Л.: Сов. писатель, 1962; У истоков русской пролетарской поэзии. М.; Л.: Сов. писатель, 1965; Поэты революционного народничества. Л.: Художественная литература, 1967 (авторизованную машинопись вступительной статьи см. в: ЦГАЛИ СПб. Ф. 360. Оп. 1. № 444); Песни русских поэтов (конец XVIII — начало XX в.). Л.: Художественная литература, 1973.

А ведь когда я начинал работу, Лесков был для меня просто «одним из русских писателей», да к тому же еще плохо известным.

Недавно (осенью) я был на Волковском кладбище и поразился, как взволновала меня теперь, ранее совсем неприметная для меня, могила Лескова... [РГАЛИ. Ф. 1633. Оп. 3. Д. 30. Л. 6]¹⁵⁶.

Другим важным изданием, прошедшим через редакторские руки Бихтера, было собрание сочинений Блока в восьми томах (Л., 1960–1965). А. А. Бихтер вспоминает, что отец рассказывал о своей особой роли в продвижении в печать «Записных книжек», вышедших дополнительным томом¹⁵⁷. Благодаря погружению в блоковские штудии, Бихтер соприкоснулся с тартуской академической средой, которая, однако, оказалась негостеприимной. Доклад Бихтера «Об издании С. Соч. Блока» упоминается в наброске программы первой Блоковской конференции, которую Борис Егоров отправил Юрию Лотману в 1962 году. Последнего эта программа задела, т. к. в нее не был включен доклад самого Лотмана, несмотря на договоренности с Дмитрием Максимовым: «Не могу понять, почему он <Максимов> так поступил, но доклада решительно делать не буду и в сборнике участвовать тоже не буду <...>. Вообще состав докладов, кот. Вы прислали, меня разочаровал. Почему не включено чтение статьи Гуковского? На кой чорт Бихтер. Боюсь, чтобы не было много муряги. Тогда не из чего и крыльями хлопать» [Лотман, Минц, Егоров 2018: 83]. Затем оказалось, что доклад Лотмана не был упомянут из-за технической ошибки, оправдываясь за которую Егоров заметил: «Бихтера, пожалуй, вычеркивать неудобно: идея его сообщения — Д<митрия> Е<вгеньевич>ева, Д. Е. считает, что это очень важно» [Там же: 85]. Скорее всего, это небольшое обсуждение Бихтера означает, что в Тарту знали лишь его предисловия в томах ранней пролетарской поэзии и в профессиональной среде редактор не ассоциировался с наследием формалистов, иначе бы имена его учителей Тынянова и Бернштейна обеспечили более гостеприимный прием. Бихтер в итоге принял участие в комментарии к публикации в Блоковском сборнике [Иванов 1964], но глубже в эту среду не погрузился¹⁵⁸.

«Порядочный человек, но немного запуган» — так характеризовала Бихтера Елизавета Полонская в письме к Эренбургу [Эренбург 2006: 594] (Бихтер редактировал ее сборник [Полонская 1966]). Видимо, это довольно точная характеристика: например, сын редактора вспоминает, что дома у них водился самиздат, но сугубо поэтический. Страсть Бихтера к футуризму никуда не исчезла, он любил ходить по гостям с тяжелым портфелем, набитым редкими изданиями начала века, и декламировать

¹⁵⁶ Об энтузиастическом отношении Эйхенбаума к этому изданию см. [Эджертон 1994: 339].

¹⁵⁷ Редактором тома указана Анна Саакянц.

¹⁵⁸ В письме к автору этих строк от 26 июня 2020 года Борис Федорович Егоров сообщил: «А. М. Бихтер — мало знакомый “сосед”, ничего о нем не помню».

стихи. Небольшой мемуар А. А. Бихтера передает впечатления от отцовского чтения стихотворения Каменского «Жонглер»:

Что это было? Хрипловатый голос отца то срывался на фальцет, то плавно парил, то переходил почти на шепот. Стих скакал в разные стороны, как раскидай. Таинственные слова футуристической зауми перемежались с понятными и знакомыми. Шаманское камлание, о котором я в ту пору, разумеется, ничего не знал, или заговор, заклинание из волшебной сказки. И точно, впоследствии, думая, что я забыл это чтение, отец простодушно использовал куски стихотворения на мое семилетие в качестве заклинания, в результате чего непостижимым для меня образом на столе под скатертью выросла горка подарков. Это потом, но тогда, замороженный необычностью стиха и его чтением, я, по-видимому, впал в состояние транса. Отец вдруг уменьшился до размеров мизинца, отодвинулся с углом стола куда-то очень далеко, что не мешало мне прекрасно его слышать, следить за артикуляцией и различать мельчайшие детали. Зрелище было настолько комическое, что я с большим трудом сдерживал смех, чтобы не обидеть отца, который продолжал свое чтение в этом новом качестве как ни в чем не бывало. Никогда в дальнейшем как ни старался, я не смог по собственной воле повторить этот эффект. И вот непонятно зачем врезалась на всю жизнь эта Згара-амба. Как будто этот двусложный монстр поэта-футуриста и авиатора включил в себя всю жизнь, всю ее суть. Так ребенку, летящему с колена на колено взрослого в игре “с горки на горку” и падающему в ямку между ними, она становится ясной еканьем селезенки. Но вопросы остаются. И главный, за что отцу выпало такое: две мировые войны, голод, холод, советская власть, Гитлер, Сталин...?

Отчасти Бихтер продолжал жить в 1920-х: авангард, внимание к декламации — все это возвращало его в юность. Работа в «Художественной литературе» постоянно сталкивала с бывшими учителями и соучениками: Эйхенбаумом, Соломоном Рейсером, Борисом Борисовичем Томашевским (пасынком ученого). Встретившись по редакторским делам с Ольгой Берггольц и разговорившись, он получил инскрипт на издании двухтомника ее стихов: «Дорогому Алексею Михайловичу другу по юности, соученику по странному учебному заведению “Г. И. И. И.” — сердечно Ольга Берггольц. 24/VI 1960. Ленинград. 1926–1960. “У подъезда Г. И. И. И. / Отвалилась стенка!.. / Стенка, стенка, придави / Яшу Назаренко!”» (собрание А. А. Бихтера). Эта частушка, не раз всплывавшая в рассказах о быте Института, была своего рода паролем — нелюбовь к зоилу формализма, в версифицированной форме пронесенная через всю жизнь, шутивно указывает, что боль от разрушения Института оставалась с этими людьми до самого конца. Алексей Бихтер умер 23 августа 1975 года в родном городе, который тогда назывался Ленинградом.

Наконец, последней из упомянутых сотрудниц Кабинета была суждена биография трагическая. Екатерина Унковская-Веселовская, представительница аристократического рода Унковских, родилась в 1894 году, будучи, таким образом, сверстницей Гынянова и старшей среди студентов-сотрудников Кабинета. Ее отец работал администратором Финляндской железной

дороги (ум. 1915), мать в 1911 году стала основательницей Первого женского потребительского общества¹⁵⁹. Екатерина Сергеевна окончила музыкальную школу, гимназию и Высшие педагогические курсы им. М. А. Лохвицкой-Скалон, владела немецким, французским и английским языками. Еще до начала Первой мировой вышла замуж, ее супруг Николай Александрович Веселовский — представитель другой известной петербургской семьи (его дед Константин Степанович был географом и историком, отец Александр — экономистом, работником Министерства финансов).

В 1915 году Унковская-Веселовская издала в Гельсингфорсе книгу стихов «Диссонансы жизни» [Унковская-Веселовская 1915]. Ее поэтические опыты насквозь пропитаны декадентской атмосферой петербургской богемы, стихи посвящены эротике («В объятьях твоих / Я горю, я сгораю, / Я в столах глухих / От тебя умираю!»), идущей войне («На войну»: «Идти с тобой на поле брани, / Идти с тобой на смертный бой, / И павши вместе рана к ране, / Рука в руке, найти покой! // Нам из цветов сготовят ложе, / Нам с пенем принесут венец, / И скажут: Боже! Как похоже / Скорей на свадьбу, их конец!»), природе. Попытка вписаться в становящийся вульгарным модернизм символистического типа декларируется уже на уровне названий: «Мгла», «Я не люблю людей», «Я видела, как плакал он!», «Диссонанс (Баллада в стиле модерн)». Из стихов эпохи она остро переняла и модернистское жизнестроительство, о чем свидетельствует поразительная характеристика Унковской-Веселовской из дневника Чуковского (запись от 30 сентября 1922 года):

Когда-то давно случилось мне кататься по Волге, и на пароходе я познакомился с семейством Унковских. Он — сановитый старик с величавыми жестами, она — седая петербургская барыня. У них была волоокая дочь. В дороге мы много баловались, хохотали, снимались на фотографии. Теперь, через 10 лет читаю я в Доме Литераторов лекцию, и мне подает свои стихи какая-то потрепанная дама. Стихи подписаны: Унковская-Веселовская. Я спросил ее, не родственница ли она тех Унковских. Оказывается, дочь, — та самая волоокая победоносная дочь, к которой... липли тогда какие-то великосветские студенты. Теперь она в кудряшках, жалкая. Вот наш разговор:

— Как поживает ваш папа?

— Спасибо, он умер в Чрезвычайке.

— Вы замужем?

— Да.

— Где ваш муж?

— Он выбросился из 5-го этажа.

— А отчего?

— Он хотел стать священником под влиянием Введенского, а я сказала: «Смотрите на этого шута горохового», — он и выбросился.

¹⁵⁹ В собрании Кабинета современной литературы хранилось переданное Унковской-Веселовской письмо к ее матери от Берты фон Зутнер, полученное в карлсбадской русской колонии (к французскому оригиналу приложен перевод, выполненный Унковской-Веселовской) [РО ИРЛИ. Ф. 172. Д. 442].

Я не заметил в ее голосе горя. Скорее похвальба.

— И что же, у вас есть дети?

— Да, сын. Но...

Я ожидал услышать и о нем что-нб. такое же печальное.

— Но... он получает ученый паек.

— Ученый паек. Сколько ему лет?

— Шесть.

— Шесть лет — и ученый паек?

— Да (сказала она, и тут впервые в ее голосе послышалась тоска), да, он пишет стихи, прозу, у него необыкновенный мозг, его мозг исследовали профессора, поразительный мальчик. Он уже имел романы с женщинами.

— В шесть лет!

— Да.

И ученый паек! Бедная мать. Я ушел потрясенный.

[Чуковский 2012–2013: XII, 56–57].

Действительно, Дмитрий Николаевич Веселовский родился в 1915-м, а его отец покончил с собой в 1920-м. Екатерина Сергеевна с 1919-го работала преподавательницей литературы, иностранных языков и драматизации в школах. В 1920 году Веселовская «выдержала коллоквиум у проф. Жирмунского и числилась слушательницей института $\frac{1}{2}$ года, после чего посетила Литературную Студию <при Петроградском Доме Искусств>» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 59. Оп. 2, Д. 1051. Л. 3 об.], то есть она была связана с Институтом еще до открытия курсов, на которые поступила только в 1924-м, успев до этого поработать в переводческой студии Лозинского [Лозинский 1974: 204]. Сохранилась рукопись ее переложения стихотворения Верлена «Promenade sentimentale» [РО ИРЛИ. Ф. 428. Оп. 1. Д. 150]. Учеба в Институте шла с трудностями: в 1929 году, уже практически в конце обучения, большая туберкулезом Веселовская подала заявление:

Прошу о снижении мне назначенной платы в шесть рубл. и оставления прежней 4 четыре р. Мое материальное положение оч. тяжелое, т. к. я получаю ставку преп<одавате>ля I ст. 62 рубля, из которых мне надо оплачивать преподавателя моего сына, который ввиду своего нервного состояния не может в настоящее время посещать школы. Также прошу обратить внимание на большое количество лит. материалов, доставленных мною в Кабинет Совр. Литературы Г. И. И. И., о чем справку могу представить.

Плачу за заем индустр<иализации>. Дороговизна жизни, квартиры, содержание сына — все это настолько меня обременяет, что я совершенно не в состоянии нести еще расход 6 рубл. в месяц.

Ввиду вышеизложенных обстоятельств, надорванного здоровья, а также принимая в соображение, что заниматься на курсах мне осталось несколько месяцев и вынудить меня бросить почти конченное было бы жестоко — прошу еще раз об оставлении мне прежней платы, т. е. четыре рубля [ЦГАЛИ СПб. Ф. 59. Оп. 2, Д. 1051. Л. 6–7].

После выпуска из Института Веселовская продолжила работать как педагог, об этом мы знаем из автобиографии ее сына, поданной при поступлении в

Кораблестроительный институт [ЦГА СПб. Ф. Р-6622. Оп. 13. Д. 1303. Л. 4]¹⁶⁰. Судя по всему, полтора советских десятилетия не изменили ни Веселовскую, ни ее ребенка — институтские идеологи жалуются, что Дмитрий «к занятиям не готовится, политэкономии не знает и к этой дисциплине относится с пренебрежением. По заявлению групптройки 209 гр. Веселовский — человек чуждый, разложившийся и не исправим» [ЦГА СПб. Ф. Р-8811. Оп. 25-2. Д. 2593. Л. 5]. Вполне ожидаемо, в 1935 году на Веселовского был написан коллективный донос:

По внутреннему содержанию — человек, глубоко чуждый. По убеждениям — будущий рвач, карьерист (учиться во ВТУЗ пошел для того, чтобы иметь деньги и положение в дальнейшем — из его разговоров). На производстве работал 3 недели и из слов — никогда больше не хочет заниматься физическим трудом. В быту — тип разложившийся (пьянство, денежная игра в бильярд).

Были факты, когда во время сессии Веселовский являлся с коньяком и даже пытался угощать других — Семенникова.

Любитель рассказывать различные похабные анекдоты (свидетель Плотников).

В начале учебного года был выбран физоргом для группы и развалил всю работу, больше в общественной работе не участвовал. Разбирался на групповых собраниях, на постановления группы никак не реагирует [ЦГА СПб. Ф. Р-8811. Оп. 25-2. Д. 2593. Л. 6].

Все это вело к единственно возможному итогу. На институтском деле Веселовского стоит штамп «Отчислен в виду перехода в другой институт», датированный 10 июня 1936 года, однако в базах данных «Мемориала» сохранились документы, согласно которым еще в апреле того года он был арестован, в июле приговорен к семи годам ИТЛ, а в начале 1937-го выслан в Дальлаг (Владивосток). Сама Веселовская также была арестована осенью 1936-го, выслана в Сиблаг (Новосибирск), где стала сотрудницей лагерной газеты «Сибирская перековка». Именно от адреса ее редакции Веселовская отправила отчаянное письмо в Помполит, в котором пыталась узнать о судьбе Дмитрия:

Мой сын для меня вся жизнь. Мысль потерять его меня совершенно съедает. Я перенесла тяжелую нервно-мозговую болезнь в связи с этим, 2 месяца была между жизнью и смертью и не могу оправиться. Вы, конечно, понимаете, что я переживаю. Мне остается только умереть, но я продолжаю еще бороться за свое счастье, пишу и умоляю — разыщите его!

Он — способнейший юноша, студент Кораблестроительного института. Но в детстве на его глазах его отец, в момент острого психоза, выбросился из окна

¹⁶⁰ Там же см.: «Отец мой Николай Александрович Веселовский до революции служил чиновником в банке. Во время гражданской войны не был ее участником, а после революции служил в Красной Армии. Он был командирован в город Череповец для заготовки дров для Красной Армии. Но заболел внезапно, он вынужден был приехать в Ленинград, где и скончался в 1920 г.».

5 этажа, и с тех пор у мальчика началось нервное заболевание, которое мешало ему нормально учиться в школе, и он лечился в нервно-психиатрической больнице. Но благодаря блестящим способностям, унаследованным от деда-академика, легко сдавал экзамены и дошел до 2-го курса Ин<ститу>та. В его судьбе принимал участие друг его деда — А. П. Карпинский. Когда меня арестовали, мой сын остался в полной неизвестности обо мне и писал отчаянные письма знакомым. Но они его не навещали. Он ничего не знает обо мне, как и я о нем. Я боюсь за него, зная его неуравновешенность и горячность. Я Вас умоляю, помочь скорее мне найти его [ГА РФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1616. Цит. по: О Веселовском Д. Н.].

Не получив ответа от организации, Веселовская обратилась к подруге своей матери — поэтессе Изабелле Гриневской¹⁶¹. Та, в свою очередь, настойчиво писала как начальству Дальлага, так и вдове Максима Горького Екатерине Пешковой, которая работала в Помполите. Все эти старания не прошли даром — в августе 1937-го Гриневская благодарила Пешкову за помощь и цитировала письмо Веселовской: «Когда сын мой получил от меня телеграмму, ему стало дурно. Он сам меня искал и не имел от меня известий 10 месяцев» [ГА РФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1616]. Дальнейшая судьба семьи складывалась не менее трагично — согласно тем же документам «Мемориала», Дмитрий в середине 1940-х после освобождения работал шофером в Новгородской области, но снова был арестован в 1949 году, освободившись в 1954-м. В период между арестами мать и сын нашли друг друга, о чем говорит доверенность, выписанная в 1946 году со штампом Главланта Кохтла-Ярве [ЦГА СПб. Ф. Р-6622. Оп. 13. Д. 1303. Л. 8]: можно предположить, что семья старалась скрыться в Эстонии от повторных преследований. В 1947 году Екатерина Веселовская забрала документы сына из Кораблестроительного института, и на этом сюжет ее биографии обрывается — сложно представить, что она пережила второй раунд лагерной мясорубки, в которую был втянут сын, ставший смыслом ее жизни.

Биографии основателей и сотрудников Кабинета известны далеко не целиком, а реконструкции большей частью показывают лишь «документальное Я», в котором всеми силами сглажены острые углы и неудобные элементы биографии — впрочем, социальные историки демонстрируют, как на основе именно такого рода источников можно реконструировать проблемную идентичность советского субъекта [Фицпатрик 2011: 25–26], что может быть релевантно в рамках рассматриваемого сюжета.

Почти все герои этой главы родились во второй половине 1900-х, будучи в момент революции детьми. Это принципиально важно, поскольку разница всего в несколько лет определяла активность или пассивность участия в событиях, формировавших общественный статус на десятилетия вперед —

¹⁶¹ В собрании Кабинета современной литературы было множество автографов разных стихотворений Гриневской, полученных от автора, а также письмо к Е. Н. Унковской со стихотворением, ей посвященным [РО ИРЛИ. Ф. 172. Д. 10].

Лев Подольский, родившийся в 1901-м, успел присоединиться к Красной армии, что обеспечило ему надежные анкетные данные, несмотря на то, что в начале 1920-х он мог позволить себе в одной из университетских апелляций в пункте «Какой партии сочувствуете и почему» указать «идейный христианин по причине нео-мистического мироотношения со включением материалистической идеологии, как составной части», а на вопрос «Отношение к Советской власти» снисходительно ответить: «благожелательное» [ЦГА СПб. Ф. Р-7240. Оп. 5. Д. 3316. Л. 18 об.]. Не столь расторопен был Юрий Перцович (р. 1902), пассивность которого едва не обернулась для него серьезными проблемами — излагая свое дело в письме к Горькому, он оправдывается за один из пунктов обвинения: «<комиссия по чистке установила,> что я преподавал при белых (хотя мне было ровно 16 лет и я репетировал сына соседа по двору)» [Отяковский 2022: 114].

Идентичность большинства работников Кабинета — не изобретенная и не приобретенная, почти во всех случаях она определяется происхождением, и в этом ракурсе удивительна почти полная классовая гомогенность — абсолютное большинство из них происходило из семей служащих, и это нетипично для раннесоветской среды — так, например, в 1923/1924 году 15.3% студентов происходили из рабочих, 23.5% — из крестьян, 24.4% — из служащих и 36.8% шли по категориям «других» или «социально чуждых» [Fitzpatrick 1979: 97]. «Класс “служащих”, например, — пишет Шейла Фицпатрик — в строго марксистском смысле представлял собой аномалию. По справедливости, служащих следовало бы относить к той же “пролетарской” категории, что и рабочих <...>, но в широком понимании за ними закрепился особый классовый статус, явно непролетарский по своей классовой окраске» [Фицпатрик 2011: 92]; см. также [Fitzpatrick 1993]. В обтекаемости этой категории пряталась соблазнительная возможность скрыть реальное происхождение: служащими равно назывались врач (отец Архангельской), инспектор городского училища (отец Реховского) и, например, отец Унковской — «сановитый старик», принадлежащий к светским кругам (см. его переписку с Михаилом Стасюлевичем: [РО ИРЛИ. Ф. 293. Оп. 1. Д. 1484], но в анкетах указанный лишь как «служащий финл<яндской> ж. д.» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 59. Оп. 2. Д. 1051. Л. 1]¹⁶². Та же ситуация повторяется в случае Шимкевича: его отец, скончавшийся до революции и долго бившийся над признанием своего приобретенного дворянства потомственным, детьми указывался в анкетах лишь как служащий [ЦГИА СПб. Ф. 1374. Оп. 2. Д. 19151. Л. 3 об.]. Не менее показательны, что единственные сыновья рабочих из этой группы — Перов и Перцович — в итоге были вынуждены переизобретать собственную идентичность в кризисных ситуациях.

¹⁶² Тот факт, что ее муж был потомственным дворянином, Унковская не упоминает вообще, хотя ее сын в институтских делах своего происхождения не скрывает. О способах взаимодействия «бывших» с дворянской идентичностью см. параграф «Проблема имени: скрыть, использовать, забыть?» в [Чуйкина 2006: 160–165].

Доминирование детей служащих среди слушателей институтских курсов, о котором нельзя уверенно утверждать до сплошного просмотра институтского фонда, но которое подтверждается случайной выборкой других просмотренных дел — Ольги Хузе, Бориса Мазурина, Федора Кисловского, Семена Шишмана — позволяет говорить не только о методологической, но и о классовой инаковости учреждения¹⁶³. На учебу в Институте могли претендовать только те, кто уже получил какое-то первичное образование, был активен в школе (практически все перечисленные указывают в анкетах работу над школьной стенгазетой, участие в просветительских кружках), а также способен платить за учебу. Взносы за обучение были не слишком жестким, но все-таки имущественным цензом, величина которого напрямую зависела от анкетных данных (рабочее происхождение далеко не всегда освобождало от оплаты, как, например, в случае Перцовича — впрочем, он был сыном кустика, что в советской иерархии не равнялось пролетарию). Практически каждый студент Института в определенный момент просил об освобождении от платы за обучение, но эти заявления, рассматриваемые на заседаниях администрации, удовлетворялись далеко не всегда. Вместе с тем обучение в Институте, оформленное в виде самостоятельных Высших государственных курсов искусствознания, не было столь же престижно, как университетское образование, хотя и оставалось доступным социальным лифтом. «Государственные курсы были одной из возможностей, предоставленной государством молодежи из “бывших” для получения образования. Сеть курсов и школ возникла еще в начале 1920-х годов; она была разветвленной и охватывала все возможные специальности. Она же стала трамплином, благодаря которому “бывшие” смогли проникнуть на советский рынок труда» [Чуйкина 2006: 88].

Советологами рассмотрен вопрос о формировании социалистической интеллигенции и роли в этом процессе образовательных реформ и новых идеологических вузов, возникших к началу 1920-х [Fitzpatrick 1979; David-Fox 1997]. В этом контексте работа институтских курсов намеренно выбивается из общего ряда — несмотря на все попытки имплантировать элементы идеологических структур в Институт [Кумпан 2009], он все равно сохранял свой облик, и методологически, и классово не вписывающийся в институциональную конфигурацию, которая требовалась для построения социалистической утопии. «Формовка» советской интеллигенции в Институте шла по иным рельсам, и свою роль — вряд ли осознаваемую создателями курсов — исполнить все-таки смогла. В этом учреждении формировалась та среда, из которой проросла и в которой затем сохранилась особая ленинградская культура, существовавшая параллельно официальной, формируясь через систему паролей, сигналов, знакомых имен и понятий. Быть учеником Тынянова, «сопластником» Хармса, одноклассником Берггольц, приятелем Вагинова, знакомым Кузмина, подзащитным тестя

¹⁶³ Не исключено, впрочем, что «пролетарские» студенты группировались вокруг Соцкомитета или других институтских микросообществ.

Аронзона — все это складывалось в *modus operandi* той социальной группы, с которой прежде всего и ассоциируется феномен ленинградской культуры. Необязательно было даже прямо обозначать личную причастность к названным именам — достаточно на вечеринке начать читать давно забытого Каменского (не самого, впрочем, ленинградского автора).

Срез судеб выпускников ГИИИ показывает, что институтские курсы не были «кузницей кадров»: в сталинскую эпоху даже самые яркие и успешные выпускники Литературного отделения превращались либо в маргиналов, слабо вписанных в институциональное поле (Лидия Гинзбург), либо в подозрительных «космополитов», чье стремление к руководству в идеологическом поле приходилось контролировать (Григорий Гуковский). «Средние» слушатели тихо рассеялись по углам ленинградской культурной индустрии и, продолжая нести заряд, полученный от формалистов, не манифестировали свою инаковость — как Денемарк, размышляющая о Фете во время разбора завалов ИИМКовской библиотеки.

Описывая перелом 1930 года, Катерина Кларк говорит об изменившейся роли интеллектуалов в советском обществе:

Их дело теперь состояло в том, чтобы создавать библиотеки на фабриках и в колхозах, вести театральные и художественные кружки, заведовать клубами, многотиражками, обучать начинающих писателей, художников и актеров из рабочего класса, читать им лекции, организовывать для них выставки, помогать собирать архивы и устную историю, сочинять лозунги и призывы, и если после всего этого у них еще оставались силы на собственное «творчество», то оно сводилось к производственным очеркам или чисто агитационным текстам [Кларк 2018: 394].

Кажется, это довольно точно совпадает с тем набором возможностей, который был испробован выпускниками Кабинета. На основе двенадцати описанных судеб институтских студентов (включая Перцовича), за вычетом неизвестных траекторий Архангельской и Реховского, можно сказать следующее — практически все из них после Института продолжили работать с литературой, в основном как преподаватели и библиотекари. Некоторые стали администраторами — в гуманитарной сфере в случае Федорова, в технической в случае Миронова. Мария Крюгер, которую можно назвать самой успешной из работников Кабинета, ушла от литературы в музыку — впрочем, и изначальные ее установки отличались от тех, которые были присущи ее коллегам. Как минимум трое представителей этой условной группы подверглись политическим репрессиям, исход которых можно расположить от сравнительно мягкого (Перов) к сравнительно суровому (Перцович), вплоть до совершенно чудовищного (Унковская-Веселовская). Безусловно объединяющей судьбы всех этих людей была привязанность к Ленинграду, хотя ровно половина из них была приезжими. Институт помогал врать в местную среду и культуру, причем так, что об уроженце Новороссийска «как-то особенно отличительно помнилось — петербуржец!» (см. выше).

В малоизвестном эссе 1933 года Лидия Гинзбург пишет:

История отношений гуманитарной интеллигенции к революции сбивчива и мучительна. Это история ответов на два вопроса:

Может ли русская интеллигенция функционировать вне путей Октябрьской революции?

и: Может ли русская интеллигенция функционировать на путях революции?

Я, человек с испорченной литературной судьбой, быть может, творчески погибший, — говорю твердо: к 16 годовщине ответ на первый вопрос получен — русская интеллигенция не может функционировать вне путей Октябрьской революции. Наша судьба задерживает ответ на второй вопрос. Этим судьба поколения трагична [Ван Баскирк 2020: 327].

Ответ, к которому приходит Гинзбург, читается не как идеологическая присяга, скорее в нем мы видим сухую констатацию ограниченности возможных действий, доступных траекторий интеллигентской судьбы: попытка функционировать «вне путей Октябрьской революции» ведет к экстремальной маргинализации, яркий пример которой мы видим в биографии Екатерины Унковской-Веселовской. «Пространства венаходимости» (А. Юрчак), определявшие стратегии позднесоветских нонконформистов, к этому моменту еще не были выработаны, да и динамика эпохи была радикально иной: смена режима произошла буквально на глазах «сопластников» Гинзбург, отчего и структура общества казалась подвижной, пластичной (поначалу действительно быв такой). Из этого рождалось чувство, уже в 1950-е описанное в эссе «О старости и инфантильности», в котором Гинзбург пишет о людях своего поколения: «На самом деле, сами того не понимая, они гигантски верили в жизнь, распаханную революцией. В этом как раз их историческое право называться людьми 20-х годов» [Гинзбург 2002: 192], также см. [Кобрин 2006].

В этой главе были описаны судьбы нескольких людей, составивших не элиту, но общий фон ленинградской интеллигенции; продемонстрировано, как для них «право называться людьми 20-х годов» превращалось в «обязанность», а затем нередко и «вину». При всей разности их траекторий и при всей случайности объединяющего критерия (участие в работе Кабинета) мы видим определенные закономерности: дети эпохи социального разлома, почти все они умели встраиваться в потоки времени, уворачиваясь от подводных скал Большого террора и Второй мировой. Научились ли они этому у своих учителей, формалистов? Напрямую — вряд ли, но в исторической перспективе скрещение их судеб не кажется случайным.

ГЛАВА III. Теория

§1. Ранние работы Константина Шимкевича

В начале предыдущей главы описана биография Константина Шимкевича — историка литературы, библиофила и руководителя Кабинета современной литературы. Концептуальные установки подведомственного ему учреждения определялись взглядами самого Шимкевича, поэтому особую важность в рамках сюжета диссертации имеет изучение не только хронологии его жизни, но и реконструкция интеллектуальной траектории филолога, анализ его трудов. Эта задача значительно усложняется тем, что его работы в массе своей остались неопубликованными, многие из них — незавершенными. С другой стороны, это повышает ценность такого исследования, поскольку оно позволяет ввести в научный оборот новые материалы. В рамки одной главы невозможно уложить полные тексты исследований и подробный анализ, поэтому ниже приводятся лишь фрагменты из отдельных статей и книг ученого, указывающие на эволюцию его методологических установок. Издание его работ и более широкий комментарий — дело будущего. Прочнее всего Шимкевич связан с опоязовской линией развития теории, поэтому в его работах интересны прежде всего те черты, которые указывают на его меняющееся отношение к формализму, именно эта траектория и будет прослежена в настоящей главе. Публикуемые материалы имеют интерес не только биографический и не только в рамках изучаемого институционального кейса, но и в более широком сюжете о рецепции формального метода и его трансформациях.

Как было указано в предыдущей главе, в университете Шимкевич углубленно занимался историей искусств. Такой интерес к параллельной дисциплине неслучаен — немецкое искусствознание было важным источником для формалистов, но не классическая история, которой занимался молодой Шимкевич, а скорее новая теория, разработанная Вельфлином [Дмитриева 2009]. При этом студенческие работы Шимкевича существуют именно в пограничной зоне между литературой и изобразительным искусством, тяготея скорее к символистскому принципу синтеза, нежели к формалистскому требованию спецификации рядов.

Наиболее законченной из известных работ университетского периода является статья «Душа чистая» (собр. Кураевой), в которой Шимкевич исследует частотный мотив, встречающийся в текстах и иллюстрациях русских синодиков XVII и XVIII веков. Шимкевич рассказывает о литературном мотиве «Души чистой», а затем подробно описывает композицию и символику его изображений с опорой на исследовательскую литературу и широкий иллюстративный материал (в тетрадь вложены перерисованные изображения из синодиков). Одним из ключевых понятий работы стал

«образ», причем ученый применяет его и к словесному, и к визуальному искусству: «Как художественный, так и литературный образ “Души Чистой” складывался мирно и постепенно»; «Такова Душа Чистая, творящая “милостыню и добрая дела”»; — Грешная же душа омрачена тьмою и горько плачет, раскаиваясь в своих грехах. Вот литературный образ Души Чистой и ее противоположный — Души Грешной. Миниатюристы синодиков также создали особый образ “Души Чистой”. Они разделили два состояния Души — у престола и выше светил — на две части и совершенно отдельную часть отвели для земли с ее греховностью». Хотя Шимкевич и не смешивает эти два «образа», но свободно проводит между ними параллели, что показывает некоторую непроработанность понятия, по сравнению, например, с потебнианской системой идей, в дебатах с которой происходило становление формального метода [Светликова 2005: 41–71; Merrill 2022, по указателю].

Другое сохранившееся студенческое сочинение Шимкевича — «Отношение церкви к эротизму купальных игрищ». Эта работа представляет собой отчасти реферат фольклористической литературы, отчасти этнографические наблюдения автора над обрядом купальских игрищ с попытками проследить историю церковной борьбы с эротической составляющей этого ритуала (в частности, посредством введения практики кумовства, создающей квазисемейные отношения между молодыми мужчинами и женщинами). Приведу завершающий статью фрагмент:

В 1907 году на Ивана Купала я был в Витебской губернии около местечка Сиротица. Там зажгли на большом колесе, вдетом на шест, просмоленный ящик со стружками и подкладывали, по мере надобности, вилами хворост. Пели разного рода купальские песни, а потом все пошло в избу известного тайного продавца водки справлять, как они выражались, «купалишки».

Староста этой деревни говорил мне, что вот посидят, погуторят, затем кто-либо из «малых» загасит ламу, а потом такой «дужий» визг подымут, что «Боже упаси».

Господин Владимиров рассказывает о том же, но только более подробно: он говорит, что хлопцы собираются с горилкой, блинами и т. п. в избу, где зимою были супрядки, и проводят здесь кумовство в виде «баловства», в которое входят, как разного рода непринужденные разговоры и действия, так и половые сношения.

Таким образом, там, где и сейчас главенствует первобытная жизнь земледелия, притаившегося в глухих местах, там уцелели купальским празднества, там также творятся те бесовские угодия и хребтом вихляния [РО ИРЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 593. Л. 14].

К статье приложен небольшой список литературы, в котором среди сочинений фольклористов и этнографов, упомянуты статья Веселовского «Гетеризм, побратимство и кумовство в купальской обрядности» и Поттебни «О купальских огнях и сродных с ними представлениях», что свидетельствует о том, что студент Шимкевич знал работы этих ключевых до-формалистских теоретиков словесности, но, видимо, не уделял сколь-либо значимого внимания их концептуальным построениям.

Оба студенческих сочинения отмечены ярким религиозным пафосом — неудивительно, что после революции Шимкевич на протяжении академической карьеры не возвращался к вопросам древнерусской литературы, повидимому, слишком связанной для него с церковными проблемами. Активная рефлексия над духовными вопросами пронизывает обильное литературное наследие Шимкевича-студента. Возможно, в эти годы он рассматривал возможность стать литератором — будущий филолог написал сотни стихотворений¹⁶⁴, несколько поэм и отрывков лирической прозы, хотя и неясно, предпринимал ли попытки публиковаться. По словам А. К. Кураевой, в молодости Шимкевич ездил в экспедиции на Север — в Архангельск и Карелию, занимался изучением местного фольклора. Косвенным подтверждением тому может служить частотность «северных» мотивов в его литературных опытах, будь то сказка «Северный мальчик» или «Северная поэма», которой предпослан эпитафия из «Калевалы»¹⁶⁵.

Интерес к религии, смыкаясь с интересом к литературе, породил у Шимкевича идею небольшой антологии «Русские поэты на молитве» (собр. Кураевой). Папка с ее материалами открывается письмом, ярко характеризующим молодого любителя духовной поэзии:

Милый Пэ-Пэ¹⁶⁶, хотя я — и замаскировал в последнем письме свои горькие чувства, «но в маске не было искусства», и вы обнаружили их. Моряк моряка увидел издалека.

Когда печаль, как безглазый кошмар (Эдгар По) повиснет над твоим существом, то ты заболеешь душою и будешь искать утешения. Вы занялись сестрицами и виноградом, а я этим сейчас не мог заняться. Мне вспомнилось другое, другой рецепт от невыносимой печали — слова Магомета: «Самое прекрасное в мире это женщина и благовония, но душу радует молитва».

И я стал творить и искать молитв, я от духовных отцов церкви, от Сирина, дошел до Огарева и др., и все еще неудовлетворенный собираю литературный молитвенник.

Собралось немало стихотворений такого содержания, которое, при хорошем расположении, прямо превосходит псалмы Давида, страдающие своей воинственной субъективностью, такие строчки как

¹⁶⁴ Большая их часть хранится в Пушкинском Доме в двух экземплярах — рукописные версии, собранные в нескольких блокнотах (в одном из них сохранилось заглавие для авторского собрания — «Пряжа»), и машинописные, объединенные в серию циклов. Ряд стихотворений подписан псевдонимом «К. Юрах». После революции Шимкевич периодически писал отдельные стихотворения, однако уже не объединял их в сборники.

¹⁶⁵ А. К. Кураева, разбиравшая коллекцию Шимкевича по просьбе его дочери, рассказывает, что она отнесла в Российский этнографический музей два больших северорусских кокошника, расшитых жемчугом.

¹⁶⁶ По словам А. К. Кураевой, письмо обращено к Петру Петровичу Лошкареву — художнику, другу Шимкевича. Это имя действительно встречается в его бумагах.

«Прости греху, на жгучее страданье
Успокоительно дохни
И все твои печальные страдания
Хоть сновиденьем обмани»¹⁶⁷.

так нежны, так прекрасны, что поповские обвинения интеллигенции в неумении молиться становятся кощунством. Как здесь все правдиво; ни восхваления, ни «ласкательства» — ничего нет. Здесь сын просит своего Отца, а не раб — властелина. Правда, здесь можно усмотреть гордость бесовскую, жажду дать понять, что сын хорошо постигает и силу, и бессилие Отца. Но это опять-таки прекрасно. Сын — отображение Отца, но Отец — призрак и потому силен, а сын реален и потому слаб — в этом тайна человека. Призрак неуязвим, вездесущ и могуч, а сын его реален, уязвим всеми язвами мира сего, слаб и ограничен.

И мы с вами слабы, ограничены, но, главное, уязвимы всеми язвами. Одно время моя печаль была так велика, что я захотел придать ей (как это ни смешно) внешнюю форму при помощи себя самого; мне, странным образом захотелось, да мучительно! — надеть очки, опустить волосы на лоб, надеть большое черное облачение, взять деревянный молоток и бить им до утомления ровно, медленно по чему-нибудь бархатному и нежному.

Но теперь это прошло

Я немного раздвигаю тучи, уже вижу ласковые звездочки, и на глазах появляются детские слезы.

Ваш К. Ш.

Примечателен состав антологии: Юргис Балтрушайтис, Константин Бальмонт, Евгений Боратынский, Иоанн Дамаскин, Федор Ключарев, Иван Козлов, Михаил Лермонтов, Св. Нифонт, Николай Огарев, Александр Пушкин, Ефрем Сириин, Алексей Константинович Толстой, Федор Тютчев, Афанасий Фет, Михаил Херасков, Алексей Хомяков, Николай Языков. На его основе можно представить круг интересов Шимкевича: рядом со светскими поэтами сосуществуют церковные писатели, классическая поэзия доминирует, но оставляет место современным авторам, а восторг перед Огаревым предвосхищает интерес к некрасовской эпохе. Как и выбор авторов, так и ход мысли автора свидетельствуют о духовных исканиях в духе символизма с его религиозно-философской проблематикой, интересу к обновленному православию и ницшеанскому «философствованию молотом».

Уже через несколько лет эти интересы сменились ранним изводом формального метода. В архиве Хвостова Шимкевич собрал материалы для публикации «В. Г. Тепляков (Неизданное письмо и стихотворение)». Она включает письмо поэта к Д. И. Хвостову и стихотворение «Послание к моему сослуживцу». На отдельном листе сохранился текст сопроводительной заметки, которая интересна как пример ранних проб теоретической рефлексии филолога:

¹⁶⁷ Из стихотворения Огарева «На сон грядущий». В середине 1920-х Шимкевич возвращается к анализу этого стихотворения в монографии «Лирическая тема».

Современная теоретическая мысль, по-видимому, окончательно оставившая путь интуитивной критики поэтического творчества, стоит перед великой задачей — разобраться не только в современных пониманиях тех или иных свойств поэтической речи; но и в прежних интуитивных «аттестациях».

Вопросы ритма и мелодии уже бьются в исканиях определения; о них много говорят, но о гармонии речи пока прорываются только намеки.

Несомненно, Пушкинская пора «аттестации» должна сыграть здесь большую роль; и материалом для наших определений должна быть, в особенности, та же пора. Но в таком серьезном деле нелишне всегда помнить слова Кудрявцева: «Чем больше разрабатываются отдельные части, подробности, самые мелочи, тем более выясняется общее, угадывается целое»¹⁶⁸.

Велико наследие Пушкина, но Пушкин — собиратель русской поэзии. И те, кто подпал впоследствии под его власть, как и он, питали себя из разных источников. Таким источником в вопросе о гармонии был Батюшков. Гармонию Пушкин считал как нечто высшее —

«Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству».

И вот эту-то силу Пушкин всегда признавал за «Моими пенатами» Батюшкова — их «гармония очаровательна». Следовательно, не одно только «шутливое» содержание, и не один «Городок» тянулись от Пушкина к Батюшкову. И не один Пушкин, а многие поэты его поры проникались гармонией «Моих пенатов», и среди этих поэтов находился В. Г. Тепляков. И если не сразу, то все же очень скоро он дал «Ганимеда», перед гармонией которого преклонялся Белинский. Ранняя симпатия, впоследствии поклонника и друга Пушкина, В. Г. Теплякова им же самим сообщается в следующем письме к Д. И. Хвостову.

Зависимость, как некоторых мотивов и образов, так и лексическая этого «Послания» от указанных произведений Батюшкова ясна. Что же касается гармонии, то этот один из первых опытов Теплякова еще далек от своего идеала. Хоть уже очевидны признаки будущего гармонизатора, но уменье Батюшкова в «Моих пенатах» группировать звуки в зависимости от музыкально-изобразительной цели не удалось. К сожалению размеры статьи не позволяют иллюстрировать это примерами, но сложный вопрос о гармонии¹⁶⁹ дает всякому интересующемуся им ценный материал для наблюдения [Отяковский 2020b: 183–184].

Хотя текст носит вполне законченный характер, заметка не была опубликована, а сами архивные материалы появились в печати только в 1983 году [Вацуру 1983: 194–195, 200] (в этой статье «Послание к моему соседу» опубликовано частично, впервые целиком в [Тепляков 2003: 204–214]; вопрос о пушкинском понимании гармонии также был рассмотрен отдельно

¹⁶⁸ Из статьи «О современных задачах истории» [Кудрявцев 1991].

¹⁶⁹ В Пушкинском Доме хранятся папки с выписками и заметками «О гармонии стиха по отзывам Пушкина», «Натуральная гармония стиха».

в [Кац 2008: 7–31]). Восприятие стихов как «поэтической речи», интерес к оформляющемуся в строгую науку стиховедению, внимание к литераторам «второго ряда», обнажающим литературные проблемы своей эпохи, — все это, вкупе со стремлением переосмыслить «интуитивную» теорию литературы, говорит о том, что молодой Шимкевич идет в русле раннего формализма, или, скорее, в русле пре-формалистских тенденций, наиболее явно отразившихся в книге Владимира Перетца «Из лекций по методологии истории русской литературы» (1914). Как исследователь древнерусской культуры Шимкевич наверняка должен был следить за трудами киевского коллеги, который нередко посещал Петербург с участниками своего семинара (кроме того, наставник Шимкевича Шляпкин был диссертационным оппонентом Перетца и полемизировал с ним в печати [Росовецкий 2023: 45–49]). Возможно, именно в его методологических разработках, намечающих морфологический («филологический» в терминологии Перетца) подход, кроется склонность Шимкевича к пониманию литературы как самостоятельного ряда, но без полемического стремления формалистов дезавуировать предшествующую науку о литературе.

Еще в 1905 году Перетц заметил, что «историк литературы является лишь исследователем приемов и способов, которыми создается литературное явление как таковое» [Перетц 2010: 18], и развивал это положение в следующих работах. Плодом этого замечания можно считать большую статью Шимкевича «Портретные приемы творчества Пушкина», оставшуюся неопубликованной. В ней молодой филолог со школьной педантичностью прослеживает, с помощью каких средств Пушкин изображает лица упоминаемых в стихах персонажей. Этот текст сложно назвать серьезной научной работой, ученый позже не включал его в список своих работ и не использовал в дальнейших исследованиях — очевидно, путь дескриптивной морфологии показался ему непродуктивным (подробный анализ см. в [Отяковский 2020b: 184–188], возможный методологический ориентир Шимкевича: [Колобова 1914]).

Методологическая связь с Перетцем со временем перешла в личную — после семилетней военной службы Шимкевич вернулся в Петроград и стал участником семинара филолога, уехавшего из Киева. Материалы об этом уже приведены в предыдущей главе, но там лишь мельком упомянут доклад, отмеченный Перетцем. Рукопись «Песенная рифма народного стиха» (1922) хранится в Пушкинском Доме и представляет собой самую серьезную попытку филолога подойти к стиховедческим проблемам.

С первых же строк статьи в глаза бросается, что Шимкевич выбрал для исследования пограничный феномен, находящийся на пересечении двух искусств, причем он отказывается признавать примат словесного материала перед музыкальным, для него принципиален именно синтез:

Музыка и слово создали народную песню, в широком смысле слова, т. е. то, что поется, а не говорится. Их связь так тесна, что слово, оторванное от музыки песенного произведения, дает исследователю только половину материала для

тех или иных выводов. А между тем такие половинчатые выводы принимаются за более или менее точные по отношению к народному песенному стиху. Сущность последнего, идущего нога в ногу с музыкальной мелодией, потому еще подернута туманом, что она на своем историческом пути движется не одиноко, а в сопровождении говорного народного стиха, представителями которого являются загадки, пословицы, заговоры и т. п.

Но загадку, пословицу и заговор необходимо изучать с ритмической и звуковой стороны сначала отдельно от песенного материала, а потом уже делать все возможные сопоставления с целью каких-либо общих заключений. Так, если бы выводы о говорной народной рифме, основываясь на говорном же материале, ограничивались только сопоставлением с песенным, не распространяя своих положений на него, как общих, без проверки значения музыкальной мелодии, тогда мы бы имели, действительно, нечто прочное. Но песенный стих в отношении рифмы наблюдался, как говорной, с последовательным пренебрежением к сопутствующей ему музыкальной мелодии.

На протяжении статьи Шимкевич лишь дважды ссылается на собственно стиховедческие работы, мельком упоминая теорию Андрея Белого и подробно комментируя работу Жирмунского «Поэзия Александра Блока». Жирмунский описывает вклад Блока в разработку неточной рифмы, указывая на его зависимость от народных песен и их неточные суффиксальные рифмы [Жирмунский 1928: 258–266]. Шимкевич утверждает невозможность прямых параллелей между песенным и «говорным» стихом, поскольку, по его словам, «Наше общее научное утверждение об отсутствии долготы и высоты гласных, кроме частных случаев (например, эмфазы для долготы) в русском языке вовсе не распространяется на песню. Она живет совсем иным». Поэтому рифма, которую Шимкевич понимает как результат «общего принципа гармонического замыкания параллельных ритмических групп гласными»¹⁷⁰, есть признак не текста, а исполнения — музыкального или говорного. Именно высота и долгота оказываются главными выразителями мелодии в песенном стихе, и они порождают два основных закона: «первый — закон категорического оттяжения; второй — музыкального обрыва слогов. Т. е. первый закон есть закон усиленной долготы и, конечно, высоты, второй — краткости и той же высоты». Далее следует краткая формулировка этих законов:

В отношении рифмы по первому закону — всякий последний гласный в стихах приобретает право в силу своей долготы оттягивать на себя для гармонического замыкания все значение конечности предшествующего музыкально-говорного ударения и окружающих согласных.

По второму закону — всякий последний гласный приобретает право для гармоничного замыкания в силу необходимости выражения краткой высоты,

¹⁷⁰ Жирмунский определяет рифму так: «Рифмой мы называем звуковой повтор в конце соответствующих ритмических групп (стиха, полустихия, периода), играющий организующую роль в строфической композиции стихотворения» [Жирмунский 1928: 258].

кончающей музыкальный мотив стиха, резко заключать слог, не считаясь с естественным свойством русского языка ослаблять слог постепенно.

Таким образом, и по тому и по другому закону последние гласные соседних стихов, гармонизуясь, создают песенную рифму, как конечный гласный звуковой повтор.

Затем на многих страницах идет анализ музыкальной инструментовки в фольклорных записях для иллюстрации этих законов и основных приемов их воплощения с использованием системы диакритических знаков для передачи высоты и долготы гласных (неоднократно Шимкевич сокрушается по поводу небольшого количества и сомнительного качества нотных записей). Вряд ли стоит подробно пересказывать ход его мысли, однако выводы, которыми кончается доклад, довольно важны для контекстуализации интереса Шимкевича к песенному стиху:

Вся трудность изучения гармонизационных приемов песенного стиха, конечно, зависит не только от незначительного количества записей музыкальных мелодий, но и от встречающихся различных препятствий самой музыкальной передачи текста.

При большем материале и при более тщательной записи можно было бы значительно расширить выводы и о песенной рифме. А пока, помимо ее определения, можно только указать, что песенная рифма, ввиду ее исключительно гласного состояния, может быть только точной, и если гласные не совпадают, то вывод один — рифмы нет. Затем, из самого свойства песенной рифмы, т. е. ее ограничения одними гласными, очевидно, что она ни в коем случае не может сравниться с обилием книжной; кроме того, говорная рифма пользуется различными чередованиями и, хотя пределы корреспондирования звуковых конечных повторов в ней не ясны, она все же, в общем, живет большим расстоянием, пределы же песенной рифмы, ввиду значения музыкального мотива, очень ограничены, и она спасается от сужения только приемом сквозного углубления, иногда доходящим до определенной монотонности.

Внимание Шимкевича к музыкальному измерению стиха вполне вписывается в перспективу раннего формализма. Прежде всего, работа неявным образом оппонирует эйхенбаумовской «Мелодике русского лирического стиха» (1921), в которой утверждается существование «песенности» как отдельной категории анализа лирического стихотворения. Эту песенность Эйхенбаум находит именно в «книжной» поэзии, тем самым проходя мимо пограничной зоны, которую анализирует Шимкевич. Кроме того, Эйхенбаум пишет: «Я рассматриваю интонацию не как явление *языка*, а как явление поэтического *стиля*, и потому изучаю не фонетическую ее природу, а ее композиционную роль» [Эйхенбаум 1969: 331], и эта роль реализуется через природу поэтического синтаксиса [там же: 338]. Такое понимание интонации позволяет формалисту отмежеваться от «слуховой филологии» Сиверса: «Вопросы голосового тембра, отношений между высотами гласных, установления интервалов и т. п. естественно остаются в стороне, как вопросы чисто-лингвистические» [там же]. Для Шимкевича же именно

эти вопросы лингвистического характера приводят к кругу стиховедческих проблем, которые формалистами включались в сферу поэтики, а не лингвистики. В частности, Жирмунский писал: «Современная научная метрика, в трудах Сиверса и его учеников, уже не ограничивается изучением метрических явлений в узком смысле слова, т. е. чередования сильных и слабых слогов (ударных и неударных): в художественно организованной речи она устанавливает элементы организации и в качественных элементах звучания (в нашей терминологии — “инструментовка”), и в изменениях высоты гласных (“мелодика”). Таким образом в метрику в широком смысле слова включается все разнообразие вопросов, связанных с звуковой формой художественной речи. Рифма при таких условиях утрачивает свое прежнее изолированное положение в системе поэтики» [Жирмунский 1923b: 304–305]¹⁷¹.

Внимание Шимкевича к нюансировке интонации, к высотам и долготам гласных, вводит его скорее в фарватер исследований Сергея Бернштейна и Института Живого слова. На фоне этих работ, построенных вокруг лабораторных экспериментов, доклад Шимкевича откровенно архаичен, а система диакритик своей приблизительностью передачи данных (полученных, к тому же, из вторых рук от составителей фольклорных сборников) проигрывает на фоне сложных диаграмм фонетических колебаний, публикуемых в трудах Бернштейна и ИЖС, а затем и КИХР [Olenina 2020: 43–102].

Сильнее всего в работе чувствуется ближайший контекст — труды Перетца, под руководством которого работа создавалась, а также Жирмунского, присутствующего в работе эксплицитно. Само стремление устанавливать и описывать «законы» литературы вписывается в компаративистскую филологическую парадигму, недавно описанную в качестве исходной точки формализма: [Merrill 2022: 226]. Интерес Шимкевича к песне как поэтическому феномену мог быть навеян методологически важной книгой Перетца «Из истории русской песни» (СПб., 1900)¹⁷², и именно по вопросу о древнерусской рифме Перетц спорил со Шляпкиным. В эту рамку из работ руководителя семинара Шимкевич стремится вписать новые достижения стиховедения. Учитывая соображения Жирмунского о процессе деканонизации точной рифмы (венцом которого стала лирика Блока), он рассматривает народный фундамент этого феномена. К этому его мог подтолкнуть и сам Жирмунский, который писал: «Думается, что внимательное изучение народной лирической песни сумело бы под слоем городского, книжного влияния отыскать таким же методом следы старинного и самобытного искусства эмбриональной рифмы, возникшего под влиянием параллелизма и подготовившего рецепцию новых форм рифмованной лирики книжного происхождения» [Жирмунский 1923b: 296]. Книга Жирмунского вышла

¹⁷¹ Жирмунский и прямо возражал Эйхенбауму с позиции Сиверса [Жирмунский 1928: 107–109, особенно 115].

¹⁷² Исследователи пишут о работах Перетца: «Речь шла не только об анализе песен “самих по себе”, но в первую очередь о рассмотрении их как источника уже последующего ученого, “высокого” поэтического творчества» [Бабак, Дмитриев 2021: 65].

уже после доклада, однако ее положения испытывались на лекциях и докладах, так что Шимкевич мог в деталях знать идеи стиховеда. При этом он явно подразумевает под «точной» рифмой что-то отличное от примеров Жирмунского, но не дает развернутого объяснения, и, как можно понять из контекста, для Шимкевича «точной» рифмой в песне является совпадение высоты и долготы гласного, поэтому само определение такой «рифмовки» невозможно без музыкальной записи песни. В свою очередь, Жирмунский аккуратно обходит вопрос о песне, ссылаясь на то препятствие, которое было учтено Шимкевичем, но не остановило его: «...изучение лирической песни требует точной записи музыкального исполнения, которая во многих случаях отсутствует» [Жирмунский 1923b: 263].

Рассмотренный доклад вряд ли внес сколько-нибудь заметный вклад в стиховедение хотя бы из-за шаткости источниковедческих оснований и терминологии, однако в общей интеллектуальной траектории Шимкевича он сыграл довольно важную роль, как первый серьезный опыт сращения символистски-потембинской [Потебня 1990: 36] эстетики синтеза искусств с морфологически-формалистским инструментарием, опирающимся на штудии Жирмунского.

§2. Акме

В 1923 году Шимкевич начинает работать в Институте и тем же годом датируется его доклад «К вопросу о задачах поэтики». Эта работа прежде всего отталкивается от книги Жирмунского «Композиция лирических стихотворений» (1921) и особенно его же статьи «Задачи поэтики» (1919), основные положения которой необходимо напомнить¹⁷³. В этой статье Жирмунский как бы конструирует каркас науки о литературе, причем «поскольку материалом поэзии является слово, в основу систематического построения поэтики должна быть положена классификация фактов языка, которую дает нам лингвистика» [Жирмунский 1928: 39]; об отношении формалистов к такой позиции см. [Ханзен-Леве 2001: 283–286]. Жирмунский предлагает заимствовать ряд категорий из стилистики — он намечает такие главы, как поэтическая фонетика, грамматика, синтаксис, семантика и историческая лексикология. Вне стилистических проблем располагаются главы о тематике и композиции. Соответственно этим главам, основными понятиями науки о литературе ученый предлагает считать стиль, материал и прием. В целом эта модель существует в русле формального метода, однако в ней заметно снижен тот пафос, который был принципиален для «ядерных»

¹⁷³ Ян Левченко пишет, что эта статья имеет «не концептуально-рефлексивные задачи, а исключительно прикладные, просветительские задачи» [Левченко 2012: 37]. Кажется, он прав лишь отчасти: статья действительно имеет прямую прагматику, но скорее административного, чем просветительского толка: Жирмунский пишет ее, размышляя о конфигурации научной работы в стенах Института.

опоязовцев — пафос выделения науки о литературе в отдельную, независимую область. Конечно, и Шкловский, и Эйхенбаум имеют в виду некоторую базу гуманитарных наук, но никто из них так явно эту связь не эксплицирует, а скорее затемняет, подчеркивая имманентность литературного ряда и его категорий. Для Жирмунского же характерна постановка вопросов, с которыми основоположники формальной парадигмы старались лишней раз не соприкасаться — вопросов общей эстетики: он начинает статью с небольшого рассуждения о положении поэзии среди разных видов искусств, и именно это служит начальной точкой размышлений в докладе Шимкевича.

Рукопись «К вопросу о задачах поэтики»¹⁷⁴ хранится в Пушкинском Доме, текст не отделан окончательно, но основной ход мысли в нем вполне зафиксирован. Начинает Шимкевич с довольно традиционного деления всех искусств на две группы по признаку статики или динамики. Поэзия оказывается во второй группе и соседствует с музыкой и пляской¹⁷⁵. Динамика рождает основное свойство этих искусств — баланс и симметрию, которые выражаются ритмом. При этом, по словам Шимкевича, «музыка и поэзия имеют особое родство в звуке, отсюда изучение их может идти очень часто по путям сравнения». И далее на протяжении статьи он подходит к поэзии прежде всего со звуковой стороны, используя для этого в том числе и музыковедческую терминологию. Уже в этом кроется коренное отличие от формалистских установок: в то время как опоязовцы обособляют науку о литературе от других областей, Шимкевичу свойственно именно исследование и использование общих категорий, поэтому он намечает схожие черты музыки и поэзии. Для ученого не принципиальна эстетика слова, он утверждает, что оба искусства оперируют прежде всего звуком, но музыка — это чистый звук, и поэтому она сама по себе лишена мысли, а поэзия — это «звук, служащий в реальном значении, главным образом, мысли».

На основе этого понимания Шимкевич выделяет три области для изучения — это ритм, гармония и мотив. При сравнении со статьей Жирмунского в глаза бросается близость формулировки. Жирмунский, рассуждая о методах изучения искусства вообще, несколько фраз посвящает музыке, формы которой, по его словам, состоят из ритма, мелодии и гармонии. Это деление, вполне традиционное в музыковедении, перекликается с «Поэтикой» Аристотеля, который писал, что в поэзии «воспроизведение совершается ритмом, словом и гармонией, и притом или отдельно, или всеми

¹⁷⁴ Доклад был прочитан 14 января 1923 года [Отчет 1924: 221]. В curriculum vitae доклад назван «Основные главы современной поэтики» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 148. Л. 4]. В «Отчете о научной деятельности Института за первое полугодие 1923 г.» он назван «Задачи поэтики» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 115. Л. 29]. В «Атене» он назван «Система поэтики» [Атенеи 1924, I–II: 183].

¹⁷⁵ Это разделение Шимкевич мог позаимствовать у Рудольфа Вестфаля, систему которого пересказывает Жирмунский. Маркером именно этого источника может служить слово «пляска» вместо «танец» [Жирмунский 1921: 7–8].

вместе» [Аристотель 1927: 41] (литература об отношении формалистов к Аристотелю приведена в [Steiner 1984: 38]). Шимкевич как бы объединяет эти понимания, заменив спецификаторские «слово» или «мелодия» на общий термин «мотив», и это понимание прикладывает и к поэзии, и к музыке. Ориентация именно на эти источники несомненна: и Аристотеля, и Жирмунского Шимкевич прямо упоминает. В черновиках сохранилось вступление, которое, видимо, слишком явно эксплицировало разницу подходов с ориентиром: «Настоящая работа вызвана многими современными исканиями в области поэтики и в особенности появлением статьи В. М. Жирмунского — “Задачи поэтики” в 1 № журнала “Начала”. В. М. строит главы поэтики с их подразделениями почти полностью параллельно лингвистике. Высказывая свои соображения по поводу построения глав и связанных с этим вопросов я имею в виду обосновать все на принципе родства искусств и в особенности поэзии и музыки»¹⁷⁶.

На описанной триаде ритма, гармонии и мотива Шимкевич конструирует аналитическую модель. Для изучения первого феномена ключевым понятием становится баланс, то есть некоторый маркер ритма — обычно он проявляется через рифму или деление текста на такты (это понятие Шимкевич мог позаимствовать у Томашевского, который в 1921 году читал в Институте доклад о ритме «Пиковой дамы», в котором он широко пользовался тактовым делением). По принципу баланса Шимкевич строит некоторую модель истории русского стиха из четырех эпох.

Первая из них — «балансно-музыкальная и балансно-словесная», где слово подчинено музыкальной мелодии, стих подчиняется песенности как конструктивному свойству. Такт здесь «идет в разрез и с экономией практической речи, употребляя вставочные отдельные частички, целые повторения, синонимическую тавтологию и т. п. Все это, важное для заполнения словесного такта <...> иногда остается и в других эпохах, как элемент песенности стиха». Примером ученому служат былины в нотной записи, и ритм этой эпохи он предлагает изучать сугубо через музыку.

Вторая эпоха — «силлабо-словесная», в которой стих отделяется от музыки и «стремится к объективности». Шимкевич размышляет о «двойном согласии», вспоминает о Симеоне Полоцком и обращает внимание на грамматический характер рифмы, утверждая, что она в этот период «почти преимущественно глагольная или отглагольная причастная».

Третья эпоха организации такта — «метро-словесная», то есть силлаботоническая. Здесь он обращается к понятию метра, определяя его следующим образом: «Теперь в основу построения такта, кладутся мелкие, математические отсчитыватели, находящиеся в стопах. То или иное их условное количество делает из такта метр. Метр, как математически мелкая канва, представлял возможность использовать наибольшее количество инди-

¹⁷⁶ Между работами Жирмунского и Шимкевича есть и еще ряд пересечений — например, критика дихотомии «форма-содержание» через образ «сосуд-жидкость» или анализ первого катрена пушкинского «Брожу ли я вдоль улиц шумных...».

видуально-значимых ударений». Далее он ссылается на известную концепцию Андрея Белого и разводит понятия ритма и метра. Для Шимкевича ритм — это родовое понятие, а метр — видовое. Для третьей эпохи характерен именно метрический ритм. Впрочем, работу Белого Шимкевич скорее оспаривает, лишь отчасти на нее опираясь. Он замечает, что его противопоставление «какого-то ритма метру, как чему-то докучно-простому» само является симптомом уже следующей, четвертой эпохи, которую он называет «балансно-словесной», то есть в ней совершается «возврат к первой во втором ее виде». «Она явилась разрушительницей начал симметрии, возможного ударения и условной безударности», то есть разрушительницей, собственно, метрики. В качестве представителей эпохи Шимкевич перечисляет «Блока, Гиппиус, Бальмонта, Кузмина и других». Построив эту модель, он подводит итог сказанному о ритме: «мы констатируем общеобязательную устойчивость его родового свойства — деления на такты — и видовые <свойства>, выражающиеся в приемах организации такта».

После обсуждения ритма Шимкевич переходит к гармонии. Зыбкая метафора, какой гармония представала в ранней заметке о Теплякове, теперь терминологизируется — скорее всего, в этом можно усмотреть влияние Томашевского, который в докладе 1922 года концептуализировал понятие гармонии, взятое им у Мориса Граммона (возможно, в тексте Шимкевича также можно искать отзвуки основанных на Граммоне статей Осипа Брика и Владимира Шкловского (брата Виктора) из первых опоязовских «Поэтик»). По Томашевскому, понятие гармонии объединяет «в себе понятия о закономерности (качественной) голосоведения и о ритмических соответствиях, подчеркиваемых качественно-звуковыми соответствиями» [Томашевский 1929: 22]; см. [Steiner 1984: 176]. При этом Томашевский предупреждает о путанице, которую несет смешение филологической терминологии с музыковедческой, но для Шимкевича именно эта омонимичность позволяет пользоваться понятием очень широко. По сути, под гармоническими понимаются все основные проблемы фонетики: «заполнение тактов звуками, сгруппированными в слова — источник для наблюдения гармонии и дисгармонии». Филолог разделяет звуки поэтической речи в музыкальном отношении на гармонические и дисгармонические, то есть гласные и согласные. Соответственно, под гармонией понимается созвучие гласных, а под дисгармонией — скопление («сгруппировка») согласных. Шимкевич подробно описывает гармонические фигуры и приемы, среди которых выделяются гармония натуральная, мотивная и живописная. То же самое относится и к дисгармонии. Под натуральной подразумевается созвучие ударных внутри стиха — например, «Равнодушно бури жду», в том числе их чередование — например «о, и» в стихе «Наш дольний мир, лишенный сил», или обрамление — в стихе «И яркий блеск свечей и нежные слова» «а» в «яркий» и «слова» обрамляет линию из трех «е» (эти примеры Шимкевич прямо позаимствовал у Жирмунского [Жирмунский 1921: 8–9]). Другие виды гармонии так подробно не категоризируются, но «мотивная» связана с семантической нагрузкой звуковых повторений, а под «живо-

писной», подразумеваются звукоподражания, типа роли «р» в слове «ревуший». Далее идет довольно обширное описание разных комбинаций гармонических приемов и ряд примеров, так же описаны и проанализированы приемы дисгармонии.

Наконец, третьей областью изучения поэтики Шимкевич называет мотивику, то есть изучение мотивов. Эту главу он начинает с разделения темы, сюжета и собственно мотива. Под темой, которой большое внимание уделял Жирмунский, Шимкевич подразумевает идею, некоторый набор отчуждаемых внелитературных смыслов, заложенных в произведение. С изучением литературы через тематику Шимкевич активно спорит, и в традиционной постановке вопроса — важнее ли изучать в произведении «что» или «как сделано», он ратует за второй, формалистский ответ. Сюжет для него — это «оформление темы», то есть реальное воплощение темы через рассказываемую историю. Наконец, мотив — это динамическая основа движения сюжета, из традиционных областей поэтики ближе всего стоящая к композиции. Он пишет:

Лирика всегда имеет только мотив, как непосредственно выливающееся из темы. Мотив ее, конечно, может быть и простым, и сложным. Эпика имеет и мотивы, и сюжет, как оформление темы. Мотив может быть и простой, и сложный, и двусторонний, и т. д. Так тема «Евгения Онегина» — неудачная любовь. Тема сама по себе бесформенна и обща. Поэт ее оформляет, т. е. берется известная эпоха, класс, лица, наконец, все локализуется вообще, и таким образом создается сюжет. Основные этапы мотива расположены контрастовой симметрией — сперва Татьяна признается в любви Онегину — неудача, потом Онегин Татьяне — опять неудача. Сюжет развит по особой художеств. задаче. Он осложнен параллелью по той же теме неудачной любви — Ленский и Ольга. <...> Что будет важнее для искусства Пушкина — тема ли (неудачной любви) или картина ее развития? Несомненно последнее. Это и есть «как». Следовательно, третий и последний вопрос по главам поэтики — мотивика, а не тематика.

После этих рассуждений Шимкевич итожит свою модель поэтики. Ритм, звук и мотив он предлагает изучать в рамках ритмики, фоники и мотивики, подобно тому, как Жирмунский предлагать изучать стиль через стилистику, материал через тематику и прием через композицию (ср. с «Поэтикой» Томашевского, которая делится на стилистику, метрику и тематику). Рукопись завершается вполне формалистским призывом:

В заключение скажу, что отвлеченное понятие о поэзии, как особой деятельности мышления, должно быть приведено к реальному основанию, т. е. к понятию поэзии, как искусства, тогда она станет на свое место и история поэзии будет историей одного из искусств, а не совокупностью культурно-исторических портретов <...>. Будущая история поэзии, вооруженная теоретической мыслью, проверившая все прошлые аттестации и термины и выработавшая общий язык, даст яркую картину смены стилей эпох и личных, т. е. того, что скажет о поэзии, как искусстве, в историческом движении.

В черновиках осталась еще одна редакция финала, более экспрессивная:

Будущая история поэзии, вооруженная теоретической мыслью, проверившая все прошлые аттестации и термины, и выработавшая общий язык, арсенал и бесконечно много нового с благодарностью почерпает весь необходимый материал от своей предшественницы. Впереди необъятное поле радостной работы, облегченное тяжелым и упорным трудом прежних подвижников, и радость эта должна быть общей, т. к. наших единоначальных сил на создание этого колосса не хватит.

Модель Шимкевича предельно, даже радикально динамична — на каждом из указанных уровней поэзии его привлекает именно движение, выстраивание некоторой последовательности переменных, а не состояние объекта самого по себе. Поэтому его аналитические приемы могут прочерчивать нетривиальные закономерности, но трудно представить через эту призму въедливый анализ отдельно взятых текстов — неудивительно, что он таких примеров и не помещает, в отличие от Жирмунского, который два последних раздела статьи отводит чтению конкретного пушкинского стихотворения и небольшого отрывка тургеневской прозы. Нигилизм Шимкевича по отношению к тому, что он называет содержанием или тематикой, вполне созвучен эпатажным ранним выступлениям формалистов, хотя его взгляды на саму структуру литературоведения, конечно, с ними несовместимы. Его панмузыкальность, стремление к синтезу искусств и своеобразная модернистско-бергсонская мания динамики, противопоставляются авангардистской установке на отдельную дисциплину и отдельный факт, *вещь* в терминах ОПОЯЗа. Соблазнительно в указанных чертах увидеть своеобразный протоструктурализм, но это будет некорректно — здесь скорее стоит говорить о воззрениях, близких к символизму, но выраженных академическим языком. В момент вступления в коллектив Института Шимкевич, наравне, например, с Перетцем, Энгельгардтом и самим Жирмунским, оказывается в стане тех, кого позже опоязовцы назовут «академическими эклектиками», то есть тех, кто разделяет общеформалистскую эпистему, но приходит к ней совершенно иными путями.

В первые годы в Институте Шимкевич занимался в основном изучением творчества отдельных поэтов XIX века, прежде всего Лермонтова и Некрасова. Единственной цельной его работой о Лермонтове оказался доклад «Лермонтов и Подолинский», поэтому стоит его рассмотреть внимательнее.

Беловая рукопись статьи хранится в Пушкинском Доме и состоит из 53 пронумерованных листов (далее ссылки ставятся на номера листов в круглых скобках). В конце проставлена дата — «1922. 20 ноября. СПб», при этом доклад был прочитан лишь через полгода, 6 мая 1923-го. В этой работе Шимкевич будто дополняет положение Эйхенбаума о том, что «перед Лермонтовым стояла сложнейшая задача — преодолеть пушкинский канон. <...> Он окружен поэтами, и в первых своих поэмах учится больше у Козлова, у Батюшкова, у Дмитриева и даже у Марлинского (“Андрей Переяславский”), чем у Пушкина» [Эйхенбаум 1969: 408] — Шимкевич намерен

добавить к этому еще одно имя, не просто установив влияние стихов Андрея Подолинского на «Демона», но и изучив механизм их диалога:

Немногие из исследователей Лермонтова останавливались именно над характером устанавливаемых совпадений и противостоев, большинство ограничивалось текстуальными сближениями, очень мало, а иногда и ничего не говорящими о художественной цели их использования. В особенности это касается аналогии с русскими поэтами. До сих пор Лермонтов по отношению к своим русским предшественникам и спутникам стоит каким-то мрачным, одиноким утесом — «сторожем пустыни».

А между тем его сложное, в силу своей склонности к противоречию и обострению, творчество требует особого наблюдения окружающих поэтов, в особенности так называемых байронистов; — их всех роднила сюжетная близость, а в мотивировке развития сюжетов разбивала на слои, постепенно заострившиеся в Лермонтове (л. 1–2).

Вряд ли можно назвать случайным совпадением близость этой идеи к пишущейся в то же время книге Жирмунского «Байрон и Пушкин» (ее отрывки читались в виде докладов и публиковались с 1919 года [Жирмунский 1923а: 295]). Анализ сюжетной схемы поэтической продукции русского байронизма стал одной из основ этой работы. Жирмунский намеренно не анализирует влияние «романтических поэм» на Лермонтова, поскольку эта проблема «требует в настоящее время существенного пересмотра, что могло бы составить тему специальной монографии» [Жирмунский 1924: 331], но при этом он указывает на необходимость изучать диалог поэта с авторами «второго ряда», из которых особенно выделяет Бестужева-Марлинского и Подолинского, ссылаясь на неизданную работу Шимкевича. Автор «Лермонтова и Подолинского» пишет:

Имя его <Подолинского> редко связывалось с ярким именем Лермонтова и то только вскользь, как нечто, может быть, самостоятельно и ценное, но трудно оживимое и почти совершенно чуждое Лермонтову <...>

Но для Лермонтова в его художественных задачах важны были композиционные приемы творчества Подолинского и мотивы, которые он, заново перестроив, мог вести до конца в желаемом направлении.

Вскрыть то, что Лермонтов мог применить или переработать в своем духе из Подолинского, я и ставлю своей задачей. Следовательно, вопрос не в элементарных текстуальных заимствованиях Лермонтова, а в глубокой перестройке положений и мотивов в родственных сюжетах. <...> У Подолинского Лермонтов находил солидный художественный запас разнообразного характера, к тому же обработанный часто не так, как ему хотелось. В данной работе я ограничусь из Лермонтова только «Демоном» (л. 2–4).

Одним из импульсов исследования стала длинная текстологическая история «Демона» (ученый пользовался академическим собранием под редакцией Д. И. Абрамовича, см. ниже). Для Шимкевича как опорные пункты важны редакции 1829 года, 1833-го и финальная версия 1839-го: «В результате такой долгой работы все то, что вначале имело иногда один вид,

потом настолько изменилось, что местами остались от прежнего только туманные нити, а порою нет и их» (л. 4). К моменту начала работы над «Демоном» Лермонтов мог быть знаком с двумя большими вещами Подолинского — «Дивом и Пери» (опубл. 1827 г.) и «Борским» (опубл. 1829 г.), из которых для Шимкевича важна первая, «Борского» он в сопоставления не включает.

После краткого обзора литературы и нескольких частных сопоставлений Шимкевич анализирует персонажную структуру:

Теперь перехожу к параллелизации персонажей повестей. В «Диве и Пери» их три:

- 1) Див — демон
- 2) Пери — чистый и добрый дух.
- и 3) «Посланник Бога» — ангел Израфим.

В «Демоне» также три:

- 1) Демон.
- 2) «смертная» потом с добавлением — «монахиня», затем Тамара, которая в конце концов тоже монахиня, т. е. давшая обет чистоты, и
- 3) «посланник рая» — ангел.

В обеих повестях первых два — персонажи-темы, третьи — служебные персонажи. Имеются и еще лица в обеих повестях, но они симптоматичны и частью о них будет речь особая — как и о служебном персонаже — сопернике смертном (л. 9–10).

Далее следует подробное сопоставление двух персонажей, из которого следует, что лермонтовский Демон во многом является «заостренной», более выразительной версией Дива:

Когда вы читаете первоначальные наброски 29го года, то в стихотворных частях вы видите зародыши пока не совсем ясного, но очевидно сложного сюжета «Демона», а из прозаических — пути его будущего движения. И сразу же становится понятным, что художественная задача Лермонтова расходится с Подолинским, сюжет которого в зависимости от Жуковского, на исходе впитал в себя мотив обращения на путь праведный, и «падший» Див-демон, при помощи доброго духа, Пери, перешел на стезю раскаяния и спасения, а «Демон» наоборот — заострился. <...> Что может быть ближе таких двух демонстрадальцев? Подолинский в духе Лермонтова психологически раскрыл образ демона, но не довел его до конца. Эта задача осуществлена Лермонтовым (л. 9, 13).

Подробным образом сопоставляется и художественное пространство двух произведений:

Нельзя упускать из виду при параллелях композицию места. Анализ последнего устанавливает по отношению к двум разбираемым повестям следующее:

Общая локализация сюжета у Подолинского — восток, у Лермонтова после разных колебаний сюжет локализован также востоком — Кавказ¹⁷⁷.

Композиция места по главным персонажам в «Диве и Пери»:

- 1) Воздушное пространство (Полет Пери)
- 2) Дикие скалы, грот, около которого роскошная природа. (Пери, Див и Ангел)
- 3) Воздушное пространство. (Отлет Дива и Пери)

В «Демоне» первоначальных очерков и последнего вида:

- 1) Воздушное пространство. (Полет Демона).
- 2) Горы. (Дикие скалы в очерке 33 г. стр. 401) Келья. (Монахиня, Демон и Ангел).
- 3) По очеркам 30го и 33го годов: Кладбище (Ангел). Воздушное пространство (Демон).

По последнему виду повести в эпилоге — Воздушное пространство. (Душа Тамары, Ангел и Демон). Но об этом мы будем говорить особо.

Итак, композиция места действия, как и количество персонажей, связанных с местом одинаково для первых двух пунктов, по третьему — частичное расхождение, оправдываемое главной темой «Демона» (л. 19–20).

Отдельно сравнивается кульминационная локация: «место встречи (грот — келья), как и самая идея первой встречи греховного начала с образом чистоты, но не небесной, общи для Лермонтова и Подолинского» (л. 25).

Подробно сопоставляются сюжетные элементы и «световые приемы», возвращающие Шимкевича к студенческим «Портретным приемам творчества Пушкина». В сопоставление включается все больше элементов обеих поэм, но, чтобы зависимость Лермонтова от старшего поэта не выглядела тотальной, ученый отмечает, что Лермонтов включается в диалог не только с Подолинским, но и — иногда напрямую, иногда через посредство автора «Дива и Пери» — с традицией:

Очевидно, мы имеем сложное состояние перекрещивающихся художественных влияний, которые Лермонтов в течение многих лет переживал в различных степенях. Отсюда трудность сопоставлений с Подолинским, потому что последний сам перерабатывал Мура, переведенного Жуковским.

Так, например, у Мура в форме сравнения упоминается в поэме «Пери и Рай» неумолимый ангел мщенья, записывающий в книге жизни все земные преступления, чтобы потом слеза милосердия смыла их. Подолинский в «Диве и Пери» говорит, что этот летописец — унылый страж, который пишет на нетлеющих листах «повесть слез и злодеянья» и «молитвы покаянья», все это поставлено также в форме сравнения. Лермонтов все в том же очерке 30 года посвящает этому мотиву отдельную маленькую главу (4ая, стр. 390), где появляется странник, находит «пергамент», узнает историю «девы молодой», переводит на свой язык, но об этом «свету» говорить не стоит, т. к. он «не привык ценить чувств».

Чье тут влияние — непосредственно из Мура или через Подолинского — вопрос спорный, и я его оставляю без разрешения (л. 33–34).

¹⁷⁷ Ср. сближение байроновского Востока и Кавказа русских байронистов в исследовании Жирмунского. — В. О.

Сопоставляя разные варианты «Демона», Шимкевич утверждает, что «очерк 30 года крепче других связан с “Дивом и Пери”. Потом, удаляясь, уже с 33 года Лермонтов все обогащает новыми мотивами» (л. 35). В итоговой версии влияние этого произведения ощущается значительно меньше, но к 1839 году намечается другое влияние:

Подходя к окончательному виду «Демона», где многое из близкого к «Диву и Пери» или совсем пропало или значительно, ввиду многочисленных переделок, затушеввалось, мы сталкиваемся, как я уже упоминал, с новым произведением Подолинского. Произведение это уже всецело посвящено Пери. Оно было напечатано в 1837 году и носит название — «Смерть Пери». Основная тема, связующая персонажей-темы, — любовь: Пери любит смертного. Таким образом, основная тема любви, разобщающая «Демона» с «Дивом и Пери» связывает первого со «Смертью Пери». У Лермонтова до последнего вида повести соперника смертного нет, а потом он появляется.

По сюжетной композиции этот новый служебный персонаж создает следующие стадии: 1) появление смертного, 2) сразу же гибель его и 3) муки Тамары, монолог Демона со вставной песнью — «На воздушном океане...» (стр. 360).

В «Смерти Пери» композиционные стадии те же самые: 1) появление соперницы; 2) сразу же гибель ее и 3) монолог Пери со вставной песнью.

Сличая оба произведения по третьему пункту, получаем следующее: как Демон, так и Пери свой монолог и песнь посвящают тому, чтобы успокоить страдающих от потери своих возлюбленных и вызвать любовь к себе.

Метрически Лермонтов от 4х-стопного ямба повести в песне переходит к 4х-стопному хорею. Тот же переход мы наблюдаем и в «Смерти Пери», только начинающийся хорей потом строфически чередуется с четырехстопным амфибрахией (л. 39–41).

Далее Шимкевич указывает также и на ряд сходств в финале итоговой версии «Демона» и «Смерти Пери», уделяя этому особое место в выводах статьи, так как это позволяет филологу укрепить датировку фрагмента лермонтовского текста:

Подводя итог всему сказанному, я склоняюсь к той мысли, что названные сочинения Подолинского не только читались Лермонтовым, но и служили иногда материалом для переработки, в которой ценна возможность наблюдать лермонтовский прием обострения.

При этом повесть «Див и Пери» сказала на первых очерках, особенно 30го года, а «Смерть Пери», изданная в 1837 году, имела значение преимущественно для эпилога в «Демоне» последнего вида, годы которого теряются от 33 до 39го приблизительно. Следовательно, я полагаю, что эпилог и мотив соперничества со смертным появились не ранее 37го года.

Но должен заметить, что несмотря на часто смутные параллели между «Демоном» и известными произведениями Байрона, Т. Мура и Альфреда де Виньи и частые разнообразные совпадения с Подолинским, я признаю родство «Демона» сложным, так как Лермонтов в течение, может быть, 8–10ти лет обхватывал большой материал и, раздробив его, строил все заново (л. 51–52).

Этот доклад заслуживает столь подробного пересказа хотя бы потому, что он привлек внимание именитых коллег Шимкевича — выше уже приводились его упоминания Перетцем и Жирмунским, также на «Лермонтова и Подолинского» ссылается Эйхенбаум, называя доклад «К вопросу об источниках “Демона”» [Эйхенбаум 1987b: 282]¹⁷⁸. Когда Шимкевича брали на работу, планировалось, что он будет вести курс, посвященный Лермонтову [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 67. Л. 101]. Позже он опубликовал рецензию на книгу Эйхенбаума [Шимкевич 1924], обзор литературы о Лермонтове за десятилетие с 1914 года [Šimkevič 1925] (по-немецки, опубликован в журнале Макса Фасмера, что может указывать на посредничество Жирмунского в этой публикации), а также написал рецензию «Новое издание “Стихотворений” Лермонтова», оставшуюся неопубликованной [КШ], в рецензии идет речь об издании [Лермонтов 1924]. В библиотеке А. К. Кураевой сохранилось собрание сочинений Лермонтова [Лермонтов 1910–1913] с обильными пометами Шимкевича, но цельных работ о поэте он больше не писал¹⁷⁹.

Другой объемной работой, оставшейся в рукописи, была статья о традициях пушкинского «Домика в Коломне». Она была проанализирована отдельно [Отяковский 2020b: 189–195], поэтому стоит лишь добавить, что и в этой работе чувствуется ориентация на Жирмунского. В «Байроне и Пушкине» последний пишет: «...первые главы “Евгения Онегина” и “Домик в Коломне” несут также следы увлечения байроническими образцами, но здесь источником вдохновения является новый жанр комической поэмы (“Беппо”, первые песни “Дон-Жуана”); рассмотрение этого вопроса составило бы особую тему» [Жирмунский 1978: 32]. Именно этим рассмотрением Шимкевич в статье и занимается, явно ориентируясь на методологию главы «Пушкин и его подражатели» книги Жирмунского.

Не все статьи Шимкевича остались в рукописи. 14 октября 1923 года, когда ученый только был принят в Институт, он выступил с докладом

¹⁷⁸ В монографии Эйхенбаума влияние Подолинского на Лермонтова анализируется в основном на материале поэмы «Мцыри», именно эта версия была включена в обобщающие работы [Портнова 1981; Вацура 2007]. Стоит отметить, что в статье, опубликованной в 1948 году, Иван Розанов пришел к выводу о сходстве рифмовки двух поэтов, но отказал в адекватности этой версии: «Лермонтова надо сравнивать не с Подолинским, у которого техника преобладала над мастерством (мастерство никогда не ограничивается одной техникой), а с Жуковским и Пушкиным» [Розанов 1990: 334]. Среди формалистов к такого рода позиции относились с иронией (см., например, запись о Тынянове, Венгерове и Катенине: [Гинзбург 2002: 12]). Впрочем, в масштабных работах о русской поэзии Розанов руководствовался принципом «создания картины поэзии того или иного периода с учетом всех, даже самых малоизвестных, авторов» [Богомолов 2018: 100].

¹⁷⁹ Среди материалов Шимкевича сохранились папки выписок и заметок «Стихотворения приписываемые Лермонтову», «Лирика Лермонтова», «Рукописи Лермонтова», «Поэтика Лермонтова», а также «А. И. Подолинский» [КШ].

«Пушкин и Некрасов» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 119. Л. 90]¹⁸⁰. Доклад был переработан в статью, опубликованную в сборнике «Пушкин в мировой литературе» (о роли Тынянова в подготовке этого издания см. [Яковлев 1983: 62–63]). В ней также разворачиваются размышления Шимкевича о преодолении пушкинского творчества следующими поколениями поэтов. Он отделяет Пушкина «высокой», «священной» поэзии от Пушкина-пародиста, «фламандца». По мнению ученого, в 1830-е годы доминировал первый образ великого поэта, с ним боролись новаторы. Шимкевич утверждает, что Некрасов избрал путь разрушения канона через обращение к поэтике «второго» Пушкина, находящегося в слабой позиции:

Таким образом, перед нами два Пушкина: один — представитель высокой поэзии, знамя, за древко которого крепко держались его эпигоны, и другой — фламандец, непосредственный предшественник Некрасова и других. Гонимый за последнее современным ему обществом, он был, хотя бы в лице своих эпигонов, подвергнут гонению за первое со стороны новой поэзии, представителем которой был его же наследник — Некрасов [Шимкевич 1926: 344].

Спустя много лет, описывая искания формалистов, Виноградов оценил вклад Шимкевича в некрасоведение: «Проблема Некрасова была остро поставлена в работах Эйхенбаума, Тынянова и ряда других исследователей, например Шимкевича, который написал работу “Некрасов и Пушкин”» [Виноградов 1975: 262]. Эйхенбаум признавал родство метода Шимкевича с формальной школой — в статье «Теория “Формального метода”» он перечисляет «историко-литературные работы, непосредственно с “Опоязом” не связанные, но идущие по той же линии изучения эволюции литературы, как специфического ряда» [Эйхенбаум 1927: 146–147], среди которых упоминает статью Шимкевича. Возможно, формалист воспринял работу коллеги как отклик на собственный призыв 1922 года: «Дело — не в столетии, а в том, что Некрасовым, действительно, пора заняться. Пора показать, что Некрасов — сложная и живая историко-литературная проблема, для уяснения которой, несмотря на существование всяких специалистов, облюбовавших себе эту “легкую” тему, сделано очень мало» [Эйхенбаум 1969: 35]. Интересно при этом, что статью Шимкевича использует и марксист, критикующий формализм и указывающий на неточности концепции Виноградова [Яковлев 1930: 60]. Не исключена в работе Шимкевича и полемика со вскользь брошенным мнением Шкловского, что «Некрасов явно не идет от пушкинской традиции» [Шкловский 2016: 198]. Само указание на связь некрасовских стихов с конкретными пушкинскими строками в дальнейшем

¹⁸⁰ В «Отчете о научной деятельности Российского Института Искусств с 1 октября 1923 г. по 1 октября 1924 г.» указано, что Шимкевич готовит книгу «Пушкин и Некрасов», однако это могла быть описка — других свидетельств о том, что он собирался расширить статью до размеров книги, не обнаружено [ЦГАЛИ СПб. Ф. 82. Оп. 1. Д. 134. Л. 163]. Статья упоминается в curriculum vitae [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 148. Л. 4].

было поддержано в 1944 году в [Бицилли 2000], а в 1946 году — в [Гиппиус 1966: 237], хотя и не принято в [Чуковский 2012–2013: X, 52]. Мимоходом критиковал выводы Шимкевича партийный литературовед [Еголин 1958: 162]. Ценил эту работу Томашевский [Томашевский 1990: 285, 400].

Следующей работой Шимкевича о Некрасове стала статья «Бенедиктов, Некрасов, Фет»¹⁸¹, опубликованная в пятом выпуске сборника «Поэтика». Проблема самоопределения стихотворцев 1840-х годов в ней серьезно усложняется. Не усматривая в стихах Бенедиктова высокой художественной ценности, исследователь призывает пересмотреть их историческое значение. По его словам, поэт сыграл ключевую роль в расшатывании пушкинского канона и потому был жестко раскритикован. При этом творчество Бенедиктова оказало влияние на дебютные сборники Некрасова и Фета, которые по-разному, но в равной степени глубоко восприняли «поэзию мысли». Хотя в дальнейшем Некрасов и Фет станут антагонистами, Шимкевич доказывает, что изначально они черпали вдохновение из одного источника:

Роль Бенедиктова, как главнейшего выразителя эпохи поэтической смуты 30-ых годов ясна уже из того значения, которое он имел, как я показал, для представителей следующей эпохи — Некрасова и Фета и в деле разрушения пушкинского канона. Его же опыты, а именно таковыми он и считал свои ранние произведения, и должны рассматриваться как опыты, к которым нужно подходить научно, а не эстетически [Шимкевич 1929: 134]¹⁸².

Бенедиктов был одной из важных фигур периода преодоления пушкинской поэзии, поэтому неудивителен интерес к нему со стороны формалистов. Ему, например, посвящена одна из первых статей Лидии Гинзбург, которая опирается на иной материал, однако приходит к выводам, схожим с идеей Шимкевича: «Бенедиктов 1835 г. приобретает особое значение, в качестве факта, впервые резко столкнувшего и обнаружившего литературные тенденции двух групп, которым предстояло, во взаимном противодействии, надолго определить собой характер русской литературы и обществен-

¹⁸¹ Доклад, на основе которого была написана статья, был прочитан в ИЛАЗВ 6 апреля 1925 года [Атений 1926, III: 161]. Также он упоминается в отчете Шимкевича для этого учреждения [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 148. Л. 6]. В том же отчете указано, что им «сделано почти 300 выписок из Батюшкова и Пушкина для коллективной работы в 1ой Секции по собиранию теоретических высказываний русских писателей», а также упомянуты неизвестные по другим источникам доклады «Искания Полонского» и «Плещеев и старые традиции». На отчете стоит подпись Эйхенбаума: «Отчет К. А. Шимкевича удостоверен». Сохранился отпечаток статьи с инскриптом к коллеге по Институту: «Даже очень милому А. Л. Слонимскому от автора. 5/XII 29» [РГАЛИ. Ф. 2281. Оп. 1. Д. 254. Л. 22].

¹⁸² Ср.: «Кюхельбекер был осмеян очень основательно. Преувеличивать его значение, разумеется, не следует. Но его неудачи были небезразличны для литературы 20-х годов» [Тынянов 1977: 117].

ности» [Гинзбург 1927: 103]¹⁸³. Общим истоком обеих статей может быть замечание Тынянова о том, что «поэзия в 30-х годах мимо его <Пушкина> ушла не вперед и не назад, а вкось: к сложным образованиям Лермонтова, Тютчева, Бенедиктова» [Тынянов 1926: 126]¹⁸⁴.

Эта работа стала весьма известна, на нее ссылаются целый ряд исследователей, занимавшихся Некрасовым, Фетом¹⁸⁵ или Бенедиктовым¹⁸⁶. Например, можно найти дневниковую запись Александра Чудакова от 1990 года: «Размеры преступления советской власти перед филологией как-то забываются, но всякий раз поражают в каждом конкретном случае. Некрасоведение уныло и бледно, и едва ли не лучшая статья после Эйхенбаума и Тынянова — Шимкевича 1929 г. — их ученика <sic>, тоже формалиста. А, видимо, был рядовой ученик. Но сколько поставил чисто литературных проблем. И сколько бы было этого, если б не прикрыли издания вроде “Поэтики”. Все наше л/ведение (история литературы) было бы иным» [Чудаков 2015: 533].

Вышеизложенное показывает, как Шимкевич в своих штудиях движется по истории русской поэзии — от студенческих древнерусско-фольклорных штудий к профессиональным занятиям Золотым веком, затем от Пушкина и Лермонтова к Некрасову и Фету, а после, когда появляется Кабинет современной литературы, и к современной поэзии. Эти занятия, впрочем, не означают, что он перестал рефлексировать над теоретическими проблемами: общая поэтика оставалась в круге его интересов, и методологические установки Шимкевича эволюционировали со времен доклада о задачах поэтики.

Свидетельством этого может служить единственный опубликованный теоретический этюд филолога — «Роль уподобления в строении лирической темы». В нем Шимкевич анализирует такой прием выразительности как сравнение. Впрочем, уже сам термин «сравнение» ему кажется некор-

¹⁸³ В одной из следующих работ она, как и Шимкевич, сравнивает Бенедиктова с футуристами, упоминает об ученичестве Некрасова и восторге Фета перед «поэтом мысли» [Гинзбург 1936: 168–169, 181]. В поздней словарной статье, говоря о «футуристичности» Бенедиктова, она прямо ссылается на Шимкевича [Гинзбург 1989: 235]. Контекстуализацию интереса Гинзбург к Бенедиктову см. в [Шубинский 2001; Савицкий 2013: 34–37]. В контексте преодоления Фетом пушкинской гармонии Эйхенбаум упоминает типологическую схожесть Бенедиктова и Некрасова с футуристами, однако ученый подчеркивает антагонизм Фета и Некрасова вне связи с «поэтом мысли» [Эйхенбаум 1969: 436].

¹⁸⁴ Статья датирована 1923 годом и была прочитана в виде доклада в секции художественной словесности Института 13 апреля 1924 года [Тынянов 1968: 397].

¹⁸⁵ Сам Шимкевич к Фету больше не возвращался, хотя среди его материалов сохранились папки «Стиховые выходы Фета» и «Одические элементы в лексике Фета» [КШ].

¹⁸⁶ Статья упоминается и в обобщающих трудах [Прийма 1969: 13; Скатов 1982: 317]. Бывший младоформалист Бухштаб в биографии Фета развивает идеи, близкие статье Шимкевича [Бухштаб 1974: 22, 69–70].

ректным, и поэтому он выдвигает понятие «уподобления», поскольку устоявшееся понятие статично и не указывает на движение тематических планов. Тропы интересуют Шимкевича не со стилистической точки зрения, а с композиционной — по его словам, «уподобление» указывает на то, как основной план — то, что сравнивается, движется к неосновному — тому, с чем сравнивается, и таким образом происходит развитие тематического плана. На основании этого он выделяет три основные композиционные фигуры: первая из них характеризуется уравновешенностью, как в стихотворении Полонского «Нищий», где основной и неосновной планы строфически уравновешены, вторая — эквивалентная, где основная тема оказывается неразвитой, а воспринимается через «тематическую инерцию как эквивалент» — здесь в качестве примера приводится «Эхо» Пушкина. Наконец, третья фигура уподобления — потенциальная, где основная тема вообще не находит словесного воплощения — это «Утес» Лермонтова и многие стихотворения символистов. Шимкевич оговаривается, что в статье рассмотрены только основные двухчастные конструкции, в которых уподобление несет основную функцию, а в целом:

Употребление приема уподобления есть явление не необходимое с точки зрения движения тематического материала в основном плане, а характерное, преследующее свои цели. По существу всякое уподобление, при развитии лирической темы по основному плану, есть неожиданное уклонение и, следовательно, помимо свойств неосновных планов, должно рассматриваться как явление эффективное [Шимкевич 1927b: 45].

Нельзя сказать, что эта статья была активно воспринята в профессиональной среде — современниками она была замечена мало¹⁸⁷, да и в дальнейшем не вошла в теоретико-литературный канон, лишь изредка упоминаясь в серьезных работах, напр. [Вацуру 1985: 83]¹⁸⁸. В 1978 году, кажется, впервые статья Шимкевича получила подробный комментарий:

¹⁸⁷ Критик, констатирующая кризис формального метода, пишет в рецензии на вторую «Поэтику»: «Мало нового дают статьи С. Вышеславцевой (“О моторных импульсах стиха”), К. Шимкевича (“Роль уподобления в строении лирической темы”) и А. Федорова (“Проблема стихотворного перевода”)» [Шор 1927: 177]. В теоретической новизне Шимкевичу отказывает и украинский критик Борис Навроцкий: «Задание описательной поэтики как таковой выполняет статья: “Шимкевич. Роль уподобления в строении лирической темы”, поскольку хоть ее название и допускает возможность некоторого “теоретизма”, т. е. попытки выяснить суть “уподобления” и его функции, но на самом деле в статье описываются разные комбинации, с которыми мы встречаемся в лирике со сравнением» [Навроцкий 1927] (по-украински, за указание и перевод благодарю Галину Бабак). Возможно, отзвук работы Шимкевича звучит в записках младоформалиста Бухштаба: «Пробую исследовать сравнение: первый вопрос, с которого явно надо начинать: в каком смысле (в одном и том ли) и вообще как предидируется каждый член сравнения общим признаком. Сравнение — своеобразно удвоенный эпитет» [Бухштаб 2000: 476].

¹⁸⁸ По словам Алексея Балакина, Вацуру помогал передать часть собрания Шимкевича в Библиотеку Академии Наук. В частности, так в библиотеку попал единственный в

Разные формы сравнений дают возможность проследить и различные виды движений по основному и неосновному планам. Этими терминами пользуется К. Шимкевич в работе «Роль уподобления в строении лирической темы», но не объясняет их смысла. Если исходить, однако, из приводимых К. Шимкевичем примеров, то можно определить основной план как ту часть сравнения, которая содержит и развивает «предмет» сравнения, а соответственно часть сравнения, развивающая «образ», может быть названа неосновным планом. Термины эти могут быть заменены любыми другими; так, скажем, их можно назвать первым и вторым, или «предметным» и «образным», планами; они не являются чем-то устойчивым и постоянным в литературоведении. Более того, они не очень удобны при объяснении, так как создают двусмысленность, поскольку в сравнении оба плана должны рассматриваться как равнозначные. И тем не менее, по всей вероятности, не стоит вводить новой терминологии, поскольку и предложенные мной варианты ничуть не более удачны, так как тоже не являются однозначными [Еремина 1978: 93].

Наконец, концепция Шимкевича была пересказана в специальном исследовании, посвященном метафоре:

Первой заявкой на осмысленный подход к стихотворению-метафоре как таковому была статья К. Шимкевича «Роль уподобления в строении лирической темы». Под явным воздействием формальной школы ее автор, исходя из позитивистского понимания поэтики произведения, ограничивается исследованием композиционного значения «уподоблений» в «движении лирической темы». Основное внимание в ряду всевозможных вариантов уподоблений, встречающихся в русской поэзии, К. Шимкевич уделяет трем, именуемым им «двухчастными конструкциями»: первый из них характеризуется архитектурной (строфической) уравниваемостью обеих частей стихотворения («Нищий» Я. Полонского), а иногда осложняется «конклюдиями» («Водопад» А. Полежаева), т. е. заключительной, объединяемой две предыдущие, частью; второй — представляет собой сочетание двух планов — тематически развернутого и тематически неразвернутого, но семантически «эквивалентного» первому («Эхо» А. Пушкина); и третий, «потенциальный» («Утес» М. Лермонтова и многие стихотворения символистов), в котором «ложно основной» план создает «тематическую инерцию», утверждающую первый план не условно, как во втором типе, а свободно [Иванюк 1998: 133].

Ленинграде полный комплект сборников Жуковского «Für wenige». Судя по всему, именно это вспомнил ученый во время конфликта с БАН, когда его временно отстранили от работы с собранием библиотеки. В письме на имя директора библиотеки он писал: «Несколько ранее <чем 1989 год> в качестве эксперта я приложил усилия, чтобы в системе БАН остались на льготных условиях редчайшие и ценнейшие издания из частной книжной коллекции» [Вацууро 2005: 465]. А. К. Кураева передает слова Тамары Орнатской о том, что та знала о Шимкевиче со слов Вацууро: «Он жил с женой на Охте, у них был большой дом и козы. Благодаря им, он выжил в блокаду». Вацууро вряд ли мог лично знать литературоведа, так как в 1953 году, когда умер Шимкевич, ему было всего 18 лет.

После этой книги ссылки на Шимкевича стали чаще появляться в теоретико-литературных исследованиях.

Отзывы о статье так или иначе касаются специфичной терминологии, вводимой автором. Действительно, количество непривычных понятий выходит за принятые стандарты небольшой работы, однако объяснение этому можно найти в примечании, которое дается к публикации: «Глава (сокращенная) из подготовляемой к печати работы “Проблема строения лирической темы”» [Шимкевич 1927b: 44] — очевидно, что на протяжении целой книги авторская терминология используется более обширно и становится несколько яснее. В отчете за 1926/27 ак. год, который Шимкевич составил для ИЛАЗВ, он перечисляет выполненные им работы: «Принципы лирического замыкания», «О лирическом фрагменте», «Лирика и эпос», «Принципы плановых сцеплений». Помимо «Лирики и эпоса»¹⁸⁹, перечисленные тексты связаны именно с «Лирической темой». В том же отчете упомянута напечатанная в «Поэтике» статья и указано, что «Подготовлена и принята Г. И. И. И. книга о “Лирической тематике”» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 288. Оп. 2. Д. 148. Л. 7] (там же указано, что Шимкевич «Докладов нигде не читал ввиду перегруженности рабочими часами и в виду бездействия (почти в течение всего года) теоретической секции»). Выпуск «Лирической темы» был анонсирован в четвертом выпуске «Поэтики» [Отчет 1928: 153], однако книга так и не вышла. В собрании А. К. Кураевой хранится авторизованная машинопись, из которой механически изъяты две главы¹⁹⁰,

¹⁸⁹ Сохранилась рукопись этой небольшой книги [КШ]. Названия ее глав выглядят так: «Лирика и эпос», «Проблема формулы», «Конструктивные единицы», «Тематические массы», «Движение», «Начало и конец», «Пейзаж», «Конструкция».

¹⁹⁰ Возможно, эту рукопись перепечатывала студентка Ольга Берггольц. Об этом может говорить запись в ее дневнике от 7 июня 1928: «Устала; печатаю лекции Шимкевича. Если удастся руб<лей> 15–12 заработать — будет хорошо. В ИИИ заплачу» [Берггольц 2016: 546]; и другая запись за тот же день: «Написала “Кармен” и “Фонтаны” и обмерла — эпигонство, гладкость, грамотность. Нет ни того, что говорит Белинский, — насыщенной взволнованности, ни того, что говорит Шимкевич — искания форм. Но если второе в силу невозможности исканий в такой молодой период, — то первое — неужели в силу отсутствия поэтических данных? По Шимкевичу — необходимо быть ultrasознательной, осмысливая все по Белинскому — “бессознательной”. Ясно, что результат один и тот же, но пути разные. <...> Надо еще сдать: 1. Историографию» [Там же: 547–548]. В Пушкинском Доме хранится несколько машинописей с конспектами лекций Шимкевича: «Конспективная запись курса лекций по литературе проф. К. А. Шимкевича» о русской литературе XIX–XX вв., безымянная машинопись тезисов лекции по современной русской литературе, «Записки по литературе. 2-ой курс киноотделения», «Современная литература. Машинопись». Из них претендовать на сколько-нибудь объемную может только последняя, насчитывающая 19 листов, но и это не тянет на длительную работу. Исходя из этого, можно аккуратно предположить, что Берггольц перепечатывала «Лирическую тему». Последний из процитированных фрагментов примечателен тем, что курс «Историография русской литературы XIX–XX вв.» в 1927/1928 ак. году читал именно Шимкевич. Далее в дневнике есть такой фрагмент от 7 июля 1928 года: «Вот что надо сделать: бросить Институт истории искусств и

а в Пушкинском Доме находится полная рукопись ранней версии, озаглавленная «Поэтика» (цитаты далее приводятся без ссылок на неописанные собрания). Судя по всему, монография предназначалась для издания в авторитетной серии издательства «Academia» «Вопросы поэтики», где до того появились «Проблема стихотворного языка» Тынянова, «Русское стихосложение» Томашевского, «Морфология волшебной сказки» Проппа и другие важные для формалистов публикации. Скорее всего, «Лирическая тема» не успела выйти из-за начавшегося разгрома Института и его издательства.

Итоговая версия работы состоит из введения и 15 глав. Большое внимание Шимкевич уделяет обсуждению понятийного аппарата: «ставлю перед собой задачу главным образом установления терминологии». Учитывая раннее тяготение Шимкевича к общеэстетическим категориям, вдвойне важным оказывается отмежевание от музыковедческой терминологии, которая в «Лирической теме» уже «мешает точности определения словесного материала». Лирика, по словам ученого, это «внефабульный материал в ритмико-звуковом оформлении». Соответственно, ту функцию, которую в эпосе выполняет сюжет, в лирике занимает тема — это как бы основная ось, на которую нанизываются другие элементы:

Я считаю, что лирика есть такое тематическое состояние, которое может быть противопоставлено только эпосу, также как тематическому состоянию.

И если особенностью второго является установка на фабулу, как историю, как сцен и эпизодов, развивающихся в том или ином месте и находящихся в зависимости друг от друга с точки зрения времени, а, главное, причины, то особенностью лирики является внефабульное состояние тематики.

Тема отдельна от того, что Шимкевич называет стиховым заданием¹⁹¹ — то есть ритмики, метрики, фонетики, графики. Отдавая должное развитию стиховедения в новой науке о литературе, филолог выделяет тематику в отдельную область, которая лишь отчасти смыкается со стиховым заданием. В отличие от эпической фабулы, тема статична, но в стихотворении могут соединяться несколько тем, из которых второстепенные будут составлять лирические моменты, подчиненные основной теме. Собственно, из движения разных тематических планов и возникает лирическая динамика. Чаще всего тема является отвлеченной формулой типа «любовь», однако формула допускает разнообразные словесные закрепления — такие, например, как образы. Прием, в котором тема выражается через частный пример, Шимке-

пойти на гинеколога или в сельскохозяйственный, и потом в деревню — лечить баб, работать по организации совхоза... Какой характер надо твердый, и уж там учиться нужно честно. Уж там, как в литературе, нельзя не знать чего-либо, не принося вреда живым, и это обязывает. Если я не буду знать роли Булгарина и значения Гиппиус, это никому, кроме меня, — если я не Шимкевич — не вредит. А если я не буду знать малейшее видоизменение матки — я не смогу лечить никого» [Там же: 551].

¹⁹¹ Возможно, этот термин восходит к [Жирмунский 1921: 8].

вич называет «образом отграничения», приводя в пример лермонтовскую «Сосну», где основной темой является «одиночество», однако она названа лишь мельком, и не в качестве тематической формулы, а в применении к конкретным образам.

Описанию разветвленной терминологической модели посвящена половина монографии: главы «Исходные понятия», «Лирический момент», «Тематические планы и категории», «О лирическом фрагменте», «Лирический переход и лирический перелом», «О характере драматического движения» иллюстрируют эти понятия через нанизывание примеров из разнообразных поэтических текстов.

Вторая половина монографии посвящена разнообразным принципам построения лирической темы: «Принцип плановых сцеплений», «Принципы лирического замыкания», «Принцип отождествляющего определения», «Принцип ослабленного отождествления», «Принцип уподобления», «Принцип экземплификации», «Принцип афористического констатирования», «Принцип исключения», «Принцип антитезы». Подробный анализ аналитической модели Шимкевича не входит в задачи этой главы, поэтому из целого ряда вопросов, возникающих в связи с «Лирической темой», стоит остановиться лишь на рецептивном аспекте монографии.

В работе Шимкевича отсутствует категория лирического героя, субъекта — построение темы его интересует именно как набор композиционных категорий и их смена, в этом смысле его понимание лирики вполне формалистично. Тынянов неявно противопоставлял тему и прием [Тынянов 1977: 500] — Шимкевич, в свою очередь, воспринимает саму тему *как* прием, описывает ее в категориях тропов. Осознанно или нет, он отвечал на замечание Бориса Энгельгардта: «чрезвычайно ограничены возможности формальной школы в разработке проблем поэтической тематики. Развернуть эту проблему во всей ее широте формальная школа не в состоянии» [Энгельгардт 1927: 76–77]

Глава, посвященная принципу уподобления, не дублирует печатную статью Шимкевича — в этом смысле препринт в «Поэтике» оказывается не просто рекламой книги, а потенциальным расширением ее проблематики (схожее может быть сказано и о статье Проппа «Трансформации волшебных сказок» в четвертом выпуске «Поэтики» [Steiner 1984: 91]). В контексте всей монографии «Роль уподобления в строении лирической темы» начинает казаться более конструктивной, отдельные замечания филолога оказываются встроенными в, может, нестройную, но все-таки систему.

При этом нельзя не обратить внимание на явную избирательность ссылочного аппарата монографии. Шимкевич практически ни разу не упоминает никого из современных ему теоретиков литературы — он ссылается на Потебню, Овсяннико-Куликовского, некоторых других предшественников, но совсем не использует работы формалистов или их оппонентов. При этом он насыщает текст примерами из новейшей поэзии — регулярно цитирует футуристов, имажинистов, Ахматову, Гумилева, символистов. Точно также он цитирует для иллюстрации поэтических принципов эссеистику таких

авторов как Андрей Белый, Вадим Шершеневич, Сергей Бобров — то есть современность напрямую включена в его анализ, но не концептуальный аппарат. Это умолчание кажется загадочным, филолог будто пытается творить систему на пустом месте, хотя употребляемые им термины вроде «эквивалента» или «конструктивной функции» явно восходят к книге Тынянова «Проблема стихотворного языка».

При этой «закрытости» книга Шимкевича все-таки содержит научную полемику, спрятанную за фасадом авторских рассуждений. В качестве примера можно указать на пятую главу «Лирической темы», которая называется «О лирическом фрагменте», и сама эта формулировка отсылает к двум статьям Тынянова — «Вопрос о Тютчеве» (1923) и «Литературный факт» (1924). В первой из них Тынянов рассуждает о лирическом фрагменте как специфичном кратком жанре, который становится основой для «совершенно невозможных ранее стилистических и конструктивных явлений; таковы <у Тютчева> начала стихотворений» [Тынянов 1977: 43]. Кроме того, по Тынянову, фрагмент характеризуется парадоксальной законченностью: «У него поразительная планомерность построения. Каждый образ усилен тем, что сперва дан противоположный, что он выступает вторым членом антитезы» [Тынянов 1977: 44]. В «Литературном факте» Тынянов также упоминает проблему исторической динамики жанров и, в частности, динамики фрагмента как жанра: «Отрывок поэмы может ощущаться как отрывок поэмы, стало быть, как поэма; но он может ощущаться и как отрывок, т. е. фрагмент может быть осознан как жанр» [Тынянов 1977: 257], также см. [Лейбов 2000]. Что по этому поводу пишет Шимкевич? Прежде всего, фрагмент для него — это не жанр, а один из принципов строения темы, он говорит скорее о фрагментарности как приеме:

Вполне очевидно, с точки зрения взгляда на лирику, как на род тематики, что впечатление фрагмента создают такие лирические произведения, которые являются без следующих трех факторов, вместе или порознь взятых: какого-то не подготовляющего, а опорного выходного лирического момента, затем какого-то лирического момента, связывающего соседние лирические моменты, если эта связь необходима, как явление конструктивной системы, и, наконец, какого-то заключительного лирического момента, создающего ощущение не только конца, как явления логического порядка, но и предела и т. п., как явления эмоционального характера.

То есть фрагментарность характерна для стихотворений без выраженного на тематическом уровне зачина, связности или финала. В указанной главе Шимкевич подробно говорит именно о первом случае, о фрагментарности без опорного момента. Отчасти это совпадает с Тыняновым, который также подчеркивает прежде всего невозможные до Тютчева *начала* стихотворений, однако Шимкевичу важна не грамматическая форма зачина, но именно фрагментарность в выстраивании темы — поэтому те стихотворения, которые начинаются резко, чаще всего с союзов «и», «но», «а», но затем мотивируют такую резкость, он не считает фрагментарными. Настоящая

фрагментарность для него заключается в отсутствии любых мотивировок, он приводит несколько таких примеров, но в целом указывает, что «в противоположность некоторым мнениям, лирический фрагмент есть явление сравнительно редкое, требующее выполнения вышеуказанных условий. В противном случае, т. е. если опираться на одну внезапность, то в лирике, наоборот, за немногими исключениями все будет внезапно, отрывочно и т. п., т. е. почти все будет фрагментарно». Если сравнить это с той «планомерностью построения» тютчевского фрагмента, о которой пишет Тынянов, то несложно увидеть в словах Шимкевича прямое возражение более известному коллеге. Кроме того, Шимкевич совершенно не учитывает ту внелитературность отрывка, на которой настаивает Тынянов. Наконец, в этой главе «Лирической темы» практически не упоминается Тютчев, за исключением одного примера, в котором как раз-таки обосновывается не-фрагментарность его стихотворения. Учитывая роль Тютчева в поэтике фрагмента, остается принять такое пренебрежение лишь за фигуру умолчания, минус-прием. Получается, что монографию Шимкевича можно прочесть не только как лабораторный эксперимент по разработке новой терминологии, но и как полемический жест по отношению к более известным коллегам. Это положение тем более справедливо, что уже в следующей работе Шимкевич «поднимает забрало» и открыто полемизирует с Тыняновым.

Выше были приведены слова Александра Чудакова, который называл Шимкевича учеником Эйхенбаума и Тынянова — исторически это неточно, но такое сближение вполне симптоматично. В другом месте Чудаков указал, что «Бенедиктов, Некрасов, Фет» содержит полемику с тыняновскими «Стиховыми формами Некрасова» [Тынянов 1977: 406]. Близость Шимкевича к «академическому эклектизму» вызвала у Тынянова резкий отзыв о коллеге в известном письме к Лидии Гинзбург с характеристикой пятого выпуска «Поэтики»: «Работы Жирмунского, Гуковского, Шимкевича, при их разности, считал и считаю работами враждебными ОПОЯзу, враждебными тому направлению, которое я считаю главным делом своей жизни» [Савицкий 2011: 93] (в свою очередь, Гинзбург вполне нейтрально упомянула Шимкевича в письме к Шкловскому с обсуждением этого выпуска «Поэтики» [Устинов 2001: 316]). К сожалению, другие упоминания Шимкевича Тыняновым неизвестны, если не считать экземпляра «Проблемы стихотворного языка» с дарственной надписью «Дорогому Константину Антоновичу Шимкевичу», датированной 6 мая 1924 года (собрание А. Ю. Балакина). Через пять дней после этой надписи Тынянов читал свою статью «Литературное сегодня» в Комитете современной литературы, и в прениях после доклада Шимкевич указал «на статичность определения автором статьи жанра, между тем как жанр текуч» [РГАЛИ. Ф. 1527. Оп. 1. Д. 36, сообщено Ксенией Кумпан]. Спустя несколько лет эту претензию к

коллеге он развил в целую работу, критикующую «Литературный факт»¹⁹² (1924). Эта рукопись заслуживает пристального прочтения, поскольку в ней ярче и полемичнее всего выражается позиция ученого относительно опоязовской методологии¹⁹³.

Статья Шимкевича «Жанр и его термины» не закончена, материалы к ней находятся в папке, на обложке которой указано название и посвящение «Ю. Н. Тынянову»¹⁹⁴. Помимо основного текста статьи в папке собраны несколько листов с черновиками и сторонний фрагмент работы о символизме. Сохранившийся текст состоит из 28 листов в авторской нумерации, именно на нее проставлены дальнейшие ссылки (три листа, пронумерованные 10₁–10₃ представляют собой более позднюю вставку). Среди черновиков вложен лист с выпиской слов Алексея Крученых: «Новое содержание тогда лишь выявлено, когда достигнуты новые приемы выражения, новая форма» [Крученых 1913: 36]. Возможно, эти слова должны были стать эпиграфом, хотя они могут относиться и к упомянутому тексту о символизме.

Судя по всему, статья была написана в 1930 году: в основном тексте есть ссылка на издание 1929 года, а в упомянутой вставке цитируется и сборник 1930-го. В статье отсутствует разбор теоретических работ Тынянова второй половины 1920-х, однако это можно объяснить тем, что критику Шимкевича вызвала не столько концепция ученого, сколько вопрос о терминологии и проблема соотношения позиций исследователя и исследуемого. Также стоит учитывать, что «Литературный факт» занимает особое место в наследии Тынянова: именно с него начинается развитие смыслового комплекса, который привел ученого к итоговым «пражским» тезисам. В 1930 году Шимкевич уже мог видеть дальнейшее развитие идей «Литературного факта», что также могло стать причиной, по которой он

¹⁹² Изначально статья была опубликована в журнале «ЛЕФ» под названием «О литературном факте», этот вариант имеет ряд мелких разночтений с текстом «Литературный факт», вошедшим в сборник «Архаисты и новаторы» и републикованным в [Тынянов 1977]. Сличение цитат показывает, что Шимкевич работал с журнальным вариантом, сокращая название до книжного.

¹⁹³ Ранний вариант этого анализа, однако, с более пространными цитатами см. в [Отяковский 2020а].

¹⁹⁴ Анализируя посвящения, предпосланные статьям Тынянова «Промежуток», «Литературный факт» и «О литературной эволюции», Ян Левченко указывает, что для формалистов этот элемент текста был довольно важен: «Посвящения выступают в роли дополнительных кодов, которые в форме, сжатой до знака-указателя, обогащают семантический потенциал указанных текстов. Для Тынянова как искушенного знатока текстов и автора своеобразной концепции жанра посвящение было случаем предельной сжатости конструктивного принципа» [Левченко 2012: 68]. Предваряя посвящением резко критическую статью, Шимкевич бессознательно подражал скрытому диалогу мэтров формализма. Правда, стоит отметить, что журнальный вариант «Литературного факта» не имел посвящения «Виктору Шкловскому», оно появилось лишь в книжной публикации, но перед глазами Шимкевича были и другие примеры. О том, что эта надпись — именно посвящение, свидетельствует папка с черновиками к статье и такой же надписью [КШ].

обратился к началу этого этапа интеллектуальной биографии коллеги. Вряд ли работа могла быть создана позднее 1930 года — подобная полемика не имела смысла после разгрома Института, тем более что Шимкевич исчез из академического поля. Сохранившийся автограф нельзя назвать беловым: об этом свидетельствуют множество правок и добавлений, неуклюжесть некоторых оборотов, отсутствие сформулированных выводов.

В первых абзацах «Жанра и его терминов» Шимкевич формулирует свою позицию относительно того, как следует работать с литературными рядами:

Наша современность, достаточно острожно, что вполне естественно, останавливается на проблеме литературных жанров. Изучение отдельного произведения, вырванного из той или иной литературной среды, стало возможным только в теоретическом плане, с точки же зрения исторического анализа всякое исследуемое произведение стало неизбежно попадать, и должно попадать не в окружение произведений одного писателя, а в известную среду, где обязательно имеются или подобные ему, или противоположные. Тогда, стремясь понять одно произведение, мы должны невольно проанализировать или ему подобные, или противоположные, или и те и другие. Словом, обязательно в условиях исторического анализа мы натываемся на общелитературные ряды. Поэтому, если возможна монография о каком-либо писателе, то она возможна, только на тех условиях, чтобы исследователь нашел те ряды, в которые попадали произведения изучаемого писателя. <...> Но, как показывает анализ, ряды бывают различные. И совершенно очевидно, что они не только утверждают за собою право на существование, но требуют особой ясности и точности, конечно, теоретической, при их различении. Ведь если мы, высоко оценивая историческую роль одних произведений писателя, наоборот, сводим значение других до нуля, то мы, фактически, уже уходим от писателя, как такового, к произведению. Следовательно, в истории уже не писатель связывается с писателем, а произведение с литературными рядами¹⁹⁵. Но здесь-то, при таком построении истории литературы, и возникает целый ряд вопросов о тех признаках, на основании которых произведения вступают в ряды.

Казалось бы, понятие литературного ряда, единственно необходимое, вовсе не нуждается в защите, но в наше время оно пережило исключительное отрицание. Причина этого отрицания очень понятна, как результат литературного брожения, перенесенного на науку. Отсутствие в этой последней именно точного понятия о признаках рядов и о самих рядах, привело к тому, что они сперва были заподозрены, а затем отвергнуты, как мешающие своею отвлеченностью изучению конкретных литературных фактов.

Таким образом, вместо прямого пути проверки, научно-критическая мысль пошла окольным путем, приведшим к почти полному отрицанию понятия рядов (л. 1–4).

Утверждение имманентности литературного ряда было одним из главных тезисов раннего формализма. Тынянов связывал разработку этой проблемы

¹⁹⁵ Ср. с недавней реконструкцией формалистской теории авторства: [Merrill 2022: 95–109].

в первую очередь со своим исследованием о Достоевском и Гоголе (1921) [Тынянов 1977: 567]. Дальнейшее развитие метода вело к усложнению идеи, к попытке сопоставления литературного ряда с другими [Ханзен-Леве 2001: 368–374]. На протяжении академической жизни Шимкевич оставался приверженцем имманентного анализа — именно это отмечал Эйхенбаум, упоминая статью «Пушкин и Некрасов». Отход от изначальной установки возмущает Шимкевича, отчего он и призывает создателей важной для него идеи вернуться к корням.

Одной из проблем, ускоривших дрейф формализма к соседним рядам, стали попытки «последовательного компактного описания всей эволюции писателя с формальной точки зрения» [Эйхенбаум 1987b: 470]. Отзываясь на монографию Василия Гиппиуса, Эйхенбаум критикует ее как раз за недостаток концептуальности и утверждает:

Проблема историко-литературной монографии сейчас стоит очень остро. Монографии старого типа, в которых говорилось обо всем, кроме литературы, окончательно изжиты. Выдвинулись требования теоретической обоснованности, определилась разница между собственно-литературным и психологическим или биографическим изучением и т. д. Стало ясно, что независимо от того или другого метода, историко-литературная работа должна иметь перед собой определенный круг специфических проблем — проблемы стиля, жанра, литературной традиции и пр. [Эйхенбаум 1924b: 268].

Тынянов в научных работах предпочитал скорее ставить проблемы, чем всесторонне их решать, в некотором роде заменяя монографии историческими романами, а вот Эйхенбаум дал пример последовательного формалистского описания в книге о Лермонтове. Рецензируя эту книгу, Шимкевич не сфокусировал внимания на указанной проблеме, рассматривая монографию дискретно, как несколько ответов на несколько разных задач — отдельно он говорит о поэзии, отдельно о драматургии, отдельно о прозе Лермонтова [Шимкевич 1924]. Тем показательнее, что в «Жанре и его терминах» ученый размышляет о тех условиях, которые могут обусловить методологическую целостность исследования.

Обсуждая доклад Ольги Хузе в Кабинете современной литературы, Шимкевич высказался и о другом «монографическом» опыте Эйхенбаума — книге «Молодой Толстой» (1922), которая стала частью нереализованного замысла целого цикла работ о писателе. Эта работа также была не близка Шимкевичу, он говорил: «Никогда нельзя считать свою работу удовлетворительной на все времена. Работа должна отличаться постоянным созиданием. Б. М. Эйхенбаум прежде всего живет ощущением современности. В прошлом году он призвал всех писать о литературном быте. Работа его о Толстом — однодневка. Служба книги — не открытие нормы, а вечное толкание к истине» (собр. Кураевой). И действительно, Эйхенбаум эксплицирует свое стремление строить историческое исследование, исходя из импульса развития современной литературы:

Литература о Толстом застыла на иконописной точке зрения. Между тем многими ощущается необходимость «преодоления» Толстого. Мы вступаем, по-видимому, в новую полосу русской прозы, которая ищет новых путей — вне связи с психологическим романом Толстого или Достоевского. Предстоит развитие сложных сюжетных форм — быть может возрождение авантюрного романа, которого Россия еще не имела. На этом фоне изучение Толстого представляется мне одной из очередных задач [Эйхенбаум 1987b: 35].

Это, разумеется, идет вразрез с академической установкой Шимкевича.

Говоря о результате «литературного брожения, перенесенного на науку», автор «Жанра и его терминов» выступает против одной из ключевых особенностей формалистов как сообщества — их спайке с литературой и литературным сообществом, что уже было рассмотрено в первой главе диссертации. Шимкевич, если воспользоваться метафорой Якобсона, отделяет позиции «ихтиолога» и «рыбы»: ученого как наблюдателя литературного процесса и писателя как его участника (здесь можно вспомнить, что юношеские литературные занятия Шимкевича не нашли систематического продолжения в академический период). В нумерованных листах черновиков к статье можно найти фрагмент, прямо это подтверждающий:

Вообще, положение писателя ввиду путаницы стало в этом отношении особым; то, что теоретику воспрещается, то от писателя требуется. Например: «В писательской работе мы прежде всего должны стремиться к созданию точных определений, к умению описывать вещи» (Шкловский. Гамб<ургский> счет. <Л., 1928. С.> 126). Казалось бы, опять материал для наставления начин<ающему> ученому, но оказывается, это дело писателя. Здесь перепутали адреса. Что же касается писателей, то если бы В. Шкловский предложил эту заповедь, предположим, А. Белому эпохи первых симфоний, то, наверняка он встретил бы возращение беспредельного презрения.

Впрочем, более подробно эта тема развивается во второй половине статьи, пока же Шимкевич останавливается на проблеме понятия литературного ряда:

В настоящее время, чтобы восстановить значение понятия общелитературного ряда, необходимо разобрать все те способы, которыми его пытались уничтожить.

Первый способ — это обращение к учебникам. Конечно, это обращение вполне правильное, так как оно, действительно, ударяет как раз по тому месту, которое наиболее чутко отражает утвердившуюся истину. Ведь если плоха наука, то учебник не может быть хорошим. Учебник в наше время вообще стал обвиняться в математической точности и в противоречии живым литературным фактам. Именно точность определения жанра, как понятия рода и вызвала возражение.

Главнейшим выразителем этого протеста против математической точности старой теории литературы и отрицания ее положений явилась статья Ю. Н. Тынянова «Литературный факт», напечатанная в № 2 ЛЕФа за 1924 год (л. 4–5).

Это — ответ на ту критику, которой формалист подвергает академическое литературоведение [Тынянов 1924: 101]. По мнению Мариэтты Чудаковой, тыняновская полемика направлена в том числе и на Перетца [Тынянов 1977: 514], важную фигуру для Шимкевича. Однако здесь принципиально не чувство обиды за учителя, а выступление против требования формалистов постоянно проблематизировать систему научных понятий, против их декларативного избегания устойчивых определений. Далее в «Жанре и его терминах» обильно цитируется «Литературный факт», излагается тыняновская теория жанра, по которой определение может менять свое содержание под влиянием условий литературного быта каждой эпохи [Тынянов 1924: 101–103]. Здесь особенно явным становится различие позиций двух филологов. Тынянов использует понятие «литературного факта» для того, чтобы расширить границы формалистской методологии, объединить представление о самостоятельности литературного ряда с феноменами ближайших рядов (он приводит в пример заумь, шарады, журнал как литературное произведение). Шимкевич же предлагает сосредоточиться на самостоятельности литературного ряда, усложнить его через разделение на несколько внутренних категорий, в соположении которых уже и искать простор для определения жанровых характеристик. Согласно Шимкевичу, отсутствие дифференцированного восприятия общелитературных рядов является «основной ошибкой некоторых теоретиков литературы» (л. 6), поскольку «в истории литературы мы наблюдаем ряды родового характера и ряды видового характера, т. е. ряды широкого значения и ряды суженного значения» (там же). Шимкевич настаивает на существенности различия между родом и видом — процитировав тыняновские высказывания о величине как второстепенном признаке жанра [Тынянов 1924: 102], он пишет:

Из приведенного отрывка видно, что уже один признак величины дает возможность сохранить понятие поэмы. Таким образом, понятие жанра, хотя и по второстепенному признаку, но может существовать. Но, конечно, если есть второстепенные признаки жанра, то есть и первостепенные. И нетрудно заметить, что смешение понятия жанра и понятия вида, о которых мы говорили выше, привело к тому, что переоценимы и признаки; жанровые признаки стали расцениваться как видовые <и> обратно. Как раз ни герой, ни характер, ни сказка не являются первостепенным признаком, т. е. признаками жанра, этим признаком является именно величина, принимаемая, как нечто второстепенное. Поэма в родовом своем состоянии есть всецело величина. Если теперь в этом отрицании поставить все на свое место, то понятие жанра (поэмы) будет теоретически достаточно устойчивым и понятным.

И это также неожиданно делает сам Ю. Н. Тынянов, он здесь же пишет: «Роман отличен от новеллы тем, что он — *большая форма*». Следовательно, для теоретика вполне достаточно точно: роман — большая форма, поэма — тоже некая большая форма (л. 8–9, курсив из исходного текста Тынянова).

Это приводит Шимкевича к следующему тезису: «жанровые признаки — это признаки величины» (л. 10)¹⁹⁶. Исходя из этого, он утверждает, что «жанр, как род, распадается на виды, обладающие своими по отношению к жанру, уже вторичными признаками. И, предположим, большая форма, в такой же мере, как и малая, будут иметь общие признаки вторичного порядка, т. е. жанры будут осложнены в своем различении видовыми признаками, например, психологичности, авантюристности, фантастичности и т. п. Изучая приемы развития того или иного жанра методами фантастики, мы изучаем только видовые признаки» (л. 11–12).

Разделение единого понятия жанра на две категории — род и вид — оказывается недостаточным, поэтому Шимкевич предлагает ввести в систему еще один уровень:

Когда мы подходим именно к новелле Чехова или Пиранделло, роману Тургенева или Гамсуна, то здесь мы сталкиваемся с частными состояниями и малой и большой формы, пред нами только частные типы новеллы или романа. Это третий и последний класс литературных явлений. Отсюда боязнь многообразия признаков, которая лежала в основе отрицания понятия жанра как общелитературного явления, совершенно отпадает.

Перед нами три класса: род, вид и тип. Изучение романа вообще есть изучение большой формы, и ее законы есть законы жанра, так же как и малой формы. Изучение авантюрного романа есть изучение видового состояния большой формы, а изучение честертоновского романа — это изучение типа определенной (в видовом отношении) большой формы.

Таким образом, жанр есть общелитературный ряд, объединенный самыми широкими первоначальными признаками, вид жанра — общелитературный ряд, объединенный узкими вторичными признаками, и, наконец, тип — одно или группа (ряд) произведений характеризуемых или объединенных частными признаками. Иначе говоря, новелла Чехова, Мопассана, Шервуда Андерсена, есть сразу жанр (малая форма) и вид (как психологическая новелла) и, наконец, тип, так как у всех трех писателей есть свои личные особенности (л. 13–14).

Здесь стоит отметить использование терминов биологической таксономии, что заставляет вспомнить о том, как Тынянов интегрировал понятие эволюции в науку о литературе — в этом также прослеживается неявное подражание Шимкевича критикуемому стилю [Тынянов 1977: 511] (Борис Ярхо предлагал для систематизации жанров понятия «вид», «род», «отряд», «семейство» [Ярхо 2006: 50]). Далее ученый показывает область применения предлагаемой им системы:

Отсюда, чтобы убедительно показать зависимость одного писателя от другого, нужно знать законы жанра и вида, и только уже вне этого, т. е. в сфере частных признаков, возможно установление зависимости, подчиненности одного писателя другому. Совпадение же общих законов у одного и другого решительно никаких выводов о зависимости как подчинении не допускают. Можно учиться

¹⁹⁶ Напомню, что в Институте Шимкевич вел курс под названием «Теория малых форм».

общим законам большой формы у Толстого, у Теккерея, у Белого¹⁹⁷, но несколько не подчиняться их типовым чертам. <...>

Иначе говоря, в первую очередь, при подходе к характеристике конкретного литературного факта, необходимо иметь общую теоретическую базу, в противном случае развивается научный импрессионизм, — явление, не обладающее никаким правом на существование, в противоположность критическому импрессионизму, как явлению, живущему требованиями вкуса. Научный импрессионизм вреднее всего именно потому, что распространяет популярную, искаленную терминологию (л. 15–16).

Формалисты и сами осознавали волатильность используемого понятийного аппарата — Тынянов писал о неясности собственного языка [Тынянов 1977: 396] и прямо объяснял: «Искусство между тем не нуждается в определениях, а нуждается в изучении» [Тынянов 1977: 330]. Эту мысль Эйхенбаум включил в свой манифест: «мы <формалисты> не занимаемся определениями» [Эйхенбаум 1987b: 376]. В нумерованных листах черновиков к статье Шимкевич выписал эту фразу, заметив: «Таким образом, задача историка литературы изменилась, он сделался только истолкователем»¹⁹⁸ (эта же цитата привлекла внимание и другого критика формализма: [Медведев 1928a: 100]). Эту стратегию Шимкевич дезавуирует и «снижает» ее уровень до «импрессионизма», возвращая к доформалистской эстетике (пост)символизма, то есть к той школе, с которой начинал свой путь в литературе Эйхенбаум (а в гимназические годы ей отдал дань и Тынянов [Каверин, Новиков 1988: 35; Гаспаров 1990: 12–13]). Кроме того, цитата из статьи Эйхенбаума, оставшаяся в подготовительных материалах, показывает, что на определенном этапе Шимкевич мыслил свою статью как критику антитерминологичности формалистов, а не только как выступление против статьи Тынянова. Еще одним подтверждением этого может служить фраза из другого черновика, включающая в контекст еще одного члена формалистского «триумvirата»: «Литер. направление (футуристов) пыталось овладеть наукой, т. е. создавались, т. ск. “литературные теоретики”, а не научные. Где-то в письме Ром. Якобсону Шкловский укоряет его так: “ты ведь не академик, ты же рыжий”¹⁹⁹. Ну а роль рыжего, как известно, не очень совпадает, как известно, с ролью академика». Показательно, что также в черновиках остается «положительный» пример теоретизирования над терминами — формалистам Шимкевич противопоставляет попытку «объективировать два термина романтизм и классицизм на лингвистической

¹⁹⁷ Фамилия Белого надписана над зачеркнутым «Федина».

¹⁹⁸ Интересно, что здесь он использует против Эйхенбаума его же формулу: «<Василий> Гиппиус часто соскальзывает с пути изучения на путь истолкования, примыкая к старым традициям русской критики и науки» [Эйхенбаум 1924b: 269].

¹⁹⁹ «Мы — несчастливые люди, Роман. Мы лопаемся как шов при перегрузке. Заклепки скрежещут в моем сердце и белеют сварочным железом, вырываясь. А ты — имитатор. Ты ведь рыжий, — скажи, зачем тебе быть академиком? Они скучные, у них трехсотлетие. Непрерывные, бессмертные» [Шкловский 1926: 69].

почве», выполненную Жирмунским (скорее всего, в основной текст статьи заметка не вошла из-за откровенно раздраженного тона замечания):

Она <попытка> несколько успокоила теоретиков, но не надолго, опять послышалось: «что из того, что мы Пушкина назовем классиком, а Брюсова романтиком, от этого дело не будет яснее». Но нужно заметить, что в этом возражении особый вес имеет фраза «что из того», ведь это перифраза «vanitas vanitatum et omnia vanitas». В конце концов, что из того, что Кант написал «Критику чистого разума», а Данте свою *Comedia*, в конце концов, что и из всего-то.

Прежде всего, здесь идет речь о статье Жирмунского 1921 года «О поэзии классической и романтической» и ряде работ, связанных с ее основным тезисом, в первую очередь — с книгой «Валерий Брюсов и наследие Пушкина». Против типологического деления на классицизм и романтизм направлена концепция Тынянова об архаистах и новаторах.

Прочитав фразу из «Литературного факта» о том, что «Термин конкретен, определение — эволюционирует, как эволюционирует сам литературный факт» [Тынянов 1924: 116] (л. 18), Шимкевич разводит науку, литературу и вненаучное обсуждение литературы, используя понятие литературного быта в несколько отличном смысле от Тынянова и Эйхенбаума, называя этим термином любые высказывания о литературе, находящиеся вне научного дискурса:

К сожалению, жизнь термина в науке и в литературном быту (в критике и т. д.) совершенно неодинакова. Если наука каждый термин старается сопровождать определением в случае его эволюции, то быт употребляет термин как колеблющийся значок <...> Из того, что под балладой или романсом в разное время подразумевали самое различное, вытекает прежде всего то, что термин может перемещаться иногда даже в противоположную область. Бытовой термин, действительно, конкретное явление, но не теоретического, а исторического характера, теоретическая же терминология должна быть надисторической (л. 18–19, 20).

Шимкевич пишет, что «изменение понимания термина должно быть раскрыто всякий раз в условиях литературной обстановки» (л. 20), против чего можно легко возразить, ведь такой подход сводит теорию литературы к истории понятий. Видимо, подобное соображение заставляет филолога внимательнее рассмотреть то, как трансформируется терминология вне научного поля:

Можно ли ограничиться пониманием материала только в том виде, в каком он остался нам по историческому наследству? Конечно, весь терминологический (бытовой) материал принципиально дефектен. Во-первых, потому что большею частью мы за термином не имеем толкования, следовательно, мы в него будем подсовывать свое объяснение, якобы опирающееся на что-то, хотя бы, на иллюстрацию. Во-вторых, потому что данный даже с точным объяснением, он характеризует только то лицо или группку лиц, с теоретической точки зрения которых он употреблен, случайно, т. е. в печати. Мы прекрасно знаем, что

большая часть высказываний не письменная, а устная, и эта часть бесследно исчезает, часто покрывая всю терминологию безнадежной мутой <...>.

Так, в эпоху литературного брожения, вызывая толки, «Мертвые души» именуется поэмой, из этого один вывод — это то, что термин жанра может жить самостоятельной жизнью, вступая в самые оригинальные соединения — например, у Сельвинского мы встречали стихотворение, названное «лирического балладою».

Стоит подойти к этому обозначению произведения с анализом, как мы неизбежно будем искать того или иного общелитературного материала, который назвал Сельвинский лирической балладой. И в конце концов окажется, что материал жил своей эволюционной общелитературной жизнью, а термин принял частное толкование; следовательно — путь не от конкретного термина к материалу, а от общелитературной, теоретической характеристики к материалу, а затем, если нужно, к термину (л. 21–24).

Наконец, последним возражением, которое Шимкевич выдвигает против «Литературного факта», связано с тезисом Тынянова о фрагменте, который может восприниматься и как отрывок, и как самостоятельный жанр (см. выше обзор главы о фрагменте в «Лирической теме»). По Шимкевичу, этот вопрос, опять-таки, относится к области определения терминологии, а не внутреннего состояния жанра:

С теоретической же точки зрения отрывок всегда, во всей своей эффективности, есть выставление алогических начал рода. Но это-то и основано на ощущении логических состояний рода. Следовательно, отрывок, сам по себе, может принять канонический вид, стереться в своем алогическом состоянии, словом, сделаться неощутимым по отношению к логическому состоянию рода, но он всегда сам по себе не есть особый род. <...> Жанр колеблется тогда, когда обычные формы единого жанра переносятся на другой. Но если мы возьмем известной эпохи поэму как жанр, характеризуемый величиной, то в ней, конечно, бросятся в глаза все его отличительные черты и начинания и развития и замыкания. Предположим, в известную эпоху замыкание будет крайне относительным или даже будет отсутствовать. И все же ясно, что это будет поэма и вместе с тем фрагмент, т. е. фрагментарная поэма как состояние поэмы, но не как ощущение фрагмента как особого рода. Но, конечно, все стилистические средства и приемы будут иначе ощущаться в движении законченном и незаконченном, т. е. с точки зрения разделения на классы, пред нами опять вопрос не жанра, а вида, — вида конструктивного порядка, т. е. поэма с конструктивной точки зрения может быть фрагментарной, целостной, руинной и т. п., но она все-таки остается поэма, так же как и в том случае, если она психологическая, авантюрная, фольклорная, декадентская, историческая, солдатская и т. д. (л. 25–28).

Этим «и т. д.» заканчивается автограф статьи. Среди черновиков нет определенных выводов, но одна из заметок довольно точно суммирует ее смысл (хотя перед приведенной цитатой и написано несколько зачеркнутых слов, явно относящихся к другому фрагменту):

Тогда постижение исторического лит<ературного> факта должно идти на основе слияния с общетеоретической базой. Самый факт расширения или сужения этой базы и есть объективная оценка сущности конкретно-исторического явления. Изучение же высказываний о лит<ературе> есть изучение только, т. ск., окололитературного материала. Это не более как подсобный материал истории взглядов и отношений, часто не столько пониманий, сколько непониманий т. наз. современников.

Таким образом, «Жанр и его термины» можно характеризовать как прицельную критику формального метода «справа» или, возможно, «сзади» от ученого, который взял на вооружение предыдущие разработки теоретиков литературы и через их призму демонстрирует проблемные места следующего витка их же собственной рефлексии. «Литературный факт» должен был снять ограничения с закостеневающего имманентного анализа, однако то, что ощущалось Тыняновым как развитие опоязовских идей, Шимкевичем было воспринято как отказ от собственно литературной науки. Тынянов предлагал идти «вширь», изучая превращение материала соседних рядов в литературный факт, а Шимкевич смотрел «вглубь», в сторону усложнения «специфического ряда».

На примере «Жанра и его терминов» мы отчетливо видим разницу исследовательских установок Шимкевича и Тынянова — первый стремится к формированию некой универсальной терминологии, которая, даже будучи чрезвычайно усложненной, не пересекается с литературным дискурсом и относится сугубо к научному метаязыку. Из этого следует и второе ключевое различие — различие позиции ученого в столкновении с современной литературой. В то время как формалисты готовы подчинить литературе свою науку и в итоге сами становятся авторами, Шимкевич хранит более беспристрастную академическую позицию аналитика строго определенных рядов, собирателя литературных фактов²⁰⁰. Сложно не увидеть в этом позицию не только автора научных статей, но и хранителя наследия модернизма, каким он выступил в роли заведующего Кабинетом современной литературы.

§3. «История русской поэзии»

В предыдущей главе было описано, как разгон формалистского крыла Института оказался личной катастрофой для Шимкевича — после этого его имя исчезает из литературоведческой академической среды. Возможно, к этому времени, когда он активно работал как педагог в театральных училищах, относится неоконченная рукопись небольшой книги «Учение о пьесе». В ней видно, как ученый старается уйти в сторону от формалистских

²⁰⁰ К уже перечисленным трудам литературоведа можно также добавить черновики рецензии Шимкевича на [Жирмунский 1923b] [КШ].

категорий и освоить новое пространство рефлексии, связанное со сценической проблематикой. К формалистским понятиям и проблемам Шимкевич возвращается лишь в конце жизни, когда работает над своим самым амбициозным и масштабным исследованием — «Историей русской поэзии». Этот колоссальный труд, занимающий несколько тысяч рукописных страниц, хранится в Пушкинском Доме (далее цитируется без ссылок).

В рамках диссертации о Кабинете современной литературы невозможно сколько-нибудь полное осмысление «Истории современной поэзии», которого она заслуживает. Рукопись нуждается в серьезной текстологической и даже редакторской подготовке для выявления наиболее выверенной версии исследования. Многие фрагменты существуют в нескольких вариантах, огромное количество сопровождающих справочных таблиц не завершено, и некоторые разделы существуют исключительно в черновом виде — но даже в таком виде последняя книга Шимкевича является уникальным феноменом своей эпохи.

Довольно сложно определить датировку работы над «Историей русской поэзии». Ценным указанием тут служит сама рукопись: из-за нехватки чистой бумаги Шимкевич пишет фрагменты на обратной стороне разных документов: писем, афиш, пустых (а иногда и заполненных) школьных ведомостей, детских рисунков, вырезанных страниц из книг Ленина, Сталина, Калинина и других партийных деятелей²⁰¹. Особое место в этих «оборотках» занимают сочинения студентов полиграфического техникума и их рецензии на новые поэтические сборники. Авторы, о которых чаще всего идет речь — Анатолий Софронов, Ольга Берггольц, Владимир Лифшиц, анализируются их военные и послевоенные книги. Среди этих документов есть бумаги, датирующиеся 1946, 1948, 1949 годами — можно предположить, что Шимкевич работал над книгой до конца жизни. Сложнее судить о начальной дате этой работы — скорее всего, ее следует отнести к блокадному периоду, когда педагог был вынужден снизить количество читаемых лекций и имел достаточно свободного времени. Скорее всего, работа над книгой была своеобразной терапией, позволяющей наполнить смыслом выживание в блокадном городе. Во всяком случае, к концу блокады он уже активно работал над исследованием — об этом свидетельствуют письма Шимкевича к дочери 1944 года (5 февраля ее мобилизовали для восстановления железной дороги) — самый цельный корпус личных документов литературоведа, сохранившийся в архиве и уже опубликованный [Отяковский 2019] (далее при ссылках на этот источник приводится только номер страницы).

В первом из них он сообщает: «Я, конечно, пишу, но, признаться, плохо, т. к. настроение, беготня и общение с новыми людьми меня сбивает с направленности по известному руслу. Мое дело очень строгое и трудное, чуть немного сдвинешь, и все заколеблется. Но я знаю, что это только

²⁰¹ Именно благодаря этому сохранилось множество мелких биографических свидетельств, которые активно использовались в настоящей работе.

периоды» (с. 9), во втором: «Я, моя радость, теперь держусь очень хорошо, — мимолетные тучки стараюсь разгонять всеми средствами — вплоть до песни. Никуда не хожу, пишу и пишу, стряпаю и стряпаю!» (с. 9). Шестое письмо утверждает постоянство работы: «Писать стал лучше, но сегодня, от погоды что ли? — растосковался по тебе, и из рук все повалилось» (с. 12), а восьмое — ее первостепенность: «Бодрости у меня, детонька, хватает для работы, но духовная, сердечная пустота — рана. Она залечится только твоим присутствием» (с. 13). Девятое подчеркивает «библиофильский» характер «Истории русской поэзии»: «Я купил три книжки: из них одна — Сти<хотворе>ния Бутурлина²⁰² — для меня большая удача. Вот уже третий день пишу о ней и кончить не могу. Очень рад. Вторая — первое издание Щербины с ценным послесловием²⁰³. Третья — малый поэт некрасовской эпохи» (с. 15), а одиннадцатое позволяет понять, что в начале 1944 года Шимкевич описывал преимущественно XIX век: «Вчера писал замечательно хорошо, писал о Жуковском, Пушкине, Сумарокове, писал просторно и все новое. Опять, моя родная, счастливого открытие новых связей» (с. 17).

Своеобразный компендиум знаний Шимкевича оформлен в концептуальную рамку, которую сложно ожидать от литературоведческого труда позднесталинской эпохи — в своих построениях Шимкевич последовательно придерживается излюбленного им с 1920-х «правоформалистского» подхода. Уже открывающие книгу страницы наглядно показывают установку филолога:

Предлагая такой труд, как «ист. рус. Поэзии», в 1 очередь необходимо основать и теоретически и исторически самое право на выделение отдельной лит. категории, в данном случае поэзии, а затем и на изображении, казалось бы, достаточно абстрактных состояний и взаимоотношений этой категории и другой — прозы.

Дело, прежде всего в том, что поэтическая, т. е. стиховая речь некоторыми теоретиками ставится в такое неопределенное положение, что отрицается возможность ее отграничения от прозы. Главным основанием служит, в таких случаях, существование промежуточных, переходных форм, характеризующихся как «не то стих, не то проза». Но логически это ни в коем случае не может служить препятствием даже к резкому различению литературного материала в его чисто стиховом и чисто нестиховом (прозаическом) состоянии, как 2х крайностей в их специфической замкнутости. Эти последние и характеризуют все основные и единственные категории художественной литературы, вовсе не отрицая, а даже, наоборот, не только допуская, но требуя существования различных переходных степеней этих форм, т. к. эти последние доказывают только самое свое смешанное состояние, которое, вполне естественно и не может характеризоваться с точки зрения чистоты, как явление чистого порядка. С исторической же точки зрения как раз очень важно порою именно почти постоянное движение стиха к прозе и обратно — прозы к стиху, т. к. такие состояния

²⁰² [Бутурлин 1897].

²⁰³ [Щербина 1850]. Послесловие сборника содержит автопоэтический комментарий.

говорят об определенных процессах прекрасно констатируемых и характеризующих самими создателями таких состояний в области художественного слова.

Вырванный из истории материал в виде отдельных поэтов, даже если его сопровождает т. наз. «его время» в действительности неисторичен, т. к. упрощен, а история есть выражение единственной в своем роде сложности различных противоречивых явлений, объединяемых и разделяемых по своим признакам категорий, жанров, видов и индивидуальных типов. Движение материала по всем этим признакам и дает возможность разобраться в том для романтически настроенных критиков «потоке», который представляет собою худ. лит<ерату>ра в каждой культурной стране.

Природа поэтической (стиховой) речи всегда ощущается как нечто «нестественное», достаточно взглянуть на постоянные оценки материала историками лит<ератур>ры и критиками. Так в заслугу ставится введение в пьесу прозаического диалога вместо стихового, это расценивается как движение вперед к естественности.

Шимкевич выделяет ряд мотивов, тем и смысловых сюжетов, которые повторяются в разные периоды развития русской поэзии — в этом смысле он наследует даже не Жирмунскому, а Веселовскому и его идее исторической поэтики. Почти в каждую часть ученый вводит разделы «Патриотика» (об отношении поэтов к государственности), «Поэт» (метарефлексия), «Область» (о нестоличной словесности), «Поэт и художник», «Поэт и музыка» и другие. Начав с архаичных фольклорных текстов, он проследил развитие интересующих его мотивов вплоть до 1945 года и даже задумал часть о послевоенной поэзии, оставшуюся в зачаточном виде.

Вполне в духе своих работ 1920-х Шимкевич в итоговом труде увлечается построением сложной, комплексной системы — на этот раз в области периодизации истории литературы. Для сплошного мотивного анализа, который он развивает на многих сотнях страниц, необходима четкая категоризация материала, и поэтому филолог дробит историю на отрезки разных уровней. Во-первых, есть деление чисто внешнее: «История русской поэзии» состоит из трех томов: первый начинается до XII века и кончается 1801 г., второй включает период 1802–1880 гг., а третий — 1880–1945 гг. Предварительные заметки, которые он начал делать, желая описать поэзию послевоенного периода, относятся уже к IV тому. Внутреннее же деление книги предлагает рассматривать различные эпохи — всего на протяжении описанных девяти веков сменяются восемь эпох русской поэзии (и планируется синхронное описание девятой). Эта периодизация выглядит так:

Первая поэтическая эпоха: до XII в.

Вторая поэтическая эпоха: XII в. — первая четверть XVII в.

Третья поэтическая эпоха: первая четверть XVII в. — 1697 г.

Четвертая поэтическая эпоха: 1698 г. — 1801 г.

Пятая поэтическая эпоха: 1802 г. — 1845 г.

Шестая поэтическая эпоха: 1846 г. — 1880 г.

Седьмая поэтическая эпоха: 1881 г. — 1910 г.

Восьмая поэтическая эпоха: 1911 г. — 1945 г.

Кроме того, каждая эпоха, начиная с четвертой, подразделяется на периоды, причем в этом делении прослеживается определенная логика, поскольку в каждой эпохе — четыре периода (исключение — четвертая эпоха, в которой филолог насчитывает пять периодов). Эти единицы деления хронологически не фиксированы, период может занимать от 4 лет (1856–1860 гг.) до 36 (1725–1761 гг.)

Филолог всячески уклоняется от «персонального» подхода к литературе, пытается описать не сменяющие друг друга биографии, а стилистическое и тематическое движение эпох, поэтому во введении он манифестарно утверждает важность для своей работы малых поэтов:

Самый исторический процесс как социальное движение я не могу изображать в виде смены каких-то индивидуальных портретов. Социальные сферы движутся прежде всего группами, и влияние групповых тенденций на отдельного поэта имеет значение общего выражения. При этом исторически как раз характерно то, что в известный момент второстепенные и третьестепенные поэты занимают очень видное место и «делают историю». И если потом «история», или, вернее, экономическая мнемоника оставляет от целой «плеяды» одно имя, то это и есть самое неисторическое освещение действительности. Поэтому в данном труде групповые и индивидуальные движения рассматриваются как явления, каждый раз имеющие свое специфическое значение. Правильно обрисованное поэтическое движение не позволит потом откапывать и открывать поэтов — они все будут на виду. <...> Поэзия рассматривается прежде всего как дело, сущность которого чаще всего заключается не в новизне, а в настойчивости, в упорной, порою прямолинейной, повторяемости. Последнее с особой энергией выдвигает второстепенные и массовые силы.

Так он смешивает диахронический мотивный анализ, восходящий к Веселовскому и социологические основания. На уровне композиции отрицание биографического подхода ярко проявляется, например, в периодизации пятой поэтической эпохи: ее третий период занимает 1825–1833 гг., а четвертый — 1833–1845 гг., то есть смерти Пушкина и Лермонтова не подчеркиваются как рубежные события. Смыслообразующими для Шимкевича служат выступления основных литературных групп периода и исторические катаклизмы, которые приводят к распаду и созданию новых конфигураций литературных сил.

Само внимание к мелочам разных эпох, конечно, заставляет вспомнить и о библиофильстве Шимкевича, которому он придает научную базу — страсть к редким изданиям видна не только в цитированных выше письмах к дочери, но проникает и в текст самой работы в характерных оборотах вроде «Такие сборнички, как “Чорт и речетворцы” Крученых с трудом допродавались в 1938/9 годах, выскочив на книжный рынок из “завала”»

(в контексте разговора об успехе Северянина). Некоторые описания заставляют заподозрить в рукописи чисто мемуарный пласт, например:

Начавшаяся гражданская война окончательно смешала все карты настолько, что бывали моменты, когда редко кто четко представлял себе не только литературного, но и общеполитического горизонта. Транспорт всевозможных родов стал калечиться и вовсе уничтожаться. <...> В особенности внес сумятицу и беспредельное смещение всех культурных ценностей и путей наступивший голод. <...> Для слабых была уготована холодная каморка или промерзший зал, с мешком промерзшей же картошки, когда тепло убивало этот спасительный продукт, и обратно, он убивал тоже необходимое и спасительное тепло, целые библиотеки уходили в буржуйки, и поэты в портфелях носили из библиотек книги именно с этой целью.

Трудно сказать, что именно описывает Шимкевич — проведенную в армии Первую мировую или пережитую незадолго до написания этих строк блокаду.

Вообще циклопическую рукопись можно читать не только как научный труд, но и как своеобразную форму интеллектуальной автобиографии (о таком способе анализа теоретических работ см. [Томэ, Шмид, Кауфманн 2017]), поскольку в исторический нарратив явным образом вписано развитие научных интересов самого автора — недаром в первых частях есть параграфы о «северном» влиянии на русскую поэзию и об образе «Души чистой», в главах о XIX веке много внимания уделяется поэтам, которыми Шимкевич углубленно занимался, например Михаилу Лобанову и Владимиру Бенедиктову. Такой подход эксплицирован в письме к дочери: «Пишу в общем сносно, хотя после твоего отъезда все пошло хуже, и первое время дни кувыркались как кролики, которых подстреливали на бегу. Вчера первый день, когда писал хорошо, особенно потому, что нашел одну из своих первых печатных работ. Она так свежа, молода и, главное, смела, что это меня настроило на самый творческий лад» [Отяковский 2019: 11]. Именно поэтому в рамках разговора о Кабинете современной литературы особый интерес приобретают последние части «Истории русской поэзии», где изложены взгляды на развитие той поэзии, которую Шимкевич наблюдал сначала в синхронии как читатель, а затем и подступил к ней как собиратель и исследователь. Безусловно, эти фрагменты написаны с учетом богатого опыта коллекционирования и размышления о книгах этого периода.

Уже при первом взгляде на периодизацию Шимкевича бросается в глаза, что в его сознании еще нет предустановки на так называемый «Серебряный век» [Ронен 2000], начинающийся с первых манифестаций символизма и заканчивающийся к Первой мировой войне. Седьмая поэтическая эпоха начинается в 1881 году — то есть в тот период, который принято считать «поэтическим безвременьем» и связывать с именами К. М. Фофанова, К. К. Случевского, С. Я. Надсона. Для Шимкевича этот премодеิร์นстский период исключительно важен как стартовая точка отчета новой поэзии. Затем все-таки филолог отдает дань рождению символизма — второй

период эпохи для него начинается в 1894 году, с публикацией сборников Брюсова. Третий период — 1900–1905 гг. — характеризуется доминированием новой школы, и заканчивается эпоха в 1906–1910 гг. с младшим поколением символистов.

Явление постсимволизма для Шимкевича становится не продолжением предыдущей эпохи, а принципиально новым эпизодом литературного процесса, восьмой поэтической эпохой, которая неразрывно длится вплоть до момента написания книги. В этом ярко отражается присущая всем формалистам эпистема поколения «преодолевших символизм», желание синхронизировать свое поколение с ритмом истории. Филолог предлагает выделять периоды 1911–1917 гг., 1918–1922 гг., 1923–1931 гг. и 1932–1945 гг.

Уже в описании первого из этих периодов можно увидеть прямое влияние занятий Кабинета современной литературы — Шимкевич считает важнейшим течением этого периода эгофутуризм, описывая его подробнейшим образом, с упоминанием практически всех мелких эго-группировок, их сборников и газет. Лишь мельком здесь упоминаются важные для Кабинета Олимпов и Смиренский, однако обширно анализируется пласт влияния К. М. Фофанова на Северянина и его соратников — и это подчеркнутое внимание находится в прямой зависимости от рассказов сына Фофанова, выступавшего в Кабинете, и претендующих на фундаментальность штудий Смиренского (см. главу 1).

Отдельный интерес вызывает следующий фрагмент, уже при описании кубофутуризма:

Футуризм стал вооружаться теоретиками в лице О. Брика и непосредственного продолжателя В. В. Розанова Виктора Шкловского, который был, как и Д. Бурлюк, учеником В. В. Розанова. Теоретики должны были, наконец, обеспечить этих «детей природы» твердой теоретической базой и способствовать оформлению мировоззрения, как стройного целого, или по крайней мере мировоззренческих формулировок, как средства завершения и ясного восприятия общих тенденций футуристов. Но это последовало много позже, вылившись в формализм, как явление, порожденное иным временем.

Шимкевич в духе метаописаний ОПОЯЗа генеалогически возводит формализм к литературному, а не научному контексту, хотя тавтологическое указание на Розанова как предтечу Шкловского (а не только материал для исследования) звучит, учитывая ценимую Шимкевичем академическую традицию, практически инвективно.

Второй период восьмой эпохи практически целиком выстроен вокруг авангарда, левого искусства. Описание пролетарской поэзии, акмеистов или неоклассиков проводится именно в формате отступлений, после которых Шимкевич возвращается к разным группировкам и стадиям развития пореволюционного футуризма и имажинизма во всех проявлениях. Продолжая сюжет об эгофутуризме, Шимкевич упоминает Фофанова-сына в русле «малоизвестных в широких кругах титанических тенденций К. Олимпова, издававшего в это время не менее титанические листовки и выступавшего в

борьбу с политическими представителями власти за свое право властвовать над людьми и миром. И хотя это привело его к психиатрической экспертизе, но он не отказался ни от своих прав, ни от своего презрения к окружающему». Последнее предложение требует комментария, поскольку в печатных источниках оно не упоминалось и могло восходить лишь к устным рассказам, либо к неопубликованным воспоминаниям Смиренского, описавшего эпизод взаимодействия Олимпова с психиатрией [Дмитренко 1997: 233]. Это нехарактерно, поскольку в целом Шимкевич не подчеркивает своего личного знакомства с литераторами, что видно, например, в следующем фрагменте:

Не менее неудачна была попытка В. Смиренского организовать на самых широких и расплывчатых началах «Кольцо поэтов». Оно возникло в Петрограде 30 апреля 1921 года на основе «единого сплетения художников слова». Такая неопределенность, непонимание общих и частно-групповых задач, повели к тому, что в «Кольцо» записывались поэты самых разнообразных ориентаций, и хотя подавляющее большинство занесенных в члены «Кольца» никакого отношения к Фофанову не имело, но «Кольцо» было все же имени К. М. Фофанова. <Вопрос объяснялся тем, что В. Смиренский посвятил несколько лет> И кольцо распалось, потерявшись в истории почти без следа, хотя «Кольцо» находилось в Петрограде, где групп вообще было очень немного.

Помещенное в ломаные скобки начало предложения в рукописи вычеркнуто — Шимкевич хотел упомянуть работу Смиренского над монографией о Фофанове, но, видимо, не найдя тому печатных подтверждений, решил не ссылаться на собственные воспоминания. Впрочем, это не уберегало автора от фактических ошибок. Доверившись каким-то слухам, он писал: «Политическая линия, которую вполне последовательно взял Гумилев, вызвала и его расстрел в 1921 году. Таким образом мэтр школы-течения погиб, отбрасывая на все движение резкий свет своей контр-революционности. Это решительно сказалось на судьбе общего движения. Г. Иванов и Адамович эмигрировали за границу, где вскоре первый умер с голоду» (Иванов, пережив Шимкевича на пять лет, умер лишь в 1958-м).

Приведенная цитата заставляет также обратиться и к вопросу о политической интерпретации событий Гражданской войны в «Истории русской поэзии». В целом этот вопрос будто отодвигается Шимкевичем на задний план: даже в описании таких одиозных для советской цензуры фигур, как Гумилев, он прежде всего говорит о его поэтике, упоминая или описывая практически каждый его сборник, и лишь затем заявляет о его реакционности. Поразительно, например, для советской литературоведческой телеологии такое заявление (в описании предыдущего периода): «Блок во всех приемах Гумилева чувствовал силу победителя и нового вождя, хотя признать этого не хотел, что нередко особенно подталкивало его в сторону обратную, — к пролетариату, к Горькому». Гумилев как победитель Блока, движение в сторону пролетариата как симптом поражения, а не «пробуждения классовой сознательности» — все это в глазах гипотетического

цензора было не просто рядом ошибок, но настоящей идеологической диверсией, и удивительно бесстрашие, с которым Шимкевич описывает подобные сюжеты. Общая оценка уехавших из России поэтов в его устах негативна, но эта критика звучит чрезвычайно мягко на фоне типических в советском литературоведении экзальтированных проклятий в сторону «белоэмигрантов»:

В силу таких многообразных расхождений с новой действительностью целая большая группа поэтов, выражающая осколки различных течений и школ, оказалась в зарубежной эмиграции. Эти осколки эмигрантского порядка очень быстро создали некую общую эмигрантскую русскую поэзию, основною чертой которой — известная социально-политическая окраска, направленная против Советской России в разнообразных ее проявлениях. Пеструю массу эмигрантских поэтов характеризуют имена, с которыми связаны самые разнообразные представления, порожденные их поведением в дооктябрьское время. <...>

Из этой среды выделилось типичное для эмигрантских переживаний «Ремесло» (1923) М. Цветаевой, в котором она прощалась с созданной ею же самой московской Русью на основе традиций гражданской поэзии.

Еще более характерна в этом отношении лирика Бунина, погрузившегося в создание элегий, овеянных темами конца своей прежней жизни, неповторимости отброшенного усадебного мира, которому он посвятил лучшую часть своей жизни и который он так хотел оберечь от грядущего ему ужасного конца.

И эмигрантская, и внутримигрантская поэзия стала, хотя и не всегда прочным, оплотом и знаменем, вокруг которого неожиданно начали образовываться некоторые группы по тем или иным причинам начинающие бороться то за старые общественно-политические идеалы разных видов, то за религию, то за мораль и искусство.

Спокойный тон этого описания в высшей степени нехарактерен для позднесталинской культурной продукции.

Упоминание Шкловского в описании предыдущего периода заставляет ожидать в этой части описания формализма. И действительно, Шимкевич пишет:

Большое значение в деле создания теоретической поэтики имело движение формалистов. Представляя собою вполне естественное явление, вызванное огромным накоплением творческого материала за эпоху символистов и успешного его брожения в первый период новой реалистической эпохи, затем смененный традицией послереволюционный период²⁰⁴, формалисты бросились не столько собирать, сколько разбираться во всем оставленном. И в этом была их огромная историческая заслуга. Это прекрасно понимали прежде всего те поэты, которые не собирались, как Маяковский, Тихонов, Асеев, Петровский и т. д. замыкаться, а наоборот на основе теоретического образования, как вольной поэтической академии, двигаться далее.

²⁰⁴ Шимкевич имеет в виду возвращение неоклассической эстетики в постреволюционную эпоху (пост-акмеизм, пролетарская поэзия).

Понадобились большие теоретические силы, и они нашлись, выделив русскую теоретическую поэтику, во всем общеевропейском масштабе, как плодотворное и талантливое движение.

Шимкевич не дает более предметного анализа методологии своих бывших коллег, однако и в процитированном фрагменте обращает внимание как возведение генеалогии формального метода к поэтическому взрыву предыдущей эпохи, так и указание на аналитический, в противовес синтетическому, характер движения. Самому автору «Истории русской поэзии» явно ближе было «собрание», чем «разбирание», однако это не снижает предельно высокой оценки теоретической работы бывших коллег. Имеющиеся данные не дают возможности датировать работу Шимкевича над этой частью книги — не исключено, что строки о формализме писались в то время, когда экс-формалисты переживали очередную волну публичных гонений в связи с кампанией против «космополитов» [Дружинин 2012].

Формалисты практически не упоминаются в описании третьего периода эпохи: по всей видимости ученый не успел написать посвященный им фрагмент, поскольку во вспомогательных списках литературы, оставшихся среди черновиков, сохранились два листа с названиями теоретико-литературных трудов, которые он намеревался осветить в этой части. Доминирует в этом списке Жирмунский, его же книге об истории рифмы посвящен и сохранившийся в черновиках отзыв, восходящий к недописанной рецензии, следы работы над которой сохранились в архиве: «Жирмунский, признавая наличие эмбриональной, в действительности эпизодической рифмы, определяет оную только как лирически композиционное явление. Это сужающее определение. Книга, конечно, истории рифмы не дает, но намечает некоторые ее этапы. Важна 5 часть 8 главы о рифме в былине: около 1/3 стихов в былине рифмовые».

В описании собственно литературного процесса Шимкевич абстрагируется от своего соприкосновения с современной поэзией, опыт Института им не учитывается в построении общей картины. Так, например, упоминая альманах «Ларь», в котором публиковались близкие Кабинету Николай Белявский, Константин Вагинов, Лев Подольский и Владимир Смиренский, он лишь перечисляет имена всех авторов и констатирует: «Альманах был чисто поэтический из материала ленинградских поэтов». Главный тренд этого десятилетия он видит в переходе от лирики к эпосу, и в связи с этим основной вектор развития поэзии лежит как бы в стороне от формалистских интересов — основная часть главы посвящена конструктивистам, пролетарским поэтам, кругу Есенина. Вторая половина декады для Шимкевича — это период разложения футуризма, и именно в таком контексте он описывается в главе (в этом смысле показателен отзыв на несколько страниц о сборниках «позднего заумника» Александра Туфанова).

«История русской поэзии» служит интеллектуальной автобиографией, но не вписыванием самого себя в историю, автор книги не участвует в описываемых событиях, хотя и, несомненно, является их современником.

В этой части снова встречаются фрагменты, смелые для необязательной «контекстуальной» части литературоведческой работы:

Широчайшие бытовые сферы в разнообразных общественных пластах, в силу необычайных социальных, политических и экономических сдвигов развивали безразличное отношение к страданиям и даже гибели своего соседа. Каждый считал свои переживания предельными и, не желая видеть их умаления, со злобой и холодностью смотрел на жалующегося. Исчезало всякое желание уступить, жертвовать, взвешивая свои и чужие интересы. Появлялась черствость, огрубение, в особенности по адресу стариков, женщин, детей и вообще той или иной форме слабых. Исчезала необходимость в собеседнике, а отсюда и в поэтике.

Сквозь этот облик эпохи строящегося социализма явно проглядывает призрак Большого террора и Блокады — с поправкой на стиль подобный фрагмент вполне представим в «Записках блокадного человека» студентки Института Лидии Гинзбург. При этом в части о заключительном периоде эпохи — 1931–1945 гг. — нет схожих фрагментов, в этой части Шимкевич кажется наиболее приверженным складывающемуся на глазах официальному нарративу как литературной, так и политической истории. Тавтологический заголовок «Принцип принципиального единства», открывающий эту часть, снабжен эпитафией, видимо, самого яркого поэта тех лет — Маяковского (в других частях книги похожие эпитафии также присутствуют, но они все-таки принадлежат действующим, живым авторам). Холодный тон Шимкевича практически не оставляет места для личных оценок:

Период и эпоха кончились торжеством утвердившегося социализма. В литературе школа получила название школы социалистического реализма как отражения единства государственного и личного, коллективного и индивидуального. Счастье родины было счастьем каждого сына ее и каждой дочери его. Отсюда возникновение Отечественной войны было началом народного патриотизма, обеспечившего новому государству полную победу над врагом и огромные завоевания, но социально-политического характера.

Эпоха, замкнувшись войной, торопила следующую, идущую за нею по пятам развертывать мирное строительство в его путях к коммунизму.

Практически нет в этой части отражения даже блокадного опыта, исключительно редки фрагменты вроде следующего: «В Ленинграде развивалась блокадная частушка, часть которой была чисто блатная. Частушка пела о старухе, заведшей себе лейтенанта, вообще о замене всего более или менее “непрактического” голым расчетом (хлебом, пайком и т. д.)». Скорее всего, подходя к последнему засвидетельствованному им периоду, Шимкевич уже исчерпал тот порыв, который сподвигнул его начать работу, и иначе как «усталым» описание сталинского периода не назвать.

Примерно так филолог рассказывает о периоде русской поэзии, который ему довелось наблюдать наиболее непосредственно — не только как историческому читателю, но отчасти и как актору описываемого поля. И хотя

события своей биографии и взаимодействия с поэтами 1920-х он не упоминает в общем нарративе, совершенно очевидна пристрастность и интеллектуальная вовлеченность автора в то, о чем он говорит. Разумеется, схожая тенденция присуща и другим частям «Истории русской поэзии», но именно в этой эпохе она раскрывается в полной мере.

Неслучайно приведенное выше сравнение фрагмента Шимкевича с текстами Гинзбург. Если исходить из того, что он начал работу над книгой во время Блокады, на ум приходит предложенное исследователями понятие «блокадной графомании»: «Мы остаемся в пикантной ситуации — почти без послеблокадных свидетельств, но с огромным количеством блокадных свидетельств, потому что в Блокаду писали невероятно много (нам еще нужно понять, почему же так много писали)» [Барскова 2019: 159]. Разумеется, сводить лишь к этому феномену работу Шимкевича было бы некорректно: он использует письмо не для фиксации собственного опыта, не для вписывания себя в историю, а в качестве эскапистского жеста, практики внутренней эмиграции. Тем не менее, импульс к созданию подобной работы не может лежать в плоскости какой-то легко представимой прагматики.

Явлением вкусового падения нужно считать введение суперобложек. Ничего не может быть нелепее этого явления. Книга в свет может выходить только в двух состояниях: беззащитном и защищенном. Первое — без переплета, второе — в переплете. Выход книги без переплета нужно считать некультурным; в особенности, когда обложке уделяется художественное внимание. Сохранение обложки под переплетом было большим завоеванием в истории книги. Благодаря ему хоть часть вышедших беззащитных книг сохраняла свой первоначальный вид.

И вот вводят суперобложку, которая является все той же обложкой, но потерявшей последний смысл: хрупкая и жалкая по сравнению с переплетом, она задается целью предохранить то, что должно охранять ее самое! Она пачкается, треплется и, что всего курьезнее, при своей художественной ценности прячется в собрание суперобложек.

Примером особенно бессмысленных изданий нужно считать издание Академией «Тысячи и одной ночи». Суперобложка представляет собою, в некоторых расцветках, высокохудожественное явление, а переплет — типический сколок с грошовых восточных молитвенников. И это издание прячется как бессмысленная ценность.

Вне зависимости от того, были ли эти строки написаны в 1943-м или в 1949-м, чрезвычайно сложно представить антропологический опыт, который кроется за десятками тысяч подобных строк, складывающихся в «Историю русской поэзии».

Открытым остается вопрос о том, собирался ли филолог публиковать книгу — для эпохи позднего сталинизма (даже с учетом быстро свернутой послевоенной «микрооттепели» — см. напр. [Чудакова 2001: 363]) в ней перечисляются слишком многие запрещенные имена, не говоря уже об отсутствии классового подхода и явной приверженности ученого положениям

формального метода. Возможно, он надеялся на своеобразный ренессанс национального проекта, в связи с которым написание истории именно «русской» поэзии могло соприкасаться с государственным запросом к интеллигенции²⁰⁵. Более того, в этом отношении взгляды Шимкевича можно охарактеризовать как вполне «великоросские»: его стихийное имперство проявляется в том, что по разряду «областной поэзии» проходят в том числе белорусская и украинская — так, во введении он характеризует Тараса Шевченко как «областного гения». В интересующем нас томе Шимкевич несколько раз обращается к украинскому футуризму, возглавляемому Михайлем Семенко, довольно подробно описывает ранние издания киевских и харьковских авангардистов и переход от кверофутуризма к панфутуризму — вряд ли кто-то еще в Ленинграде конца 1940-х столь активно думал о деятелях украинского «расстрелянного возрождения», однако в целом для Шимкевича эта «областная» поэзия производна от «столичной», вторична по отношению к ней. Государственнический пафос автора виден уже в первой фразе первого тома: «Первая поэтическая эпоха с политической точки зрения была эпохой нашей первой государственности. Иначе говоря, мы можем начать историю нашей поэзии с начала нашей государственности».

Нельзя утверждать, что работа Шимкевича писалась исключительно в стол, поскольку в 1946 году Театральный институт выписал справку филологу об оказании ему материальной помощи в связи с тем, что он работает над исследованием о русской поэзии [КШ] — по-видимому, он рассказывал о работе над ним, не рассчитывая на реальную возможность публикации в ближайшее время и делая, таким образом, фундамент для работы, способной появиться в будущем²⁰⁶. В 1945 году Эйхенбаум, выступая на страницах «Литературной газеты», заявил о состоянии литературоведения в конце войны:

Необходимо, наконец, приложить все усилия, чтобы скорее добиться выхода в печать литературоведческих работ — книг и статей. У каждого из нас лежат в столах рукописи, своевременное появление которых помогло бы нам договориться и договорить гораздо легче, чем печальные дискуссии без печатных работ, вслепую. Кажется, что человек замолчал, забыл, не задумался, не понял и отвернулся от «интегральных проблем», а у него написано 25–30 печатных листов, в которых он обо всем подумал и обо всем говорит, вплоть до этих проблем. Людей, правда, мало, времени тоже мало, но мысли и материалы есть [Эйхенбаум 1987b: 457].

²⁰⁵ Ср. со стратегией Шкловского: «Но и в этой ситуации <с середины 1930-х до начала 1950-х>, отдавая должное идеологической конъюнктуре, все более чувствительной к национально-эпическому патриотизму, Шкловский не просто воспроизводил его былинные мотивы, но и контрабандой вписывал в них опоязовскую логику, поданную под видом борьбы с формализмом» [Калинин 2016: 103].

²⁰⁶ Естественно, не может идти и речи о рецепции этой работы, единственным свидетельством знакомства с ней является цитата в статье сотрудницы РО ИРЛИ [Хохлова 1994: 24].

Вряд ли, хотя и не исключено, что бывший коллега знал о работе Шимкевича. В любом случае, это наблюдение точно характеризует статус «Истории русской поэзии».

В заключение рассказа об интеллектуальной биографии Шимкевича стоит уделить внимание посмертной судьбе его наследия. На обратной стороне упоминавшейся в предыдущей главе дневниковой вырезки А. К. Любберс сохранилась надпись, относящаяся к середине октября 1953 года: «Вечером убирала в шифоньер папино наследство — что с ним делать, все в зачаточном состоянии, как разобраться — ладно зимой, пересмотрю все!». Всю жизнь Любберс хранила рукописную часть собрания отца, хотя и распродала библиотеку. Она начала переписывать более читаемым почерком «Историю русской поэзии» в переплетенные тетради. В 1968 году Любберс познакомилась с А. К. Кураевой, которая заинтересовалась судьбой и наследием ученого. Она свела дочь Шимкевича с Тамарой Орнатской, благодаря которой архив был передан в Пушкинский Дом. Оставшиеся книги были переданы в библиотеку Пушкинского Дома, музей Анны Ахматовой и другие хранилища. Летом 1991 года А. К. Кураева со своей сестрой Л. К. Симаковой подготовили три экземпляра машинописного фрагмента «Истории русской поэзии», посвященного поэзии 1910-х–1920-х годов. Первый экземпляр был передан Орнатской, которая его отредактировала и начала составлять комментарий. Леонард Емельянов написал предисловие, а идея издать этот фрагмент способствовал Аскольд Муратов, однако книга так и не была выпущена, местонахождение предисловия неизвестно. Второй из экземпляров был передан Сергею Курехину, с которым была знакома А. К. Кураева, и который в это время был увлечен идеей книгоиздания — см. напр. [Нестеренко 2017], однако он вскоре скончался. Наконец, уже в середине 2010-х третья машинопись вместе с частью рукописей была передана Борису Валентиновичу Аверину, который заинтересовался фигурой Шимкевича — и инициировал настоящее исследование.

Его светлой памяти и посвящается эта работа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В начале 1928 года Тынянов призывал Шкловского: «Созрели для своей “истории литературы”, которую напишем и которая мало будет похожа на Овсяннико-Куликовского и Грузинского» [Тынянов 1977: 570]. Видимо, получив это письмо, 16 января Шкловский писал Эйхенбауму: «*История русской литературы* ждет нас» [Панченко 1984: 190]. Проект коллективной «Истории литературы» был крайне важен для формалистов в последний период их активности как научного сообщества — планировалось вовлечь в орбиту широкий круг ученых, активно использовать наработки учеников и в целом манифестировать через нее новый этап формального метода. Подготовка труда не осталась лишь предметом внутреннего обсуждения — начались даже переговоры с издателем [Тынянов 1977: 571], но очень скоро сообщество формалистов перестало существовать.

Исследователи обращают внимание на этот поворот, видя в историзации теории признак методологического кризиса²⁰⁷, а в самих планах и обсуждениях последнего большого труда ОПОЯЗа — своего рода руины, которые могут вызывать разве что меланхолию [Дмитриев, Устинов 2002: 233, прим. 5]²⁰⁸. Но вместе с тем «...элегическое понятие руины в связи с деятельностью институций 1920-х годов, кажется, становится важной операциональной метафорой вместо неизбежных и необходимых надежд конца XX века на “возрождение” или “возвращение” утраченного, различных проектов неформалистского плана. Так или иначе, исчезнувшее не равно забытому» [Бабак, Дмитриев 2021: 537]. Сложно не согласиться с этим положением — современное внимание к формальному методу в значительной мере обусловлено тем, что он остался недоовоплощенным, недоработанным. Эта незавершенность уже на протяжении века остается генератором последований и интерпретаций разной степени плодотворности. И все-таки попытки «поджечь архив» и революционизировать теорию столетней давности при всей их обаятельности и остроте не выдерживают столкновения с историзмом как базовым дисциплинарным фундаментом, особенно в условиях справедливо продекларированной смерти литературной теории [Тиханов 2002; Tihanov 2019]. «Бумажная архитектура» формализма вдруг оказывается ретроутопией, погоней за призраком. В этой ситуации перед археологом знания скорее встает задача реконструировать контур здания, чем жить в его руинах.

Описанную в диссертации деятельность Кабинета современной литературы можно прочесть как продолжение, расширение исторической утопии позднего формализма. К современности формалисты подходили с научной

²⁰⁷ Интересно, что еще в 1974 году было прокламировано, что схожий кризис структурализма связан с его «переоткрытием истории» [Jameson 1974: 187].

²⁰⁸ Впрочем, есть и иное истолкование отношений между формализмом и руиной [Калинин 2005].

меркой — они были готовы поставить критику на службу науке, чтобы их теоретические модели работали не только ретроспективно. История домодернистской литературы все-таки была территорией разведанной, полем битвы готовых концепций, и главной задачей формалистов было несовпадение с существующими моделями («мало будет похоже на Овсяннико-Куликовского и Грузинского»). В случае описания новой литературы перед ними открывалось поле, еще не оккупированное академией, работа в котором должна была оказаться настоящим испытанием на прочность — именно поэтому в работу Кабинета инвестировались и средства, и силы.

Удивительно, что в итоге самым масштабным, последовательным и насыщенным рефлексом формалистского замысла оказалась странная, полуграфоманская рукопись Шимкевича, созданная в позднесталинский период. В своей маргинальной позиции через полтора десятка лет после разгрома школы филолог как бы подхватил мечту своих бывших коллег и целиком посвятил себя ее воплощению. Ультимативный тезис Тынянова об истории литературы как истории форм [Тынянов 1977: 509] Шимкевичем не воплощен, исследователь идет по более традиционному для литературоведения пути мотивного анализа, однако, соединяя это с изучением литературных объединений и вниманием к некоторым мелочам литературного быта, он все-таки оказывается именно в русле позднего формализма, который уже окончательно не сводится к какой-то единой парадигме [Steiner 1984: 270]. Шимкевич как бы хватается за призрак универсальной объяснительной модели и в этом смысле оказывается провозвестником современной реанимации теории. Его «правоформалистская» ориентация оказывается единственно возможной платформой, поскольку труд подобного объема и подобной методологической монотонности определяется монолитной академической логикой, а не авангардистским стремлением к серии разрывов.

«История русской поэзии» феноменальна, в то время как ее автор не выделяется среди своих коллег и оппонентов. Однако здесь начинают работать парадоксы: в ряду представителей формального метода, быть *не исключительным* — само по себе уникально. Шимкевич в чистом виде представляет то «нормальное исключение» (*normal exception*), поиском каковых занимается микроистория. Своей маргинальной позицией, созданием сложных абстрактных схем, зависящих от авторского быта и противостоящих интеллектуальному мейнстриму эпохи, Шимкевич напоминает мельника Меноккио, классического персонажа микроистории [Гинзбург 2000]. Проекты Шимкевича в итоге обернулись серией неудач, камнем ушедших на дно архива. Но они способны поразить открывающего их историка скользким несовпадением с тем представлением о прошлом веке, которое складывается из «больших» нарративов.

Сложно не воспринимать автобиографически фразу из введения к «Истории русской поэзии», которая подается как общее правило:

Редко то или иное поэтическое движение развивается, расцветает и угасает нормально, большею частью оно прерывается в той или иной стадии своего развития, прерывается насильственно, оставаясь или недоразвившимся, незаконченным, или сдвинутым, скомканным и немедленно затоптанным. При этом последнее в массе добивается не только унижением предшествующего, но и возможно полного его забвения. Бьют не только сторонников, но и исследователей, прибегая к разным формам террора: административного, морального (особое презрение) и т. п. и т. д. В результате почти всегда чудовищные высказывания, исключительное забвение самых недавних фактов.

Никогда никаких «безвыходных» положений не бывает: выход всегда находится, потому что, являясь выражением социального порядка, поэтическое движение составляет сущность вечно изменяющейся жизни.

Сплетение литературного и социального достигает у Шимкевича пика — он, описывая историю поэзии, рассказывает о своей жизни, о том опыте, который сближает его с другими современниками и учениками. И, несмотря на всю трагичность этого коллективного опыта, приходит в итоге к «поискам оптимизма».

Петербургская культура в свой короткий ленинградский промежуток насыщена катастрофами, несколько раз разрушавшими ту прослойку, из которой эта культура состояла. Устойчивая вера ленинградского интеллигента в возможность найти выход — это не ошибка выжившего, а буквально единственная причина продолжать сопротивление, несмотря на скорбь и страх, пропитывающий все вокруг. «Даром разжечь в прошлом искру надежды наделен лишь историк, проникнувшийся мыслью, что враг, если он одолеет, не пощадит и мертвых. А побеждать этот враг продолжает непрестанно» [Беньямин 2000: 83]. Посреди трагедии сегодняшнего дня у нас нет права на забвение этого урока.

ИСТОЧНИКИ

Использованные архивы

- ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва).
ИКМК — Историко-краеведческий музей гор. Кировска.
КШ — РО ИРЛИ. Ф. 828. Константин Шимкевич. (В обработке).
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).
РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) (Санкт-Петербург).
РО РНБ — Рукописный отдел Российской Национальной библиотеки (Санкт-Петербург).
Собрание А. Ю. Балакина (Санкт-Петербург).
Собрание А. А. Бихтера (Санкт-Петербург).
Собрание А. К. Кураевой (Санкт-Петербург).
СПбФ АРАН — Санкт-Петербургский филиал Архива Академии наук.
ЦА ФСБ РФ — Центральный архив ФСБ Российской Федерации (Москва).
ЦГАИПД СПб — Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга.
ЦГАЛИ СПб — Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга.
ЦГА СПб — Центральный государственный архив Санкт-Петербурга.
ЦГИА СПб — Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга.
Электронный архив Вяч. Иванова (Рим). https://www.v-ivanov.it/arhiv/ob_arhive (17.04.2024).

Литература

- Аверьянова 2011: *Аверьянова Л.* Vox humana: собрание стихотворений / Ред. М. М. Павловой. М., 2011.
Азадовский 2002: *Азадовский К. М.* Жизнь Николая Клюева. СПб., 2002.
Акимова, Комарова: 2001. *Акимова Э. Н., Комарова Г. С.* Филологический факультет: годы и люди // Вестник Мордовского университета. 2001. № 3–4. С. 153–156.
Александров 2018. *Александров А.* Александр Алексеевич Измайлов — литературный критик и библиофил // Библиофилы России. 2018. Т. XIV. С. 152–166.
Арватов 2024: *Арватов Б. И.* Язык поэтический и язык практический (К методологии искусствознания) // Формальный метод: Антология русского модернизма. М.; Екатеринбург, 2024. Т. 4: Функции. С. 378–389.
Аристотель 1927. *Аристотель.* Поэтика / Пер. Н. Новосадского. Л., 1927.
Аронсон, Рейсер 1929: *Аронсон М. И., Рейсер С. А.* Литературные кружки и салоны / Ред. и предисл. Б. Эйхенбаума. Л., 1929.
Архиппов 2016: *Архиппов Е. Я.* Рассыпанный стеклярус: В 2 т. / Под ред. Т. Ф. Нешумовой. М., 2016.
Атеней: Атеней. Историко-литературный временник. Л., 1924–1926.
Бабак, Дмитриев 2021: *Бабак Г., Дмитриев А.* Атлантида советского нацмодернизма: формальный метод в Украине (1920-е — начало 1930-х). М., 2021.

- Балакина, Бекжанова 2017: *Балакина А. А., Бекжанова Н. В.* К истории награждения сотрудников Библиотеки АН СССР медалью «За оборону Ленинграда» // Труды Института бизнес-коммуникаций. СПб., 2017. Т. 2. С. 91–99.
- Балухатый 1936: *Балухатый С. Д.* Литературная работа М. Горького. Список перепечатанных текстов и авторизованных изданий 1892–1934. Л., 1936.
- Барскова 2019: *Барскова П. Ю.* (В)место преступления. М., 2019.
- Барышева 2014: *Барышева Н. Р.* Из истории Всесоюзного общества изобретателей // Вестник КемГУ. 2014. № 2 (58). С. 35–39.
- Бахтерев 1984: *Бахтерев И. В.* Когда мы были молодыми // Воспоминания о Н. Заболоцком М., 1984.
- Бекжанова, Балакина 2018: *Бекжанова Н. В., Балакина А. А.* Библиотека Российской академии наук (БАН). Хроника военных лет, 1942 г. // Петербургская библиотечная школа. 2018. № 4 (65). С. 129–148.
- Бекжанова, Балакина 2019а: *Бекжанова Н. В., Балакина А. А.* Библиотека Российской академии наук (БАН). Хроника военных лет, январь-июнь 1943 года // Петербургская библиотечная школа. 2019. № 1 (66). С. 97–114.
- Бекжанова, Балакина 2019б: *Бекжанова Н. В., Балакина А. А.* Библиотека Российской академии наук (БАН). Хроника военных лет, июль-декабрь 1943 года // Петербургская библиотечная школа. 2019. № 2 (67). С. 40–62.
- Бекжанова, Балакина 2019с: *Бекжанова Н. В., Балакина А. А.* Библиотека Российской академии наук (БАН). Хроника военных лет, январь-апрель 1944 года // Петербургская библиотечная школа. 2019. № 3 (68). С. 115–133.
- Бекжанова, Балакина 2019д: *Бекжанова Н. В., Балакина А. А.* Библиотека Российской академии наук (БАН). Хроника военных лет, май-август 1944 года // Петербургская библиотечная школа. 2019. № 4 (69). С. 127–150.
- Белогурова 2019: Мейерхольд в Новороссийске: библиографическое пособие / Сост. И. В. Белогуровой. Новороссийск, 2019.
- Белоус 2005: *Белоус В. Г.* Вольфила: 1919–1924 : В 2 т. М., 2005.
- Бенина, Эвентова 2014: Журнал «Звезда». Библиографический указатель. 1924–2013: В 2 т. / Сост. М. А. Бениной, М. А. Эвентовой. СПб., 2014.
- Беньямин 2000: *Беньямин В.* О понятии истории // Новое литературное обозрение. 2000. № 6 (46). С. 81–90.
- Берггольц 2016: *Берггольц О. Ф.* Мой дневник: В 3 т. М., 2016. Т. 1: 1923–1929.
- Берд 1999: *Берд Р.* Вяч. Иванов и советская власть (1919–1924). Известные материалы // Новое литературное обозрение. 1999. № 6 (40). С. 305–331.
- Берд 2017: *Берд Р.* Противостояние формализму от символизма к соцреализму: Павел Медведев, Андрей Белый и Борис Пастернак на рубеже 1930-х годов // Эпоха «остранения». Русский формализм и современное гуманитарное знание. М., 2017. С. 276–284.
- Берков 1983: *Берков П. Н.* История советского библиофильства (1917–1967). М., 1983.
- Берштейн 1926: *Берштейн С. И.* Звучащая художественная речь и ее изучение // Поэтика. Л., 1926. Т. 1. С. 41–53.
- Бессмертный 2023: *Бессмертный Ю. Л.* Многоликая история (проблема интеграции микро- и макроподходов) // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории: Антология. М., 2023. С. 137–150.
- Бихтер 1940а: *Бихтер А. М.* Владимир Маяковский: жизнь и творчество. Саранск, 1940.

- Бихтер 1940b: *Бихтер А. М.* Владимир Маяковский эйкакш-пингезэ // Ленинэнь киява. 14 апреля 1940. № 42. С. 2–4.
- Бихтер 2010a: *Бихтер М. А.* Телега жизни: голод стирает наносную деликатность культуры // Новая газета. Санкт-Петербург. 17 июня. 2010. № 42. <http://novayagazeta.spb.ru/articles/5920> (17.04.2024).
- Бихтер 2010b: *Бихтер М. А.* Телега жизни: пространство между рождением и уходом... // Новая газета. Санкт-Петербург. 21 июня 2010. № 43. <http://novayagazeta.spb.ru/articles/5923> (17.04.2024).
- Бихтер 2010c: *Бихтер М. А.* Телега жизни: смерть гонит людей на улицы... // Новая газета. Санкт-Петербург. 12 июля 2010. № 49. <http://novayagazeta.spb.ru/articles/5981> (17.04.2024).
- Бихтер, Кириллов 1931: Рекомендательные списки по художественной литературе, критике и мемуарам / Сост.: А. М. Бихтер, К. В. Кириллов. Л., 1931.
- Бицилли 2000: *Бицилли П. М.* Трагедия русской культуры: исследования, статьи, рецензии. М., 2000.
- Блок 1928: *Блок А. А.* Дневник : В 2 т. Л., 1928.
- Блюмбаум, Морев 1991: *Блюмбаум А. Б., Морев Г. А.* «Ванна Архимеда»: к истории несостоявшегося издания // Wiener Slawistischer Almanach. 1991. Bd. 28. S. 263–269.
- Богатырева 2019: *Богатырева С. И.* Серебряный век в нашем доме. М., 2019.
- Богомолов 2018: *Богомолов Н. А.* Филолог в переломные эпохи (Из архива И. Н. Розанова) // Архив ученого-филолога: Личность. Биография. Научный опыт. СПб., 2018. С. 95–111.
- Богородский 1959: *Богородский Ф. С.* Воспоминания художника. М., 1959.
- Болдырев 1997: *Болдырев А. Н.* Осадная запись (Блокадный дневник). СПб., 1997.
- Бреслер 2020: *Бреслер Д. М.* Советские «эмоционалисты»: чтение Вагинова в 1960–1980-е // Новое литературное обозрение. 2020. № 4 (164). С. 233–260.
- Бухштаб 1974: *Бухштаб Б. Я.* А. А. Фет: Очерк жизни и творчества. Л., 1974.
- Бухштаб 1996: *Бухштаб Б. Я.* Пастернак: критическое исследование / Публ. Г. Г. Шаповаловой; предисл. В. С. Баевского // Russian Studies. 1996. № 1. С. 288–359.
- Бухштаб 2000: *Бухштаб Б. Я.* Фет и другие. М., 2000.
- Бутурлин 1897: Стихотворения графа П. Д. Бутурлина, собранные и изданные после его смерти графиней Я. А. Бутурлиной. Киев, 1897.
- Вагинов 1999: *Вагинов К. К.* Полное собрание сочинений в прозе. СПб., 1999.
- Ван Баскирк 2020: *Ван Баскирк Э.* Проза Лидии Гинзбург: Реальность в поисках литературы. М., 2020.
- Вацуро 1983: *Вацуро В. Э.* К биографии В. Г. Теплякова // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1983. Т. 11. С. 192–212.
- Вацуро 1985: *Вацуро В. Э.* Литературная школа Лермонтова // Лермонтовский сборник. Л., 1985. С. 49–90.
- Вацуро 2005: В. Э. Вацуро. Материалы к биографии. М., 2005.
- Вацуро 2007: *Вацуро В. Э.* Подолинский Андрей Иванович // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М., 2007. Т. 5. С. 12–15.
- Вдовин, Зубков 2023: Институты литературы в Российской империи / Под ред. А. В. Вдовина и К. Ю. Зубкова. М., 2023.
- Весь Петербург 1908: Весь Петербург. СПб., 1908.
- Виноградов 1975: *Виноградов В. В.* Из истории изучения поэтики (20-е годы) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1975. Т. 34. № 3. С. 259–272.

- Галушкин 1992: *Галушкин А. Ю.* Письмо Е. Замятина А. Воронскому: К истории ареста и несостоявшейся высылки Замятина в 1922–1923 гг. // *De visu.* 1992. № 0. С. 12–23.
- Галушкин 2006: Литературная жизнь России 1920-х годов. События. Отзывы современников. Библиография / Ред. А. Ю. Галушкин. М., 2006. Т. 1, кн. 2: Москва и Петроград. 1921–1922 гг.
- Галушкин, Калинин 2019: *Галушкин А. Ю., Калинин И. А.* Комментарии // В. Б. Шкловский. Собрание сочинений. М., 2019. Т. 1: Революция.
- Гаспаров 1990: *Гаспаров М. Л.* Научность и художественность в творчестве Тынянова // Тыняновский сборник: Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990.
- Герасимова 2014: *Герасимова К. А. Н. С.* Лесков и книгоиздательство «Посредник» // Вестник Московского университета. Сер. 9: Филология. 2014. № 6. С. 123–130.
- Г<изетти?> 1924: *А. Г.* Дискуссии о современной литературе // Русский современник. 1924. № 2. С. 273–278.
- Гинзбург 1927: *Гинзбург Л. Я.* Из литературной истории Бенедиктова (Белинский и Бенедиктов) // Поэтика. Л., 1927. Т. 2. С. 83–103.
- Гинзбург 1936: *Гинзбург Л. Я.* Пушкин и Бенедиктов // Временник Пушкинской комиссии. 1936. Вып. 2. С. 148–182.
- Гинзбург 1989: *Гинзбург Л. Я.* Бенедиктов Владимир Григорьевич // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 233–237.
- Гинзбург 1990: *Гинзбург Л. Я.* Вспоминая Институт истории искусств... // Тыняновский сборник: Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 278–289.
- Гинзбург 2000: *Гинзбург К.* Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М., 2000.
- Гинзбург 2001: *Гинзбург Л. Я.* Письма Б. Я. Бухштабу / Публ. Д. В. Устинова // Новое литературное обозрение. 2001. № 3 (49). С. 325–386.
- Гинзбург 2002: *Гинзбург Л. Я.* Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002.
- Гинзбург 2011: *Гинзбург Л. Я.* Проходящие характеры: Проза военных лет. Записки блокадного человека. М., 2011.
- Гиппиус 1966: *Гиппиус В. В.* От Пушкина до Блока. М., Л., 1966.
- Гирц 2004: *Гирц К.* Интерпретация культур. М., 2004.
- Гланц, Пильщиков 2017: *Гланц Т., Пильщиков И. А.* Русские формалисты как научное сообщество // Эпоха «остранения». Русский формализм и современное гуманитарное знание. М., 2017. С. 85–100.
- Глинка 2010: *Глинка В. М.* Воспоминания о блокаде. СПб., 2010.
- Голицына 1983: *Голицына В. Г.* Наш институт, наши учителя // Воспоминания о Ю. Тынянове. Портреты и встречи. М., 1983. С. 73–84.
- Депретто 2015: *Депретто К.* Формализм в России: предшественники, история, контекст. М., 2015.
- Дмитренко 1997: *Дмитренко А. Л.* Из истории эгофутуризма // Минувшее. Исторический альманах. № 22. СПб., 1997. С. 206–247.
- Дмитриев, Устинов 2002: *Дмитриев А. Н., Устинов Д. В.* «Академизм» как проблема отечественного литературоведения XX века (историко-филологические беседы) // Новое литературное обозрение. 2002. № 1 (53). С. 217–240.
- Дмитриева 2009: *Дмитриева Е.* Генрих Вельфлин в России // Европейский контекст русского формализма (к проблеме эстетических пересечений: Франция, Германия, Италия, Россия). М., 2009. С. 98–131.
- Добренко 1997: *Добренко Е. А.* Формовка советского читателя. СПб., 1997.

- Дружинин 2012: *Дружинин П. А.* Идеология и филология : В 2 т. М., 2012.
- Дюжилов 2012: *Дюжилов С. А.* У истоков краеведческого движения в Хибинах // Геология и стратегические полезные ископаемые Кольского региона. Труды IX Всероссийской Ферсмановской научной сессии. Апатиты, 2012. С. 64–68.
- Еголин 1958: *Еголин А. М.* О некрасовской школе в русской поэзии XIX века // Вопросы литературы. 1958. № 5. С. 152–165.
- Еремина 1978: *Еремина В. И.* Поэтический строй русской народной лирики. Л., 1978.
- Жаккар, Устинов 2010: *Жаккар Ж.-Ф., Устинов А. Б.* Александр Туфанов и московские футуристы // *Vademecum: К 65-летию Лазаря Флейшмана.* М., 2010. С. 240–246.
- ЖИ: Жизнь искусства. Ежедневная газета. Пг, 1919–1920.
- Жирмунский 1921: *Жирмунский В. М.* Композиция лирических стихотворений. Пг.: 1921.
- Жирмунский 1923а: *Жирмунский В. М.* Байронизм Пушкина, как историко-литературная проблема // Пушкинский сборник памяти С. А. Венгерова. М.; Пг., 1923а. С. 295–326.
- Жирмунский 1923б: *Жирмунский В. М.* Рифма, ее история и теория. Пг., 1923б.
- Жирмунский 1924: *Жирмунский В. М.* Байрон и Пушкин: из истории романтической поэмы. Л., 1924.
- Жирмунский 1928: *Жирмунский В. М.* Вопросы теории литературы. Л., 1928.
- Жирмунский 1978: *Жирмунский В. М.* Байрон и Пушкин. Л., 1978.
- За Христа пострадавшие: База данных «За Христа пострадавшие».
http://martyrs.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans
(17.04.2024).
- Зенкин 2012: *Зенкин С. Н.* Открытие «быта» русскими формалистами // Зенкин С. Н. Работы о теории. М., 2012. С. 305–324.
- Золотухин 2015: *Золотухин В. В.* Деятельность Кабинета Изучения Художественной Речи (при Государственном Институте истории искусств) в контексте исследований театральной декламации // Живое слово: логос — голос — движение — жест. М., 2015. С. 53–65.
- Золотухин, Шмидт 2018: Звучащая речь: Работы Кабинета изучения художественной речи (1923–1930) / Сост. В. Золотухин, В. Шмидт. М., 2018.
- Зоргенфрей 2014: *Зоргенфрей В. А.* Страстная суббота: стихи, воспоминания, переводы / Ред. А. А. Шелаевой. СПб., 2014.
- Зощенко 1928: *Зощенко М. М.* О себе, о критиках и о своей работе // Михаил Зощенко: статьи и материалы. Л., 1928.
- Зубов 2004: *Зубов В. П.* Страдные годы России: Воспоминания о революции. М., 2004.
- Иванов 1964: Воспоминания и записи Евгения Иванова об Александре Блоке / Публ. Э. П. Гомберг и Д. Е. Максимова; подгот. текста Э. П. Гомберг; комм. Э. П. Гомберг и А. М. Бихтера // Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 324–424.
- Иванюк 1998: *Иванюк Б. П.* Метафора и литературное произведение. Черновцы, 1998.
- Каверин 1982: *Каверин В. А.* Собрание сочинений: В 8 т. М., 1982.
- Каверин 1988: *Каверин В. А.* Литератор: дневники и письма. М., 1988.
- Каверин, Новиков 1990: *Каверин В. А., Новиков В. И.* Новое зрение. Книга о Юрии Тынянове. М., 1990.

- Казанский 2001: *Казанский Н. Н.* Письмо В. М. Жирмунского Б. В. Казанскому // Материалы конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика В. М. Жирмунского. СПб., 2001. С. 15–17.
- Калинин 2001: *Калинин И. А.* История как искусство членораздельности (исторический опыт и металитературная практика русских формалистов) // Новое литературное обозрение. 2001. № 1 (71). С. 103–131.
- Калинин 2016: *Калинин И. А.* Виктор Шкловский как прием // Формальный метод: Антология русского модернизма. Екатеринбург; М., 2016. Т. 1. Системы. С. 63–106.
- Калинин 2019: *Калинин И. А.* Как сделан язык Ленина: материал истории и прием идеологии // Энергия кризиса. М., 2019. С. 226–245.
- Кац 2008: *Кац Б. А.* Одиннадцать вопросов к Пушкину. СПб., 2008.
- Катанян 1985: *Катанян В. А.* Маяковский: Хроника жизни и деятельности. М., 1985.
- Кертис 2004: *Кертис Дж.* Борис Эйхенбаум: его семья, страна и русская литература. СПб., 2004.
- Кларк 2018: *Кларк К.* Петербург, горнило культурной революции. М., 2018.
- Клигер 2016: *Клигер И.* Археология движения или система систем. О несинхронных моделях истории в работах формальной школы // Русская интеллектуальная революция 1910–1930-х годов. М., 2016. С. 44–57.
- Кобрин 2006: *Кобрин К. Р.* «Человек 20-х годов». Случай Лидии Гинзбург (к постановке проблемы) // Новое литературное обозрение. 2006. № 1 (78). С. 60–83.
- Коган 2013: *Коган Е. И.* «С моим обломовским характером...». По фрагментам писем Г. А. Озеровой // Петербургская библиотечная школа. 2013. № 3 (43). С. 57–66.
- Козьмин 1928: Писатели современной эпохи. Био-библиографический словарь русских писателей XX века / Под ред. Б. П. Козьмина. М., 1928.
- Колобова 1914: *Колобова Н. М.* Природа в поэзии А. С. Пушкина // Пушкинист. Историко-литературный сборник. СПб., 1914. С. 45–162.
- Кошелева 2023: *Кошелева О. Е.* «Микроистория»: несколько слов к читателю новой книжной серии // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории: Антология. М., 2023. С. 7–17.
- Кривич 2011: Литературная тетрадь Валентина Кривича. СПб., 2011.
- Крисанова 2018: *Крисанова Н. А.* Становление и развитие высшей школы // Культура Мордовии. XX век: В 2 т. Саранск, 2018. Т. 1. С. 288–314.
- Крусанов 2003: *Крусанов А. В.* Русский авангард. 1907–1932. Исторический обзор. М., 2003. Т. II: Футуристическая революция. 1917–1921. Кн. 1.
- Крусанов 2019: *Крусанов А. В.* Первые опыты историографии футуризма // Владимир Федорович Марков: первооткрыватель и романтик. СПб., 2019. С. 526–569.
- Крученых 1913: *Крученых А. Е.* Новые пути слова // Хлебников В. В., Крученых А. Е., Гуро Е. Г. Трое. СПб., 1913. С. 22–37.
- Крюгер 2015: Крюгер (Заринская) Мария Федоровна // Школа Карла Мая. http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=12636 (17.04.2024).
- Кудрявцев 1991: *Кудрявцев П. Н.* О современных задачах истории // Кудрявцев П. Н. Лекции. Сочинения. Избранное. М., 1991. С. 177–206.
- Кузмин 1998: *Кузмин М. А.* Дневник 1934 года. СПб., 1998.
- Кузмин 2010: *Кузмин М. А.* Дневник 1929 года // Наше наследие. 2010. № 95. С. 80–109.
- Кузьмин 2009: *Кузьмин Д. В.* После победы все дурное забудется... Блокадный дневник Ольги Федоровны Хузе // История Петербурга. 2009. № 4. С. 77–78.

- Кукушкина 2006: *Кукушкина Т. А.* Всероссийский союз писателей. Ленинградское отделение (1920–1932). Очерк деятельности // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2001 год. СПб., 2006. С. 84–141.
- Кукушкина 2007: *Кукушкина Т. А.* Всероссийский союз поэтов. Ленинградское отделение (1924–1929). Обзор деятельности // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003–2004 год. СПб., 2007. С. 83–139.
- Кукушкина 2010: *Кукушкина Т. А.* Александр Введенский и Даниил Хармс в ленинградском Союзе поэтов и ленинградском Союзе писателей (По материалам архивов Пушкинского Дома) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2007–2008 год. СПб., 2010. С. 543–588.
- Кумпан 2009: *Кумпан К. А.* К истории возникновения Соцкома в Институте истории искусств (Еще раз о Жирмунском и формалистах) // На рубеже двух столетий. М., 2009. С. 345–360.
- Кумпан 2014: *Кумпан К. А.* Институт истории искусств на рубеже 1920–1930-х годов // Конец институций культуры двадцатых годов в Ленинграде. М., 2014. С. 8–128.
- Лавренев 1928: *Лавренев Б. А.* История одного человека // Красная газета (веч. вып.). 16 ноября 1928. № 316.
- Лавров, Малмстад 1998: А. Белый, Р. Иванов-Разумник. Переписка / Публ. и комм. А. В. Лаврова и Дж. Малмстада. СПб., 1998.
- Лаврухин 1932: Две ударных: бригада токарей. Авдеев. Аптекман. Глухов. Кориллов. Маневич. Перцович. Рейн. Тихоненко. Шерер / Организатор кн. Дм. Лаврухин. Л., 1932.
- Левина, Всевиов 2013: *Левина Р. Ш., Всевиов Л. М.* Из истории библиотеки ИИМК РАН // Академическая археология на берегах Невы (от РАИМК до ИИМК РАН, 1919–2014 гг.). СПб., 2013. С. 318–326.
- Левченко 2012: *Левченко Я. С.* Другая наука: Русские формалисты в поисках биографии. М., 2012.
- Лейбов 2000: *Лейбов Р. Г.* «Лирический фрагмент» Тютчева: Жанр и контекст. Тарту, 2000.
- Лемминг 2004: «Серапионовы братья» в зеркалах переписки / Под ред. Е. Лемминга. М., 2004.
- Лермонтов 1910–1913: *Лермонтов М. Ю.* Полное собрание сочинений: В 5 т. / Под ред. и с примеч. Д. И. Абрамовича. СПб., 1910–1913.
- Лермонтов 1924: *Лермонтов М. Ю.* Стихотворения: В 2 т. / Под ред. К. И. Халабаева, Б. М. Эйхенбаума. Л., 1924.
- Лозинский 1974: Багровое светило. Стихи зарубежных поэтов в переводе Михаила Лозинского. М., 1974.
- Лотман, Минц, Егоров 2018: Лотман Ю. М., Минц З. Г. — Егоров Б. Ф. Переписка. СПб., 2018.
- Лукницкий 1991: *Лукницкий П. Н.* *Asumiana*. Встречи с Анной Ахматовой: В 2 т. Paris, 1991.
- Львов 2014: *Львов В. С.* Литературная критика формальной школы (Ю. Н. Тынянов, В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум). Дисс. канд. филол. наук. М., 2014.
- Мазурин 1927: *Мазурин Б. С.* [Рец. на:] Роман Гуль. Жизнь на фукса. Гиз, М.; Л. 1927 // Звезда. 1927. № 11. С. 172–173.
- Мантейфель 2010: *Мантейфель С.* Бегство от погибели: воспоминания, стихи. Великий Новгород, 2010.

- Маяковский 2022: «Разговор с фининспектором о поэзии» Владимира Маяковского: Факсимильное издание. Исследования. Комментарий. СПб., 2022.
- Медведев 1928а: *Медведев П. Н.* Формальный метод в литературоведении: критическое введение в социологическую поэтику. Л., 1928.
- Медведев 1928б: Памяти Акима Львовича Волынского / Под ред. П. Н. Медведева. Л., 1928.
- Навроцкий 1927: *Навроцкий Б.* [Рец. на:] Поэтика. II. Временник отдела словесных искусств ГИИИ. Ленинград, 1927 // Червоний шлях. 1927. № 5. С. 214–217.
- Немзер 1996: *Немзер А. С.* <Ответ на анкету к 100-летию Ю. Н. Тынянова> // Седьмые Тыняновские чтения: материалы для обсуждения. Рига; М., 1996. С. 31–36.
- Нестеренко 2017: *Нестеренко М.* «Медуза» курильщика // Горький. 19 июня. <https://gorky.media/context/meduza-kurilshhika> (17.04.2024).
- Нешумова 2007: *Нешумова Т. Ф.* Невидимый трилистник: Черубина де Габриак, Д. С. Усов, Е. Я. Архиппов // «Серебряный век» в Крыму: взгляд из XXI столетия. М.; Симферополь; Судак, 2007. С. 119–161.
- О Веселовском Д. Н.: О Веселовском Д. Н. — в Помполит // Заклейменные властью. Услышь их голоса. http://pkk.memo.ru/letters_pdf/002349.pdf (17.04.2024).
- Олимпов 1997: *Олимпов К. К.* Возникновение эгопоэзии вселенского эгофутуризма // Минувшее. Исторический альманах. № 22. СПб., 1997. С. 188–197.
- [Организуйте... 1918]: Организуйте Отделы Словесного Искусства! // Искусство коммуны. 1918. № 1.
- Орлова 2019: *Орлова Г.* Ремонт и курирование большого формального метода // Новое литературное обозрение. 2019. № 3 (157). С. 26–34.
- Орнатская 1996: *Орнатская Т. И.* Материалы А. А. Ахматовой в архиве К. А. Шимкевича // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1992 год. СПб., 1996. С. 78–88.
- Отчет 1924: Краткий отчет о деятельности Российского Института Истории Искусств // Задачи и методы изучения искусств. Пг., 1924. С. 169–229.
- Отчет 1926: Отчет о научной деятельности Отдела Словесных Искусств ГИИИ // Поэтика. Л., 1926. Т. 1. С. 155–162.
- Отчет 1928: Отчет о научной деятельности Отдела Словесных Искусств ГИИИ с 1/1 1926 г. по 1/1 1928 г. // Поэтика. Л., 1928. Т. 4. С. 149–155.
- Отяковский 2019: «Дни кувыркались как кролики, которых подстреливали на бегу». Письма Константина Шимкевича к дочери (февраль–март 1944 года) / Публ. В. С. Отяковского // Неприкосновенный запас. 2019. № 6 (128). С. 4–20.
- Отяковский 2020а: *Отяковский В. С.* Из полемики вокруг формализма: К. Шимкевич о «Литературном факте» Ю. Тынянова // Летняя школа по русской литературе. 2020. Т. 16. № 1–2. С. 130–147.
- Отяковский 2020б: *Отяковский В. С.* Константин Шимкевич — пушкинист // Временник Пушкинской комиссии. 2002. Вып. 34. С. 181–196.
- Отяковский 2022: *Отяковский В. С.* Между самокритикой и самооправданием: случай Юрия Перцовича // Новое литературное обозрение. 2022. № 5 (177). С. 104–118.
- Отяковский 2024а: *Отяковский В. С.* К истории одной несостоявшейся выставки футуризма // Сборник матице српске за славистику. 2024. № 105. С. 221–225.
- Отяковский 2024б: *Отяковский В. С.* Историография авангарда в ГИИИ: новые материалы (в печати).
- Очерк истории: *Очерк истории* // Библиотека Института истории материальной культуры РАН. <http://www.archeo.ru/biblioteka-1/ocherk-istorii> (17.04.2024).

- Панченко 1984: Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским / Публ. О. Панченко // Вопросы литературы. 1984. № 12. С. 185–218.
- Пастернак 2000: *Пастернак Б. Л.* Пожизненная привязанность. Переписка с О. М. Фрейденберг. М., 2000.
- Пахомова 2021: *Пахомова А. С.* Писательская стратегия и литературная репутация М. А. Кузмина в раннесоветский период. Тарту, 2021.
- Перетц 2010: *Перетц В. Н.* Краткий очерк методологии истории русской литературы. М., 2010.
- Перцович 1928: *Перцович Ю. С.* Важнейшие источники для изучения Н. А. Некрасова // Пролетарские писатели Некрасову. М.; Л., 1928. С. 144–149.
- <Перцович> 1928: *Большой Юс <Перцович Ю. С.>*. Портрет и пасквиль // Красная газета (веч. вып.). 6 ноября 1928. № 307.
- Перцович 1981: *Перцович Ю. С.* В далеком двадцатом... Странички биографии Новороссийска: о пребывании в Новороссийске Мейерхольда В. Э. // Новороссийский рабочий. 20 мая 1981.
- Петров 2017: *Петров В. С.* Из литературного наследия. М., 2017.
- Петров 2022: *Петров В. Н.* Турдейская Манон Леско. Дневник 1942–1945. СПб.: М., 2022.
- Пиотровский 1924: *Пиотровский А. И.* Молодая драматургия // Жизнь искусства. 1924. № 12. С. 3.
- Полонская 1966: *Полонская Е. Г.* Избранное. М.; Л., 1966.
- Пономарев 2020: *Пономарев Д.* Выставка трофеев и история создания в Мурманске «Музея обороны Заполярья». <https://vk.com/@rviokola-vystavka-trofeev-i-istoriya-sozdaniya-v-murmanske-muzeya-obo> (17.04.2024).
- Попов, Фрезинский 2000: *Попов В., Фрезинский Б.* Илья Эренбург. Хроника жизни и творчества : В 3 т. СПб, 2000.
- Портнова 1981: *Портнова Н. А.* Подолинский // Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 423.
- Постоутенко 1996: *Постоутенко К. Ю.* Из комментариев к текстам Тынянова: «академический эклектизм» // Седьмые Тыняновские чтения: материалы для обсуждения. Рига; М., 1996. С. 231–234.
- Потебня 1990: *Потебня А. А.* Теоретическая поэтика. М., 1990.
- Прийма 1969: *Прийма Ф. Я.* Н. А. Некрасов // История русской поэзии: В 2 т. Л., 1969. Т. 2. С. 9–77.
- Робинсон 2004: *Робинсон М. А.* Судьбы академической элиты: отечественное славноведение (1917 — начало 1930-х годов). М., 2004.
- Розанов 1990: *Розанов И. Н.* Литературные репутации. М., 1990.
- Ронен 2000: *Ронен О.* Серебряный век как умысел и вымысел. М., 2000.
- Росовецкий 2023: *Росовецкий С.* Володимир Перетц: Біографія інтелектуала. Київ, 2023.
- Савицкий 2011: *Савицкий С. А.* Частный человек. Л. Я. Гинзбург в конце 1920-х — начале 1930-х годов. СПб., 2011.
- Сальман 2014: *Сальман М. Г.* Из студенческих лет Б. М. Эйхенбаума, Ю. Н. Тынянова и В. Б. Шкловского (по материалам Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга) // Russian Literature. 2014. LXXVI. С. 447–509.
- Самородова 1972: *Самородова О. С.* Поэт на Кавказе // Звезда. 1972. № 6. С. 186–193.
- Светликова 2005: *Светликова И. Ю.* Истоки русского формализма. Традиция психологизма и формальная школа. М., 2005.

- Сибирские спецы: Сибирские «спецы».
<https://nkvd.tomsk.ru/projects/Sibirjakinevolnye/> (17.04.2024).
- Скаков 2020: *Скаков Н.* Культура Полтора // Новое литературное обозрение. 2020. № 1 (161). С. 104–123.
- Скатов 1982: *Скатов Н. Н.* Поэзия 50-х–60-х годов // История русской литературы: В 4 т. Л., 1982. Т. 3: Расцвет реализма. С. 315–332.
- Скатов 2005: Пушкинский Дом. Материалы к истории. 1905–2005 / Под ред. Н. Н. Скатова. СПб., 2005.
- Скалдин 2004: *Скалдин А. Д.* Стихи. Проза. Статьи. Материалы к биографии. СПб., 2004.
- <Соболев> 2009: Летейская библиотека-32.
<https://lucas-v-leiden.livejournal.com/74400.html> (17.04.2024).
- Сологуб 1997: Неизданный Федор Сологуб. М., 1997.
- Спаский 1940: *Спаский С. Д.* Маяковский и его спутники. Л., 1940.
- Сухих, Шубин 1989: *Сухих И. Н., Шубин В. Ф.* «Так началась моя работа...» (Юрий Тынянов в Петербургском–Петроградском университете) // Очерки по истории Ленинградского университета. Л., 1989. С. 45–54.
- Тепляков 2003: *Тепляков В. Г.* Книга странника. Тверь, 2003.
- Тименчик 1986: *Тименчик Р. Д.* Тынянов и некоторые тенденции эстетической мысли 1910-х годов // Тыняновский сборник: Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 59–70.
- Тименчик 2018: *Тименчик Р. Д.* История культа Гумилева. М., 2018.
- Тиханов 2002: *Тиханов Г.* Почему современная теория литературы возникла в Центральной и Восточной Европе? // Новое литературное обозрение. 2002. № 1 (53). С. 75–88.
- Тоддес 1996: *Тоддес Е. А.* К текстологии и биографии Тынянова // Седьмые Тыняновские чтения: Материалы для обсуждения. Рига; М., 1996. С. 338–368.
- Томашевский 1929: *Томашевский Б. В.* О стихе. Л., 1929.
- Томашевский 1990: *Томашевский Б. В.* Пушкин: работы разных лет. М., 1990.
- Томэ, Шмид, Кауфманн 2017: *Томэ Д., Шмид У., Кауфманн В.* Вторжение жизни: Теория как тайная автобиография / Пер. с нем. М. Маяцкого. М., 2017.
- Троицкая 2015: *Троицкая А. А.* Актуализация и деактуализация искусствознания: опыт Института истории искусств // Новое литературное обозрение. 2015. № 3 (133). С. 86–100.
- Тынянов 1924: *Тынянов Ю. Н.* О литературном факте // ЛЕФ. 1924. № 2 (6). С. 101–116.
- Тынянов 1926: *Тынянов Ю. Н.* Пушкин и Тютчев // Поэтика. Т. 1. Л., 1926. С. 107–126.
- Тынянов 1968: *Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники. М., 1968.
- Тынянов 1977: *Тынянов Ю. Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
- Тынянов 1996: *Тынянов Ю. Н.* Русская литература современности // Седьмые Тыняновские чтения: Материалы для обсуждения. Рига; М., 1996. С. 92–99.
- Тынянов 2016: *Тынянов Ю. Н.* «Как мы пишем» // Формальный метод: Антология русского модернизма. Екатеринбург; М., 2016. Т. 1: Системы. С. 694–702.
- Тынянов, Казанский 1927: *Тынянов Ю. Н., Казанский Б. В.* От редакции // Фельетон: Сб. статей. Л., 1927. С. 5–9.
- Умнова 2013: *Умнова М. В.* «Делать вещи нужные и веселые...» / Авангардные установки в теории литературы и критике ОПОЯЗа. М., 2013.
- Унковой-Веселовской 1915: *Унковой-Веселовской Е. С.* Диссонансы жизни. Гельсингфорс, 1915.

- Усов 2011: *Усов Д. С.* Мы сведены почти на нет... / Ред. Т. Ф. Нешумовой : В 2 т. М., 2011.
- Успенский 2003: *Успенский Л. В.* Абсолютный вкус // Российский Институт истории искусств в мемуарах. СПб., 2003. С. 82–87.
- Устинов 2001: *Устинов Д. В.* Формализм и младоформалисты. Статья первая: постановка проблемы // Новое литературное обозрение. 2001. № 4 (50). С. 296–321.
- Устинов, Галеев 2021: *Устинов А. Б., Галеев И. И.* К истории ленинградской культуры 1930-х годов: поэтические посвящения Лидии Аверьяновой // Сюжетология и сюжетология. 2021. № 1. С. 166–189.
- Устинов, Лощилов 2020: *Устинов А. Б., Лощилов И. Е.* «Наше объединение свободное и добровольное»: Николай Заболоцкий в ОБЭРИУ // Unacknowledged Legislators. Studies in Russian Literary History and Poetics in Honor of Michael Wachtel. Berlin, 2020. S. 519–550.
- Ушакин 2016: *Ушакин С.* «Не взлетевшие самолеты мечты»: о поколении формального метода // Формальный метод: Антология русского модернизма. М.; Екатеринбург, 2016. Т. 1: Системы. С. 9–60.
- Федоров 2002: *Федоров В. С.* «Академия исканий»: Петроградская Вольфила (1919–1924) // Из истории литературных объединений Петрограда–Ленинграда 1910–1930-х годов. СПб., 2002. Кн. 1. С. 197–249.
- Фицпатрик 2011: *Фицпатрик Ш.* Сбрасывайте маски! Идентичность и самозванство в России XX века. М., 2011.
- Ханзен-Леве 2001: *Ханзен-Леве О. А.* Русский формализм. Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения. М., 2001.
- Хармс 2002: *Хармс Д. И.* Записные книжки. Дневник : В 2 кн. СПб., 2002.
- Химчук 2010: *Химчук Е. П.* Кировскому историко-краеведческому музею — 75 лет // Геология и полезные ископаемые Кольского полуострова. Труды VII Всероссийской Ферсмановской научной сессии. Апатиты, 2010. С. 230–232.
- Ходасевич 1999: *Ходасевич В. Ф.* Пушкин и поэты его времени: В 3 т. Oakland, 1999.
- Хохлова 1994: *Хохлова Н. А.* Обзор фонда Д. П. Ознобишина // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 год. СПб., 1994. С. 3–28.
- Хроника 2001: *Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина. 1826–1837: В 3 т. / Сост. Г. И. Долдобанов.* М., 2001.
- Черказьянова 2013: *Черказьянова И. В.* Ленинградские немцы в годы войны: события 1941–1942 гг. // Немцы в Санкт-Петербурге: Биографический аспект. XVIII–XX вв. Вып. 7. СПб., 2013. С. 321–348.
- Чудаков 2015: *Чудаков А. П.* Ложится мгла на старые ступени. М., 2015.
- Чудакова 1986: *Чудакова М. О.* Социальная практика, филологическая рефлексия и литература в научной биографии Эйхенбаума и Тынянова // Тыняновский сборник: Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 103–131.
- Чудакова 2001: *Чудакова М. О.* Избранные работы. М., 2001.
- Чудакова, Сажин 1986: *Чудакова М. О., Сажин В. Н.* Архивный документ в работе Тынянова и проблема сохранения и изучения архивов // Тыняновский сборник: Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 141–156.
- Чудакова, Тоддес 1984: *Чудакова М. О., Тоддес Е. А.* Тынянов в воспоминаниях современника // Тыняновский сборник: Первые Тыняновские чтения. Рига, 1984. С. 78–104.
- Чуйкова 2006: *Чуйкина С.* Дворянская память: «бывшие» в советском городе (Ленинград, 1920–30-е годы). СПб., 2006.

- Чуковский 1979: Рукописный альманах Корнея Чуковского «Чукоккала». М., 1979.
- Чуковский 2012–2013: *Чуковский К. И.* Собрание сочинений : В 15 т. М., 2012–2013.
- Шимкевич 1916: *Шимкевич К. А.* Из отголосков на смерть Пушкина // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Пг., 1916. Вып. 23/24. С. 123–126.
- Шимкевич 1918: *Шимкевич К. А.* Еще одна дата // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Пг., 1918. Вып. 29/30. С. 34–35.
- Шимкевич 1924: *Шимкевич К. А.* [Рец. на кн.:] Б. Эйхенбаум. Лермонтов. опыт историко-литературной оценки // Русский современник. 1924. № 4. С. 261–263.
- Шимкевич 1926: *Шимкевич К. А.* Пушкин и Некрасов // Пушкин в мировой литературе. Л., 1926.
- Шимкевич 1927а: *Шимкевич К. А.* Литературный обед у Смирдина с участием Пушкина // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Л., 1927. Вып. 31/32. С. 111–118.
- Шимкевич 1927б: Шимкевич К. А. Роль уподобления в строении лирической темы // Поэтика. Л., 1927. Т. 2. С. 41–54.
- Шимкевич 1929: *Шимкевич К. А.* Бенедиктов, Некрасов, Фет // Поэтика. Л., 1929. Т. 5. С. 105–134.
- Шкловский 1926: *Шкловский В. Б.* Третья фабрика. М., 1926.
- Шкловский 1983: *Шкловский В. Б.* Город нашей юности // Воспоминания о Ю. Тынянове. М., 1983. С. 5–37.
- Шкловский 1984: *Шкловский В. Б.* Литераторы и литература в Петербурге // Тыняновский сборник: Пятое тыняновские чтения. Рига; М., 1984. С. 287–289.
- Шкловский 1990: *Шкловский В. Б.* Гамбургский счет: Статьи — воспоминания — эссе (1914–1933) / Комм. А. Ю. Галушкина. М., 1990.
- Шкловский 2016: *Шкловский В. Б.* Литература вне «сюжета» // Формальный метод: Антология русского модернизма. Екатеринбург; М., 2016. Т. 1: Системы. С. 198–216.
- Шор 1927: *Шор. Р. О.* [Рец. на:] Поэтика. сб. статей. II <...> То же. III <...> // Печать и революция. 1927. № 8. С. 176–177.
- Шубин 1998: *Шубин В. Ф.* Юрий Тынянов: библиографическая хроника (1894–1943). СПб., 1998.
- Шубинский 2001: *Шубинский В. И.* «Прекрасная махровая глупость» (Лидия Гинзбург, обэриуты и Бенедиктов) // Новое литературное обозрение. 2001. № 3 (49). С. 406–416.
- Щербина 1850: *Щербина Н. Ф.* Греческие стихотворения. Одесса, 1850.
- Эджертон 1984: *Эджертон В. П.* Приключения американского слависта в Советской России // Тыняновский сборник: Пятое тыняновские чтения. Рига; М., 1984. С. 336–346.
- Эйхенбаум 1922: *Эйхенбаум Б. М.* «Методы и подходы» // Книжный угол. 1922. №. С. 13–23.
- Эйхенбаум 1924а: *Эйхенбаум Б. М.* Нужна критика // Жизнь искусства. 1924. № 4. С. 12.
- Эйхенбаум 1924б: *Эйхенбаум Б. М.* [Рец. на:] Василий Гиппиус. Гоголь // Русский современник. 1924. № 3. С. 268–269.
- Эйхенбаум 1927: *Эйхенбаум Б. М.* Литература: Теория. Критика. Poleмика. Л., 1927.
- Эйхенбаум 1969: *Эйхенбаум Б. М.* О поэзии. Л., 1969.

- Эйхенбаум 1987а: *Эйхенбаум Б. М.* Из писем к В. Б. Шкловскому // Нева. 1987. № 5. С. 156–164.
- Эйхенбаум 1987б: *Эйхенбаум Б. М.* О литературе. М., 1987.
- Эйхенбаум 1998: *Эйхенбаум Б. М.* Дневник. 1924 / Публ. А. С. Крюкова // Филологические записки. 1998. № 10. С. 207–223.
- Эйхенбаум 2020: *Эйхенбаум Б. М.* Письма к Ю. А. Никольскому / Публ. М. Г. Сальман // *Slavica Revalensia*. 2020. № 7. С. 87–203.
- Энгельгардт 1927: *Энгельгардт Б. М.* Формальный метод в истории литературы. Л., 1927.
- Эренбург 2018: Я слышу все... Почта Ильи Эренбурга, 1916–1967. М., 2018.
- Эрлих 1996: *Эрлих В.* Русский формализм: история и теория. СПб., 1996.
- Якименко 2005: *Якименко Ю. Н.* Из истории «чисток аппарата»: Академия художественных наук в 1929–1932 гг. // Новый исторический вестник. 2005. № 12. С. 150–161.
- Яacobson 2012: *Яacobson P. O.* Будетлянин науки. М., 2012.
- Яковлев 1930: *Яковлев Н. В.* К теории литературного процесса (Формалисты, Переверзев, Плеханов) // В борьбе за марксизм в литературной науке. Л., 1930.
- Яковлев 1983: *Яковлев Н. В.* Далекие годы // Воспоминания о Ю. Тынянове. М., 1983. С. 59–68.
- Ярхо 2006: *Ярхо Б. И.* Методология точного литературоведения. М., 2006.
- Brandist 2023: *C. Brandist.* The Institute for the Comparative History of the Literatures and Languages of the West and East (ILlAZV) // Central and Eastern European Literary Theory and the West. Berlin, 2023. P. 152–163.
- David-Fox 1997: *M. David-Fox.* Revolution of the Mind. Higher learning among the Bolsheviks, 1918–1929. Ithaca; London, 1997.
- David-Fox 2000: *M. David-Fox.* The Assault on the Universities and the Dynamics of Stalin's «Great Break», 1928–1930 // *Academia in Upheaval: Origins, Transfers, and Transformations of the Communist Academic Regime in Russia and East Central Europe*. Westport, 2000. P. 73–103.
- Derrida 1994: *J. Derrida.* Specters of Marx. New York; London, 1994.
- Eagleton 2008: *T. Eagleton.* Literary Theory: An Introduction. Minneapolis, 2008.
- Fisher 2012: *M. Fisher.* What Is Hauntology? // *Film Quarterly*. 2012. Vol. 66, № 1. P. 16–24.
- Fitzpatrick 1979: *S. Fitzpatrick.* Education and Social Mobility in the Soviet Union. 1921–1934. Cambridge: 1979.
- Fitzpatrick 1993: *S. Fitzpatrick.* Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia // *Journal of Modern History*. 1993. № 65. P. 745–770.
- Jameson 1974: *F. Jameson.* The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism. Princeton: 1974.
- Merrill 2022: *J. Merrill.* The Origins of Russian Literary Theory: Folklore, Philology, Form. Evanston, 2022.
- Olenina 2020: *A. H. Olenina.* Psychomotor Aesthetics: Movement and Affect in Modern Literature and Film. Oxford, 2020.
- Tihanov 2019: *G. Tihanov.* The Birth and Death of Literary Theory. Stanford, 2019.
- Scherr 1977: *B. Scherr.* Notes on Literary Life in Petrograd, 1918–1922: A Tale of Three Houses // *Slavic Review*. 1977. Vol. 36. № 2. P. 256–267.

Šimkevič 1925: *Šimkevič K.* Die Lermontov-Forschung seit 1914 // Zeitschrift für Slavische Philologie. 1925. Vol. 2. No. 1/2. S. 261–268.
Steiner 1984: *P. Steiner.* Russian Formalism: A Metaethics. Ithaca, 1984.
Ulicka 2023: *Ulicka D.* Institute of the History of the Arts // Central and Eastern European Literary Theory and the West. Berlin, 2023. P 137–151.

EESTIKEELNE KOKKUVÕTE

Formalistide ühenduse mikroajalugu: Kaasaegse Kirjanduse Kabinet (1927–1930)

Käesolev doktoritöö on pühendatud ühe suhteliselt väikese, 1920. aastate lõpu kirjandusloo ja filoloogia ajalooa seotud episoodi hoolikale uurimisele. Töös keskendutakse Leningradi Riikliku Kunstide Ajaloo Instituudi (Государственный институт истории искусств) seinte vahele loodud Kaasaegse Kirjanduse Kabineti tegevusele. Kunstide Ajaloo Instituut ise on hästi tuntud kui vene vormikoolkonna meetodi Leningradi haru tugipunkt. See kujutas endast lähtealust formalistide suure autoeksperimenti elluviimisel või teisisõnu, laborit, kus avangarditeooria muudeti (pseudo)akadeemiliseks koolkonnaks. Just selles asutuses kohanesid formalistid 1920. aastatel nõukogude akadeemilise teaduse institutsionaalse ruumiga.

Instituudi tegevuse uurimine sunnib töö autorit pöörama erilist tähelepanu mitte formalistliku liikumise „tuumale”, nagu seda tavapäraselt teooria ajalugu käsitlevates töödes tehakse, vaid teisele hierarhiale, kus mängis võtmerolli Kunstide Ajaloo Instituudi kirjanduse osakonna juhataja Viktor Žirmunski. Üks tema ülesandeid oli formalismi “parempoolse” või “akadeemilise” suuna arendamine. Instituudi aktiivsemate töötajate hulgas olid Boriss Engelhardt, Vladimir Peretz ja ka nendega liitunud Konstantin Šimkevitš, käesoleva doktoritöö üks peategelasi.

19. saj luulespetsialist Konstantin Šimkevitš juhtis 1927. a. Kaasaegse Kirjanduse Kabinetti. See institutsioon loodi formalistide aktiivse töö tulemusena moodsa kirjanduse probleemide kallal. Vestlused vene modernismist instituudi seinte vahel paljastasid kiiresti arusaamade lünklikkuse kaasaegsest kirjandusest, kuna revolutsioonile järgnenud kümnendil lahkusid paljud kirjanikud riigist või jäid muul viisil kirjandusprotsessist kõrvale ning kõige sagedamini asusid nende arhiivid ebausaldusväärsetes isiklikes kogudes.

Keskarhiiviasutused ja eelkõige Puškini maja (Vene Kirjanduse Instituut) olid pigem huvitatud ajalooliste dokumentide säilitamisest, mis ei olnud sugugi väiksemas ohus, ja seega sattusid suuremasse ohtu just kaasaegsete kirjanike arhiivid. 1930. aa algusest alustab arhiveerimise vallas hoogsat tegevust Moskva Riiklik Kirjandusmuuseum Vladimir Bontš-Brujevitši juhtimisel, kuid eelneva kümnendi keskel selliseid institutsioone veel polnud. Kirjeldatud asjaolud tingisidki Kaasaegse Kirjanduse Kabineti avamise. Asutuse tegevus seisnes 20. saj kolme esimese kümnendi autorite käsikirjade kogumises, säilitamises ja uurimises. Hoolimata selle süžee ebaolulisusest nõukogude kultuuri “suure” ajaloo uurimise seisukohalt, leiab doktoritöö autor, et Kaasaegse Kirjanduse Kabineti näide võimaldab vaadelda formalistide ühendust uue nurga alt ja nimelt, sotsiaalse ajaloo aspektis.

Ühe juhtumi põhjalik, “mikroskoopiline” analüüs sunnib pöörduma mikroajaloo uurimismeetodite poole. Kõige aktuaalsemaiks ning väitekirja lähte-

materjaliga kooskõlas olevateks uurimusteks peab autor Carlo Ginzburgi ning Juri Bessmertnõi töid. Uurimismeetodid ise on seotud antropoloogidelt ammutatud ja ajaloolise materjali suhtes ümber tõlgendatud “tiheda” (“küllastunud”) kirjelduse ideega. Mikroajalugu soovib mitte analüüsida laiemat ajaloolist ja ideoloogilist diskursiivset pilti, vaid keskenduda konkreetsete aktorite konkreetsetele praktikatele. Loomulikult on uuritava episoodi täpseks rekonstrueerimiseks ja kontekstualiseerimiseks vajalik pidev makroprotsesside arvessevõtmine, kuid ka “altpoolt” vaade aitab täpsustada suurte kontseptsioonide rakendatavust ning kindlate sotsiaalsete normide totaalsust igal ajalooperioodil. Üldiselt nõuab väike Kaasaegse Kirjanduse Kabineti tegevust peegeldav dokumentide korpus mitme naaberdistsipliini meetodite kombineerimist ja selline metodoloogiline instrumentarium määraski väitekirja kompositsiooni.

Esimene peatükk, mille pealkiri on „Institutsioon“, algab ülevaatega formalistide koostööst kaasaegse kirjanduse institutsioonidega. See koostöö väljub tavapärase kirjandusvaldkonna ja akadeemilise keskkonna interaktsiooni raamidest, sest formalistid pidasid oma teadust iselaadseks kirjanduse vormiks, propageerides algul oma meetodit vaid kirjandusringides, kabareedes ja ajakirjades, aga mitte ülikoolide ruumides. Kui formalistidest literaadid said 1920. aa. alguses võimaluse luua Riikliku Kunstide Ajaloo Instituudi seinte vahele oma kirjandusosakonna, kandsid nad sinna üle mõned oma mitteakadeemilise, 1910. aa. teise poole „ajakirjandusliku” teaduse tunnused.

Instituudi kirjandusosakonna eksisteerimise ajal uuendati siin pidevalt sisemisi institutsioone, eriti neid, mis olid seotud kaasaegse kirjandusega – esimeses peatükis kirjeldatakse üksikasjalikult Ilukirjandusliku Väljenduslaadi Uurimiskomitee transformatsiooni Kaasaegse Kirjanduse Komiteeks. Võimalust mööda on peatükis rekonstrueeritud Komitee tegevust ning kirjeldatud selle vahendusel avaldamiseks mõeldud trükiseid. Just Kaasaegse Kirjanduse Komitee tööst kasvas välja Kaasaegse Kirjanduse Kabinet, mis oli selle asutuse jätkuks ning laienduseks. Peatükis kirjeldatakse detailselt Kabineti struktuuri, selle toimimise tingimusi ja töötajate peamisi kohustusi.

Kabineti töötajad kogusid Leningradi (ja mitte ainult) kirjanike käsikirju, pidasid teaduslikke arutelusid, kutsusid luuletajaid ja prosaiste lugema oma uusi teoseid ning mälestusi vene avangardi ja modernismi ajastust, plaanisid raamatute väljaandmist. Kõiki neid tegevusvorme kirjeldatakse väitekirja esimeses peatükis detailselt, tuginedes dokumentaalsetele allikatele. Võimaluste piires on täismahus uuritud nii Kabineti tekkimise protsessi kui ka sulgemise hetke, positsiooni Riikliku Kunstide Ajaloo Instituudi struktuuris ja teiste sisemiste osakondade hulgas. Peatüki peamisteks allikateks olid Peterburi arhiivi deponeeritud Instituudi dokumentatsioon, samuti Konstantin Šimkevitši kirjavahetus literaatidega. Ametliku bürokraatliku dokumentatsiooni ja eradialoogi ristumiskohas demonstreeritakse formalistide „libisevat“ positsiooni, mis määrab nende asutuste mitteametliku olemuse, millega nad seotud olid.

Teises peatükis „Elulood“ on esitatud Kabineti peamiste töötajate biograafiad – mitmekülgsed olukirjeldused on pühendatud Kabineti asutajatele Konstantin Šimkevitšile ja Juri Pertsovitsšile ning üliõpilastest, kes töötasid

asutuses, on kirjutatud eraldi paragrahv, mis tutvustab nende rühmaportreed. See osa on vajalik nii selleks, et täita mõningad lüngad nõukogude filoloogia ajaloos kui ka selleks, et mõista Riikliku Kunstide Ajaloo Instituudi eksistentsi sotsiaalselt pragmaatikat 1920. aastatel. Peatükis püütakse samuti kirjeldada teaduskeskkonda, mis varustas formaliste kursuste kuulajatega, ning kaardistada kuulajate eluloolisi trajektoore pärast 1920. aastaid. Tänu sellele sai võimalikuks visandada Leningradi intelligentsi ajaline läbilõige mitte silmapaistvate esindajate, vaid „teise järgu“ aktorite näol, kelle vaimse pale määras 20. saj ajalugu. Riiklikus Kunstide Ajaloo Instituudis kujunes välja keskkond, millest arenes välja ning säilis Leningradi iseäralik kultuur. Ta oli paralleelne ametlikule kultuurile ning kujunes paroolide, signaalide, tuttavate nimede ja mõistete süsteemi kaudu. Samas näitab ajaline läbilõige Riikliku Kunstide Ajaloo Instituudi lõpetajate saatustest, et Instituudi kursused ei olnud „kaadri sepikoda“: „keskmise“ tasemega instituudi tudengid olid vaikselt laiali pillutatud Leningradi kultuuri-tööstuse nurkadesse. Säilitades formalistidelt saadud energialaengu, ei avaldanud nad oma teistsugusust. Vaatamata lähtepunkti juhuslikkusele (Instituudi projektis osalemine), demonstreerib rühmakirjeldus üllatavalt üksteist täiendavaid ellujäämise ning sotsialiseerumise praktikate kogumit totalitaarses keskkonnas.

Töö kolmas peatükk „Teooria“ on pühendatud Kabineti töökorra määranud Konstantin Šimkevitši enamasti avaldamata filoloogiliste tööde ülevaatele. See osa toob formalistlikult orbiidilt teaduskäibesse täiesti unustatud teadlase ideed ja kutsub üles arutlema tema mõtete üle, mis olid suunatud erinevatele filoloogilistele probleemidele. Tasub rõhutada, et selle peatüki paatos ei ole sugugi seotud sooviga „arhiivi revolutsiooni teha“, nagu juhtus näiteks taasavastatud autorite Mihhail Bahtini ja Boriss Jarhoga. Šimkevitši teosed kuuluvad täielikult oma aega, nad ei tekitanud (ja tõenäoliselt ei tekita) humanitaarmõttes uusi suundi, kuid on äärmiselt huvitavad formaalse meetodi peegeldusena. Šimkevitši pakutud vormiõpetusliku lähenemise omapärane versioon on siin allutatud kõikehõlmava kirjelduse katsele. Noor Šimkevitš kuulub oma teoretiseerimise lähtepunktis täielikult sümbolistlikku paradigmasse – ta tegeleb dekadentlikus vaimus religiooni-filosoofia probleemidega, ta loeb hoolega kaasaegset luulet, süvenedes samal ajal muistsesse vene kultuuri. Oma esimestes küpsetes teostes, mis on loodud pärast sõjaväest (kus Šimkevitš veetis aastad 1914–1921) naasmist, püüdleb ta sünteesi poole, üritades ühendada oma sõjaeelse sümbolistliku maailmavaate ja uued kirjanduskäsitlused, mis puhkesid kiiresti õide filoloogi akadeemilisest keskkonnast äralõikamise perioodil. Tema rahvalikku värssi ja poeetika ülesandeid käsitlevad artiklid püüavad rakendada luules panmusikaalsuse ja kunstide sünteesi sümbolistlikke põhimõtteid, kuid Šimkevitš püüab need esitada formalistlike artiklite keeles, viidates laialdaselt Viktor Žirmunski töödele. Ilmselt, olles aru saanud sellise lähenemise elujõuetusest, eemaldub ta hilisemates artiklites sünteesi ideest ja pöördub formalistidele tuttavama kirjandusliku diskursuse täpsustamise idee poole – pealegi läheb ta selles ettevõtmises kaugemale, kui selle käsitluse loojad, formalistid ise.

Juri Tõnjanovi “Kirjandusfakti” käsitlevas artiklis kritiseerib ta hilisformalistlikku katset eemalduda kirjanduse immanentsest analüüsist ning kutsub üles

pöörduma tagasi formalismi lähtepunkti, kuid uutel, keerukamatel ja terminoloogiliselt edasi arendatud alustel. Kuid Šimkevitši kõige muljetavaldavam teos oli loodud juba pärast Instituudi sulgemist, kui teadlane sattus äärmiselt spetsiifilisse marginaalpositsiooni. See juhtus Leningradi piiramise ajal, mille Šimkevitš elas üle oma kodus Ohtal. Just siis asus ta aktiivselt tegelema „Vene luule ajaloo“, mis pidi ühendama kõik tema eelmiste aastate teaduslikud saavutused ja looma panoraami luule arengust selle algusest kuni Šimkevitši enda uurimuse kirjutamiseni. Oma elu viimase kümnendi pühendas filoloog selle hiiglasuure uurimuse valmimisele. See pidi realiseerima kõik tema ambitsioonid ja poetama pisut sotsioloogiat „parem-formalistlikku“ akadeemilisse lähene-misse. Seega pärast pooleteist aastakümnet langesid teadlase mõtted lõpuks kokku formalistide „Luulekeele Uurimise Ühingu“ (OPOJAZ) hilisema arengu-vektoriga, mida ta ise enne kritiseeris. Lõpetamata „Vene luule ajalugu“ on intel-lektuaalse ajaloo üks hämmastavamaid ja uurimatuid formalismi mälestisi.

SUMMARY IN ENGLISH

A Microhistory of the Formalists' Community: The Office for Contemporary Literature in the Institute of Art History (1927–1930)

This dissertation examines a small but significant episode in the history of literature and the history of humanities in the late 1920s. The main object of interest is the work of the Office for Contemporary Literature, established in the Leningrad Institute of Art History (Gosudarstvennyi institut istorii iskusstv; abbreviated in Russian as “GIII”).

The Institute of Art History is well known as the stronghold of the Leningrad branch of the Formal method. This institution served as a platform for the Formalist auto-experiment; a laboratory for the transformation of avant-garde theory into a (quasi-)academic school. In the Institute, Formalists adapted their unorthodox scholarly practices to the institutional rules of the Soviet academy in the 1920s. My study of the Institute's activities encourages us to pay special attention not to the “core” of the Formalist movement, as usually happens in the history of theory, but to another, more marginal sector of this field. My reconstruction of the institutional hierarchy leads us to the figure of Viktor Zhirmunsky, who headed the Literary Department of the Institute. One of his tasks was to develop the “right” or “academic” wing of Formal method in the unit that he headed. This is why Boris Engelhardt, Vladimir Peretz, and Konstantin Shimkevich, one of the protagonists of the dissertation, were active cooperators at the Institute's projects.

A specialist in nineteenth-century poetry, Konstantin Shimkevich headed the Office for Contemporary Literature in 1927. This unit was created as a part of the Formalists' active work on issues of contemporary literature. A discussion about Russian Modernism in the Institute quickly revealed the incompleteness of the picture of contemporary literature. The full-scale study of this field was hampered by a lack of sources. In the decade since the Revolution, many writers had left the country or were otherwise excluded from the literary process, and their archives were stored in private collections, which were constantly under the threat of dispossession. Larger archives, and above all the Pushkin House, were more interested in preserving historical documents, which admittedly were in no less danger; overall, the archives of contemporary writers were in jeopardy. From the early 1930s, the State Literary Museum in Moscow under the leadership of Vladimir Bonch-Bruевич began rapid activity in this field, but in the middle of the previous decade, there were no such institutions. This led to the opening of the Office for Contemporary Literature, whose activities consisted in collecting, preserving, and studying manuscripts of authors ranging from Dmitrii Merezhkovsky to Aleksandr Vvedensky.

While the Office for Contemporary Literature as a research object does not obviously fit into a “grand” history of Soviet culture, I believe that the example of the Office allows us to look at the Formalist community from a new angle. A

close, “microscopic” perspective invites us to use the methods of microhistorical research. Microhistory is strongly associated with the idea of the “thick” description, taken from anthropologists, and reinterpreted in relation to the historical material. This kind of research rejects analyzing large historical-ideological discourses and instead focuses on unique practices of specific actors. Of course, consideration of macro-processes is also necessary for accurate reconstruction and contextualization of the studied case. On the other hand, the view “from below” helps to clarify the applicability of broad concepts and to test the totality of certain social norms in each historical period. The relative scarcity of documents connected with the Office for Contemporary Literature requires increased attention to every remaining archived item. That is why several techniques of different historical disciplines are used in the dissertation; this methodological set determined the structure of the argument.

The first chapter begins with an essay on the collaboration between the Formalists and the literary institutions of the 1920s. This collaboration goes beyond the usual interaction between the field of literature and academia in intellectual history — the Formalists understand their theory as a form of literature, and at first, they promoted their method not in university classrooms but in literary circles, cabarets, and magazines. When in the early 1920s the Formalists were given the opportunity to establish their own Literary Department in the Institute of Art History, they applied some features of their semi-academic habitus of the 1910s to the new institutional structure. Throughout the existence of the Literary Department of the Institute there was a constant reconfiguration of internal units, especially those related to the interaction with contemporary literature.

The first chapter describes in detail the transformation of the Committee for the Study of Artistic Speech into the Committee for Contemporary Literature, reconstructing as far as possible the Committee’s activities. As the names suggest, the Office for Contemporary Literature was born from the work of the Committee for Contemporary Literature. This chapter analyzes the structure of the Office, its work conditions, and the main duties of its employees. Workers of the Office collected manuscripts from writers in Leningrad and beyond, organized scholarly discussions, and invited poets and prose writers to read their new works and memoirs about the era of the Russian avant-garde and modernism. All the achievements of the Office are described in detail with references to hitherto unknown archival documents. This first chapter closely tracks both the process of the Office’s foundation and the moment of its closure, as well as its position in the Institute’s structure. The main source nourishing my discussion is the Institute’s own documentation (memoranda, reports, internal correspondence, etc.), as well as Konstantin Shimkevich’s correspondence with literati — the intersection of official bureaucracy and private dialogue demonstrates the liquid position of the Formalists, determining the informal character of the institutions in which they were involved.

The second chapter outlines the biographies of the main employees of the Office. First, I offer two detailed sections describing lives of the unit’s founder Konstantin Shimkevich and his co-founder Yuri Pertsovich. The last section is a

group portrait of a students who worked at the Office. This subchapter is important for understanding the social pragmatics of the Institute's existence in the 1920s. Overall, the chapter attempts to describe the students' academic environment, one structured by Formalist courses, and to sketch their post-graduation trajectories after the 1920s. The main goal of such research is illustrating a certain subsection of the Leningrad intelligentsia, not dilating upon its outstanding representatives, but rather zooming in on its "average layer." The Institute was one of the starting points of a special Leningrad culture, which was parallel to the official one. The invisible community of Leningrad intelligentsia was formed through a system of passwords, signals, familiar names, and concepts. A thick description of alumni biographies shows that most students retreated into inconspicuous niches in Leningrad's institutional landscape; these alumni on the whole did not practice active dissidence, nor did they pursue prominent positions in Soviet official culture. Instead, their scholarly and creative activities continued out of the limelight, as they used non-Soviet modes of knowledge production. The results of my group description demonstrate a remarkably corresponding set of practices of survival and socialization in a totalitarian period.

Finally, the third chapter drifts towards a theoretical sketch, or rather, a review of the unpublished philological writings of Konstantin Shimkevich. This part introduces the ideas of a completely forgotten Formalist and offers for discussion his comments on a variety of philological issues. It is worth emphasizing that the intention of this chapter is completely unrelated to the desire of "revolutionizing the archive" as was in the cases with such rediscovered authors as Mikhail Bakhtin or Boris Yarkho. Shimkevich's works belong to their time; they do not produce any innovative system of thought, but they are extremely interesting as an example of the reception of the Formal method. At the starting point of his theorizing, Shimkevich belongs to the Symbolist paradigm – the young Shimkevich is fascinated with the problems of religious philosophy, in manner similar to the decadents. In his first mature works, authored after his return from the army, where Shimkevich served from 1914 to 1921, he attempts to synthesize his prewar Symbolist worldview and the new approaches to literature that flourished during the period when the philologist was detached from academia. His papers on folklore and the tasks of the poetics written in the language of "right-wing Formalism" apply the principles of panmusicality and the synthesis of arts to poetry. His main reference here is the thought of Viktor Zhirmunsky. Apparently, he realized the unviability of such an approach, so in the following articles Shimkevich abandons the idea of synthesis and turns to the specification of literary discourse (*literaturnost'* or "literariness"), a common concept among Formalists. In this endeavor, he goes even further than the Formalists themselves, the creators of said approach. In Shimkevich's paper on Yuri Tynyanov's *Literary Fact*, he criticizes the late Formalist attempt to move away from the immanent analysis of literary series and calls for a return to the starting point of Formalism, but on new, more sophisticated, and terminologically elaborated grounds. However, Shimkevich's most impressive work was written after the closure of the Institute, when the scholar found himself in an extremely marginal and

perilous position. This happened during the Leningrad Siege, which Shimkevich endured in his own house in the Okhta district. At this extremely difficult time, he began to work actively on the History of Russian Poetry, which was to unite all his scholar work of the preceding years and create a panorama of the development of poetry from its very beginnings up to World War II. The philologist devoted the last decade of his life to writing this gigantic survey, which was to embody all of his ambitions and combine the “right-Formalist” academic approach with splash of sociology. So, after a decade and a half, Shimkevich’s thinking finally coincided with the late vector of development of the former OPOJAZ, which he had previously criticized. The unfinished History of Russian Poetry remains one of the most surprising and unexplored monuments of Formalism in intellectual history.

CURRICULUM VITAE

Валерий Отяковский

Гражданство: Российская Федерация.
Дата и место рождения: 13 октября 1996 года, Краснодар.
Телефон: +372 5670 4146.
Электронная почта: klerk95@gmail.com.
Языки: русский, английский.

Образование

2014–2018 Санкт-Петербургский государственный университет.
Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций.
Кафедра периодической печати. Бакалавриат.
2018–2020 Санкт-Петербургский государственный университет.
Филологический факультет. Кафедра истории русской
литературы. Магистратура.
2020–2024 Тартуский университет. Кафедра русской литературы.
Докторантура.

Научная деятельность

Область научных интересов: рецепция формального метода, история идей,
восточноевропейский поэтический авангард.

Опубликовано 10 статей.

ELULOOKIRJELDUS

Valerii Otiakovskii

Kodakondsus: Vene Föderatsioon
Sünniaeg ja koht: 13. oktoober 1996, Krasnodar, Venemaa
Aadress: Anne 30-9, 50604, Tartu
Telefon: +371 2943 2278
E-post: klerk95@gmail.com
Keeled: vene, inglise

Haridus

2014–2018 Peterburi Riikliku Ülikooli ajakirjandusteaduskond
(bakalaureuseõpe)
2018–2020 Peterburi Riikliku Ülikooli filoloogiateaduskond
(magistrantuur)
2020–2024 Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
(doktorantuur)

Teadustegevus

Peamised uurimissuunad: vormikoolkonna retseptioon, ideedeajalugu, Ida-Euroopa luule avangardism.

Kokku on avaldatud 10 teadusartiklit.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

- «Дни кувыркались как кролики, которых подстреливали на бегу». Письма Константина Шимкевича к дочери (февраль-март 1944 года) / Публ. В. С. Отяковского // *Неприкосновенный запас*. 2019. № 6 (128). С. 4–20.
- Отяковский В. С.* Из полемик вокруг формализма: К. Шимкевич о «Литературном факте» Ю. Тынянова // *Летняя школа по русской литературе*. 2020. Т. 16. № 1–2. С. 130–147.
- Отяковский В. С.* Константин Шимкевич — пушкинист // *Временник пушкинской комиссии*. Вып. 34. СПб.: Росток, 2020. С. 181–196.
- Отяковский В. С.* Между самокритикой и самооправданием: случай Юрия Перцовича // *Новое литературное обозрение*. 2022. № 5 (177). С. 104–118.
- Отяковский В. С.* К истории одной несостоявшейся выставки футуризма // *Зборник матице српске за славистику*. 2024. № 105. С. 221–225.
- Отяковский В. С.* Историография авангарда в ГИИИ: новые материалы // *Wiener Slavistisches Jahrbuch / Vienna Slavic Yearbook*. Bd. 12. 2024. (В печати).
- Otiakovskii V.* The Committee for Contemporary Literature and Unpublished Formalist Books // *Vremennik russkogo formalizma*. 2024. № 1. P. 113–128.

DISSERTATIONES PHILOLOGIAE SLAVICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS

1. **Юрий Кудрявцев.** Очерки по русской исторической фонологии и морфонологии. Тарту, 1996, 157 с.
2. **Светлана Туровская.** Проблемы изучения модальных смыслов: теоретический аспект (на материале современного русского языка). Тарту, 1997, 138 с.
3. **Елена Погосян.** Восторг русской оды и решение темы поэта в русском панегирике 1730–1762 гг. Тарту, 1997, 160 с.
4. **Ирина Белобровцева.** Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: конструктивные принципы организации текста. Тарту, 1997, 168 с.
5. **Светлана Кульюс.** «Эзотерические» коды романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (эксплицитное и имплицитное в романе). Тарту, 1998, 210 с.
6. **Леа Пильд.** Тургенев в восприятии русских символистов (1890–1900-е годы). Тарту, 1999, 136 с.
7. **Роман Лейбов.** «Лирический фрагмент» Тютчева: жанр и контекст. Тарту, 2000, 143 с.
8. **Валентина Щаднева.** Дискурсивно обусловленные невербализованные компоненты высказывания. Тарту, 2000, 210 с.
9. **Александр Данилевский.** Поэтика «Повести о пустяках» Б. Темирязева (Юрия Анненкова). Тарту, 2000, 154 с.
10. **Татьяна Фрайман.** Творческая стратегия и поэтика жуковского (1800 – первая половина 1820-х годов). Тарту, 2002, 165 с.
11. **Татьяна Троянова.** Антропоцентрическая метафора в русском и эстонском языках (на материале имён существительных). Тарту, 2003, 166 с.
12. **Елена Нымм.** Литературная позиция еронима ясинского (1880–1890-е годы). Тарту, 2003, 169 с.
13. **Эрика-Оксана Хааг.** Функциональная типология и средства выражения причинно-следственных отношений в современном русском языке. Тарту, 2004, 165 с.
14. **Вадим Семенов.** Иосиф Бродский в северной ссылке: поэтика автобиографизма. Тарту, 2004, 176 с.
15. **Роман Войтехович.** Психея в творчестве М. Цветаевой: Эволюция образа и сюжета. Тарту, 2005, 165 с.
16. **Анжелика Штейнгольд.** Отражение древнеславянских верований в русском лексиконе. Тарту, 2006, 202 с.
17. **Катрин Кару.** Уступительные конструкции в эстонском и русском языках. Тарту, 2006, 249 с.
18. **Оксана Паликова.** Двухязычный словарь и функционально значимые связи слова. Тарту, 2007, 140 с.

19. **Тимур Гузаиров.** Жуковский — историк и идеолог николаевского царствования. Тарту, 2007. 156 с.
20. **Татьяна Кузовкина.** Феномен болгарина: проблема литературной тактики. Тарту, 2007. 163 с.
21. **Ольга Бурдакова.** Имперфективация глаголов v продуктивного класса в современном русском языке. Тарту, 2008. 194 с.
22. **Ирина Абисогмян.** Становление чешской лексикографии в эпоху национального возрождения: традиции и новаторство. Тарту, 2009. 200 с.
23. **Ирина Табакова.** Основные типы аббревиатур в современном польском языке (к специфике моделей производящих синтаксических структур). Тарту, 2009. 212 с.
24. **Дмитрий Иванов.** Творчество А. А. Шаховского-комедиографа: теория и практика национального театра. Тарту, 2009. 224 с.
25. **Инна Булкина.** Киев в русской литературе первой трети XIX века: пространство историческое и литературное. Тарту, 2010. 213 с.
26. **Алексей Вдовин.** Концепт «глава литературы» в русской критике 1830–1860-х годов. Тарту, 2011. 238 с.
27. **Ольга Мусаева.** Рецепция творчества Федерико Гарсиа Лорки в русской культуре (1930–1960-е гг.). Тарту, 2011. 217 с.
28. **Мария Боровикова.** Поэтика Марины Цветаевой (лирика конца 1900-х –1910-х годов). Тарту, 2011. 150 с.
29. **Ольга Ягинцева.** Этимологическое исследование некоторых диалектных названий предметов домашнего обихода. Тарту, 2014. 129 с.
30. **Ирина Рудик.** Русская тема в сборнике Марины Цветаевой «Версты. Стихи. Выпуск I» (1922 г.). Тарту, 2014. 166 с.
31. **Елизавета Фомина.** Национальная характерология в прозе И. С. Тургенева. Тарту, 2014. 150 с.
32. **Павел Успенский.** Творчество В. Ф. Ходасевича и русская литературная традиция (1900-е гг. – 1917 г.). Тарту, 2014. 214 с.
33. **Константин Поливанов.** «Доктор Живаго» как исторический роман. Тарту, 2015. 262 с.
34. **Сирье Купш-Сазонов.** О роли грамматики в переводе (на материале временных форм глагола в русском и эстонском языках). Тарту, 2015. 246 с.
35. **Андрей Федотов.** Русский театральный журнал в культурном контексте 1840-х годов. Тарту, 2016. 178 с.
36. **Кристина Сарычева.** Восприятие Ф. И. Тютчева и А. А. Фета в русской литературной критике 1870-х –1900-х гг. Тарту, 2016. 173 с.
37. **Алисия Чекада.** Теоретические основы составления двуязычного словаря: на примере польского и эстонского языков. Тарту, 2017. 131 с.
38. **Артем Шеля.** «Русская песня» в литературе 1800–1840-х гг. Тарту, 2018. 268 с.
39. **Александра Чабан.** Н. С. Гумилев — критик поэтов-символистов: динамика оценок и эволюция критического языка. Тарту, 2018. 183 с.

40. **Елена Вельман-Омелина.** Эстонско-русский перевод и развитие современной официально-деловой коммуникации: теоретический и практический аспекты. Тарту, 2018. 192 с.
41. **Ксения Филимонова.** Эволюция эстетических взглядов в. Шаламова и русский литературный процесс 1950-х–70-х годов. Тарту, 2020. 159 с.
42. **Карина Новашевская.** А. А. Шаховской — идеолог русского национального театра. Тарту, 2020. 251 с.
43. **Анна Герасимова.** Проблема реального рецепиента художественного текста: анализ современных читательских практик. Тарту, 2020. 199 с.
44. **Алексей Козлов.** Литературная репутация писателя-беллетриста: Н. Д. Ахшарумов в 1850–1880-е годы. Тарту, 2021. 242 с.
45. **Лариса Муковская.** Выражение количественности в имени в русском и эстонском языках. Тарту, 2021. 184 с.
46. **Александра Пахомова.** Писательская стратегия и литературная репутация М. А. Кузмина в раннесоветский период (1917–1924 гг.). Тарту, 2021. 288 с.
47. **Мария Нестеренко.** Проблема женского литературного творчества в России в первой трети XIX в. Случай А. П. Буниной. Тарту, 2021. 218 с.
48. **Андрей Соловьев.** Проблема «Россия и Европа» в русских литературных путешествиях (Фонвизин – Карамзин – Достоевский). Тарту, 2022. 246 с.
49. **Екатерина Ящук.** Творчество Михаила Загоскина в процессе формирования русской национальной идеологии. Тарту, 2022. 190 с.
50. **Алексей Самарин.** Литературная позиция и творчество С. А. Ауслендера в 1906–1908 гг. Тарту, 2023. 284 с.